

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

5-6 (456)

2015

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Владимир Шапко. Запечный таракан уже не играет на шарманке. *Повесть*..... 3
Данила Давыдов. «в моих стихах нету метафизического измерения...» *и др. стихи*....23
Екатерина Соколова. Из области донной. *Стихи*..... 29
Родион Вереск. Хальмер-Ю. *Повесть*..... 32
Андрей Торопов. «От Жан-Поля смесь пива и вина...» *и др. стихи*..... 59
Сергей Соловьев. Края разрывов. *Стихи*.....62
Инна Халяпина. Карниз Европы. *Повесть*.....67
Виктор Лисин. «...в окно постучалась птица...» *и др. стихи*.....83
Александра Попова. Ангел на простыне. *Повесть*.....86
Татьяна Риздвенко. Ещё один год. *Стихи*.....111
Анаит Григорян. Долгое лето. *Рассказы*.....114

В СВОЕМ ФОРМАТЕ

Сергей Боровиков. В русском жанре–51.....141

ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Сергей Морозов. «Я был и буду...» *Публикация подготовлена Владимиром Орловым по материалам архива Бориса Дубина*.....151

Георгий Недгар. Смерть в кошельке (рассказы очевидцев).
Публикация Владимира Орлова.....158

АРХИВ

Александр Шолпо. Война. *Публикация Елены Барановой*.....161

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Иван Соколов. Яркое впечатление
Александра Цибуля. Путешествие на край крови.....170

Андрей Пермяков. «...Я – зря? не зря? – понадеюсь на читательскую интуицию»
Дмитрий Веденяпин. Стакан хохочет, сигарета рыдает.....171

Дмитрий Артис. Улыбка Гуинплена
Александр Корамыслов. Песни мудехара.....175

Александр Котюсов. Идет беда
Роман Сенчин. Зона затопления.....178

КИНООБОЗРЕНИЕ

Иван Козлов. Вожди, художники и владельцы отелей – кому на экране жить хорошо?
«Уильям Тернер» (режиссер Майк Ли), «Зимняя спячка» (режиссер Нури Бильге Джейлан), «Исход: Цари и боги» (режиссер Ридли Скотт).....182

© «Волга», 2015

Владимир ШАПКО

ЗАПЕЧНЫЙ ТАРАКАН УЖЕ НЕ ИГРАЕТ НА ШАРМАНКЕ

Повесть

После смерти жены – пил. Пьянством проталкивал дни, недели. По утрам, ощупывая вылезшую щетину, удивлялся ее жесткости. Вяло разводил мыло, брился. Потом снова сдергивал день, как сдергивают вместе шторы, до следующего утра, до следующего ощупывания колючего подбородка. Иногда говорил в пивной, отпивая из кружки: «Когда пьешь – борода сильнее растет. Раз в пять быстрее, чем у трезвого». Через час-полтора сползал под мраморный столик и висел там, обняв железную корзину прутьев. Селиванов поднимал его с пола, волок домой.

Утром смотрел опять в зеркало на столе. Всклоченный, дикий. Снова разводил мыло в чашке.

Сестра приходила через день. Сразу начинала ругать. Требовала отдать сберкнижку ей. «Пропьешь ведь все деньги! Дурак!» Водил станком по вздрагивающей заячьей щеке. Сестра грохала дверью.

Когда выходил сам, старухи на лавочке разом надувались. Уводили глаза, боясь задохнуться от возмущения. «Опять весь наглаженный! – оставалось за спиной. – Как ни в чем не бывало! Зато вчера был ни тяти ни мамы».

В сберкассе ручка не слушалась. Плясала. Черт! Кое-как заполнил бланк. Единожды глянув, кассирша больше на вкладчика не смотрела. Ее ручка – зло дергалась. Шестимесячная завивка тряслась бубенчиком. Пора, наверное, перекочевать на Советскую. В ту сберкассу. А то вон, лопнет сейчас от злости. С червонцем выходил на улицу.

Стоял. Думал. С большой, как кубок, головой. Солнце жгло. В стекле гастронома переливались стеклянные люди.

***

Лето 74-го года Ивану Чечину запомнилось хорошо. Семнадцатилетним мальчишкой он ездил поступать в Уфу в индустриальный, а потом в первый раз вышел над городом с позывным: «Говорит радиостанция “Светоч”».

В техникуме Ваня уважительно посидел двадцать пять минут перед чистым листом бумаги, на котором в правом верхнем углу был поставлен чернильный штампик «экзамены», и поехал автобусом назад, домой, в Октябрьск.

В то лето горели леса, пересыхали озера, солнце днем затягивало серым зольным дымом. Листья летящих мимо деревьев с обеих сторон шоссе свисали серые, все в белых пятнах, будто обгаженные птицами. В автобусе был ад. Пассажиры не знали, чем уже на себя махать. Однако Ваня потихоньку посмеивался, поглядывая в окно. Стеснялся сказать девушке-соседке, что рядом с автобусом бежит лось. Танцующей размашистой иноходью. Вот смешно! Автобус вдруг резко

Владимир Шапко родился в 1938 году. Окончил Уфимское музыкальное училище. Печатался в журналах «Уральский следопыт», «Урал», «День и Ночь», альманахе «Енисей». С 1997 года – постоянный автор журнала «Волга». Живет и работает в Усть-Каменогорске.

затормозил. Все вскочили, завытягивали шеи. «Что? Что такое? Вон, вон! Лось!» Лось стоял прямо перед раскрытым работающим мотором. Стоял с угрозой, наклонив рога, расставив передние ноги. С губ срывалась пена. От жары, от жажды лось сошел с ума. Лось был сумасшедшим! Шофер посигналил, пугнул. Животное вяло метнулось с шоссе, пошло ломать белый высохший подлесок. Кидая танцующие ноги вперед, убегало в обгаженный лес. Автобус тронулся.

Ваня про девушку рядом забыл. Всю оставшуюся дорогу трудно думал, наклонив большую свою голову с желтыми прямыми волосами. *Лось на дороге. Погибающие деревья. Мутный, придавивший всё мир над головой*. И только когда открылся вдали печеный закат над черными нефтяными качалками, мотающимися перед городом – опять стал потихоньку поглядывать на соседку. У девушки была капризная нижняя губа и вздернутые две метлы светлых волос. Ваня хотел ей сказать что-нибудь завлекательное, но так и не решился. Он не мог знать тогда, что в той поездке рядом с ним сидела, хмурилась его будущая жена.

***

Геометрически четко стояли в начале Проспекта две послевоенные сталинские голубятни с маленькими окошками, узорами и шпилями. За ними двумя тяжелыми шпалерами построились пятиэтажные дома. Ждали генералиссимуса. Ковровая дорожка цветов была раскатана до самого горизонта. Чечин сидел на скамье, вытирал с лица пот, посматривал на цветы, ждал всего лишь Селиванова. Селиванов будто с неба упал: «Говорил ведь, – не звони: Зойка ругается!» Пропустив пару машин, заспешили через дорогу.

Утренняя, еще пустая пивная за стеклом напоминала мутную подводную лодку в разрезе. Ровно в десять открыли дверь (боковой люк), и с улицы было видно, как по всей подлодке разбегаются тонконогие расторопные подводники. Спешно занимают боевые места. Кто уже с кружками, кто пока без. Чечину и Селиванову достался высокий столик перед стеклом с уличной панорамой. Чуть погодя вокруг началась опохмелившаяся, вновь расторможенная болтовня алкашей. Болтовня второго, если можно так сказать, дыхания. Подсучивая солоделые бледные ручки, алкаши стукались кружками.

Чечин по-прежнему сильно потел, поминутно вытирался платком. Длинные желтые волосы его были мокры. «Может, хватит тебе, Иван? Ведь кончишься так». Геннадий Селиванов приложился к кружке. «Уйдешь вслед за Верой». Смотрел на друга. Костюм Чечина был как всегда почищен и отглажен. Правда, из расстегнутого пиджака с майки смотрел туманный скол революционера в берете, не вяжущийся как-то с выходным костюмом, но это – слабость Чечина. Давнишняя слабость. А, *Альберт Че*? Может, хватит тебе пить?

Когда они вдвоем после десятого класса смастырили первую свою шарманку, Ваня вышел в эфир с непонятными словами: «Говорит Альберт Че!» Так и сказал гордо. Почему Че? Кто такой Альберт Че? Услышав этот странный позывной в своей «Спидоле», Генка выскочил из дома и побежал в соседний двор. В сарай к Ваньке. Почему?

– Это революционер такой, – встал и потупился ведущий передачи. С наушниками на голове. – На Кубе живет. Че Гевара. – Снова присел к торчливым мерцающим лампам и проводам шарманки.

Ах вон оно что! Примазался! Так, может, лучше будет «Ванька Че?» А? Революционер кубинский?

Селиванов глотнул пива. Из сумрака смотрел на свет улицы. Неужели придется опять тащить? Вот так отпуск у меня в этом году. Вон, соль пытается громоздить на кружку. Руки – ходуном. Нука дай сюда! Сам обсыпал край. На! Снова смотрел на идущих за стеклом людей. Правильно Людмила Петровна говорила про внука – таракан запечный! Двадцать лет не могли женить. После тюрьмы кого только ни приводили к нему. Как к кобельку-импотенту. И всё мордочку воротил. Зато теперь – погибает. Да, жалко Веру. Хорошая была баба.

Выпив ерша, Чечин стал понемногу в себя приходить. Большой лоб его разгладился, зачесанные назад волосы начали подсыхать. Даже заговорил: «О чем думаешь, Гена?» – «Да всё о том же, – как ты на вахту полетишь. Через четыре дня. С такой рожей». – «Я никуда больше не полечу, Гена. – Чечин отпил: – Попрошусь к Зарипову. На текущий ремонт к его балалайкам. Их у него семь штук стоит-качается перед городом».

Селиванов отставил кружку. Чечину осталось три года до пенсии. С выслугой, с северным коэффициентом!

– Ты совсем сдурел, Иван? На двести рублей пойдешь? После твоих тысяч?

Чечин молчал.

– Да ты же пропадешь здесь! Сопьешься в своей квартире! Разве можно тебе сейчас жить в ней! После смерти Веры? Тебе же надо сменить всё! Сидеть на Севере год! Два! Безвылазно!

– Я перееду в бабушкин дом. А сестра в мою двухкомнатную.

Смотри-ка, всё уже решил. Только когда? Ведь пил беспробудно три недели.

Напротив пивной остановилась машина с глухим свинцовым фургоном и красным крестом на нем. От входа по залу уже шли две внимательные фуражки. По мере их приближения алкашей приподнимало возле столиков и опускало. Как будто от большой волны. Фуражки ушли обратно в дверь. Машина тронулась от пивной дальше. Чтобы прийти в себя, алкоголики разом заперчили мерзавчиками кружки. Мерзавчик Чечина исчез со стола непонятно когда и куда. Костюм Чечина нигде не оттопыривался. Селиванов понемногу отпивал, удивлялся.

В 76-м из-за упорных шарманок Альберта Че посадили. Сам Селиванов с позывным «Директор кладбища» спасся в армии. (Он был на год старше Чечина.) Уже дембельнувшись, приезжал два раза к другу на свидание. В колонию в Читинской области. Большая остриженная голова Вани походила на туман. Он больше чем обычно задумывался. Бабушка Ваньки, Людмила Петровна, долго сердилась на Селиванова. Проходя мимо селивановского двора, не здоровалась. Генка тоже уводил глаза в сторону. Чувствовал себя виноватым. Хотя бывшую учительницу можно было понять: внук ее валит лес в Читинской области, а этот... «Директор кладбища» учится уже в институте. В нефтяном! Только когда Иван вернулся, как-то отошла.

– Ну так как, Геннадий? Стоит мне обращаться к Зарипову? Ты в одном Управлении с ним сидишь. Может быть, узнаешь – что и как?

Селиванов, казалось, не слышал друга. Облокотясь на столешницу, на истертый подошвами белый обод поставив ногу, опять смотрел на улицу. Весь джинсовый, тощий и широкоплечий, как горец. За пятнадцать лет работы на промыслах Ваня так и не дорос до ранга бурильщика. Да, видимо, и не хотел. До сегодняшнего дня остался помбуром с 4-м разрядом на скважинах первой категории. Зарипов правильный мужик, но возьмет ли сейчас сюда в Октябрьск? Даже на текущий ремонт? Когда своих сокращает? Хотя еще в Тюменской области у него оба и начинали когда-то. Вся в высоких радугах мимо проехала поливалка. Точно такая же высоко поливала цветник с противоположной стороны улицы. Громогласный Зарипов часто кричал: «Где этот Задумчивый? Куда опять подевался?» Хотя работу Иван всегда делал быстро и четко. Быстро делал так называемый *рейс*: менял буровое долото и вновь возвращал в скважину. «Молодец, Задумчивый!» – кричал Зарипов и врубал вертлюг. Нередко из хохочущего вечернего вагончика Ваня раздетым выпадал на весенний терпкий воздух. Отойдя подальше, стоял и думал. Как всегда. Запустив в большую свою башку и стелющийся закат, и черные, торчащие вкривь-вкось палки весенней лесотундры. *Кто создал этот чудный мир вокруг? Бог? Есть ли Он? Видел ли кто Его?* «Где Задумчивый? – вспоминал вдруг вездесущий Зарипов. И хохотал: – Наденьте на него шапку, а то застудит свой казан!» Ваню находили, надевали шапку, вели в вагончик.

Селиванов вздохнул, взял кружки, пошел к буфету. Наливая пиво, буфетчица жевала жвачку. Двигались бесцветные коровьи губы. За спиной ее из кассетника еле слышно доносилась гениальная песня:

Осень, в не-бе жгут ко-ра-бли-и,
Мне бы, мне бы прочь от зем-ли-и.

Там, где в мо-оре тонет печа-аль,
Осень – темная да-а-аль...

***

В 72-м году учительница зоологии Чечина Людмила Петровна, уже пенсионерка на то время, решила из школы уйти совсем. Милых деток больше не учить. «Я боюсь пукнуть в классе. На уроке», – сказала она Голдиной Вере Георгиевне, завучу.

Голдина, тоже уже пожилая, нахмурилась. «Я тебя понимаю, Люда». Взяла перьевую ручку, макнула и написала на заявлении: «Согласна. Голдина».

В доме у себя на улице Восточной Людмила Петровна высоко раскинула руки и воскликнула: «Свободна!» И громко пукнула. Тут же обернулась, испугавшись. Но внук и внучка были в школе. В той самой школе, которую она только что покинула.

Уже на другой день она привела во двор двух купленных нераздоенных коз. Раздаивала их, усевшись на бревешко. От Селивановых все время выглядывал молодой козел Коля. С крыши их сарайки. С бородкой как девичье менархе. «Пошел!» – махала ему Людмила Петровна. Козел на время исчезал. И вновь появлялся. Третьеклассница Женька и пятиклассник Ваня стояли, застенчиво поматывая портфелями. Впереди себя. Не узнавали бабушку и двор. «Да идите сюда! Не бойтесь! Они не бодаются!» Связанные вместе, козы, как две сестры, безвольно поталкивали друг дружку, поочередно дергаемые снизу за сосцы Людмилой Петровной.

«Ну как, нравится козье молоко?» – спросила она у детей в доме. Женька, оторвавшись от кружки, только сладко зажмурилась. С белыми усишками, как кошка. Слов у нее не было. Но Ваня, даже не допив, ушел к себе в закуток. К своим микросхемам, транзисторам и паяльникам. Чуть погодя оттуда потащило канифолью. «Иди на улицу. Таракан запечный! – с досадой говорила бабушка. – Хоть к Генке сходи!» Внук не отвечал.

К самой Чечиной регулярно, раз в месяц, приходил Посачилин. Ветеран войны. С коромысловой ногой и стеклянным глазом. Однако приходил он всегда почему-то только тогда, когда боевой подруги не бывало дома. По норме, как мужским одеколоном, от него попахивало спиртным. Сразу требовал у внуков Люды листок бумаги и ручку.

За столом подробно писал обо всем, что случилось с ним, Посачилиным, за месяц, пока его не было здесь, в этом доме. В конце письма размашистыми росчерками, не отрывая от бумаги ручки, чертил большого голубя с письмишком в клюве, больше похожего на курицу, и расписывался. Всегда одинаково: «Твой Зайка безбашенный!» Сворачивал листок и, свирепо выкатив свой стеклянный глаз, говорил маленькой Женьке: «Надеюсь, между нами. Передашь!» И удёргивал за собой коромысловую ногу.

Вернувшаяся из города Людмила Петровна заходилась в смехе. Однако поглядывала потом на хихикающих внука и внучку немного виновато.

Вечером, как всегда, доила коз. Молодой козел Коля всё выглядывал. (От Селивановых.) Со своей измазанной бородкой. «Бе-е-е-е-е-е!» – набивался на знакомство. Козы-сестры на жениха не смотрели. Бойко выстригали сочную траву из рук брата и сестры.

Всегда осенью в отпуск с Севера приезжал сын Николай, отец Женьки и Вани. Приезжал всегда шумно, с подарками, как будто даже с привезенными с собой гостями, которые орали песни в доме и мычали во дворе дня три.

Детей своих стеснялся, а выпив, слабо узнавал. Потом с разбитной Галькой Лаховой, местной, улетал на юг, оставив матери и своим детям тысячи две, три. До следующего года.

Людмила Петровна плакала. По ночам покачивалась на стуле, сидя возле спящего внука с такой же большой, как и у Николая, головой.

Мать свою Ваня Чечин совсем не помнил. Ему было чуть больше двух лет, когда она умерла. И осталось от нее только какое-то серое большое пятно, всегда встающее перед глазами, когда

пытался представить ее. Но он почему-то хорошо запомнил большого дядьку с большой головой. Дядька этот ходил по комнате и громко, как бегемот, рыдал. Это был, как потом рассказала бабушка, отец. А рыдал он сразу после смерти жены Елизаветы. Смерти от родов. После которых осталась Женька. Живая.

С фотографии со стены на Ваню все детство смотрела печальная женщина, отрешенно, как во сне, заплетающая косу.

После колонии, когда сын вернулся в Октябрьск, отец позвонил. Велел приехать в Сургут. К тому времени он стал на Севере большим начальником. Воткнул непутевого сына в местный нефтяной техникум. Жил Иван в общежитии. Видел отца не часто. Запомнились только два его дня рождения. И один раз был у него на Первое мая. Новая жена отца имела постоянно обиженное лицо и высокую бобину волос над куцым лбом. Ваня чувствовал ее неприязнь. Но малолетние дети отца (опять брат и сестра!) после баловства с Ваней в гостиной всегда висли потом на нем в прихожей. Висели как на березе, долго не отпускали.

Техникум Иван закончил с грехом пополам в 80-м году. В аэропорту Сургута, прощаясь в буфете, отец трудно сказал сыну: «Будь... сильным, Ваня». И неожиданно заплакал. Зарыдал. Громко, не скрываясь. Точно так же, как когда-то по умершей жене.

Чечин смотрел со второго этажа аэровокзала, как сгорбленный грузный мужчина садился в черную «Волгу». В засалившейся дубленке, с большой, уже плешивой головой. Больше отца своего Чечин не видел. Тот через полгода умер.

На вечернем красном кладбище черная Людмила Петровна на опоздавшего внука падала. Внук осторожно вел ее к ждущим машинам. Жена отца, тоже вся в черном, обиженно бычила голову в сторону.

***

Опять приходила сестра Евгения. Гнала к Зарипову договариваться заранее о работе. Не ждать трудовую. (Когда ее еще к черту пришлют!) Все октябрьские вот-вот хлынут с Севера. Уже идут везде сокращения. Чего сидишь? Бизнесменом хочешь стать? С китайскими плащами-пиджаками, развешенными до неба?

Чечин не сидел. Чечин стоя чистил картошку. В цветном чистом фартучке. Старался. Как уговаривал в руках не дающуюся картофелину.

– Э-э, руки-то трясутся. Чистюля!

Сколько помнила себя Евгения, брат всегда был аккуратистом. Всё у него в каморке за печью было разложено по полочкам. Полочек висело шесть. Школьная форма всегда выглажена и повешена на плечики на стенку. Сам, круглый двоечник, сидит у стола в чистой белой майке и чистых трениках с лампасами. Он даже стирать на себя начал с десяти лет! Бабушка и внучка смотрели друг на дружку растерянно. Как две подруги по полному беспорядку.

Чечин всё не мог справиться с картофелиной. Всё старался.

– Э-э. В Князева, в моего бывшего уже превратился. Когда перестанешь, наконец?

В прихожей, вбивая ноги в туфли, с удивлением спрашивала себя: «Сколько можно пить?» Глаза ее были выпучены и бесцветны, как виноград: «Сколько?!»

Грохнула дверью.

Вышел из подъезда в начале девятого. Однако старухи уже сидели. Такие же непримиримые, сердитые.

Вежливо поздоровавшись, прошел. «Ишь, начистился, нагладился опять. Правда, сегодня в майке. Пиджак, наверное, заблевал».

На улице ноги трусились, оступались. Низкое солнце впереди растопыривалось, не давало пройти. Перешел на другую сторону улицы, к черным деревьям.

В Управлении Зарипова не было. С облегчением вышел из здания с колоннами. Сидел в сквере напротив, вытирался платком. По улице мимо здания шастали машины.

Когда увидел подъехавшего Зарипова, снова пошел через дорогу. В вестибюле остановился. Из зеркала в квадратной колонне на него смотрел человек с головой водолаза. Человек тяжело дышал. На майке человека резко проступил весь мокрый Че Гевара. Нет, в таком состоянии к Зарипову идти нельзя. Снова вышел из здания. Селиванову звонить не стал. Хватит его грузить.

В пивной опохмелился один. Через час стоял, прислонившись спиной к торцовой высокой стене пятиэтажного дома на Проспекте, где прямо над ним висели три рекламные девицы в коротких платьицах и с перепутавшимися (не поймешь где чья) ногами. Заплетя пальцы в замок, опустив голову – опять думал, являя собой мемориальную доску, барельеф, который с выпученными глазами вылез слегка из стенки. *Где Вера сейчас? Где ее душа? Видит ли она, что стою я сейчас под этими рекламными девками с запутанными, как кустарник, ногами?*

***

Сразу после похорон все вещи Веры из квартиры исчезли. Евгения перетаскала к себе на Восточную. Сказала ему, что разнесет по соседям. Если не возьмут, нищим раздаст возле собора. А дорогую шубу Веры, что привез ей из Тюмени – повесит в комиссионке. «Тебе же легче от этого станет».

В первые дни сквозь пьяный туман пытался разглядеть пустоты на месте вещей и одежды жены. В прихожей, в комнате, в спальне. Открывал шкаф Веры, где осталась висеть только одна сломавшаяся деревянная вешалка. Как будто Вера спешно переехала. Точно порвала с ним, Чечиным.

Лежал на тахте, не видя от слез ковра на стене. «А я вас знаю», – сказала она ему когда-то в доме у Селивановых. На шестидесятилетии тети Гали, матери Генки. Куда оба они опоздали, где были посажены рядом, еще трезвые, словно бы даже одни за столом под вскакивающими с рюмками гостями.

Он удивился. Остановил налитую рюмку у рта. «В 74-м году мы вместе ехали в одном автобусе. Из Уфы. Вспомнили? Лось, выбежавший на дорогу. Стоящий, наклонив рога, прямо перед жарким работающим мотором автобуса. Словно перед всей людской цивилизацией, замучившей его».

Как тонконогого легкого мотылька ее все время выдергивали на танцы. Оставшись за столом, он думал в это время, пережевывал какую-то еду. Танцорка снова падала рядом. Выяснилось, что она тоже ездила тогда поступать. Только в пединститут. И в отличие от него – поступила.

В тот вечер он провожал ее на Проспект. Стояли на тротуаре напротив тяжелого сталинского дома, где она жила с матерью. Он держал ее руку. Как раздувшиеся коты, светили круглые фонари. У нее было небольшое лицо и прямой носик. Когда она говорила, нижняя губка ее оживала и слегка выпячивалась. Этакой маленькой влажной улиткой.

Через полгода в загсе он выронил кольцо. Когда надевал его на палец невесте. Кольцо покатилось по паркету. Прямо к столу распорядительницы, прямо к ее ногами. И та почему-то с испугом отступала к стене с гербом РСФСР, а он ползал у ее толстых ног, никак не мог схватить это кольцо.

Чечин отделил себя от стены с девицами, перепутавшими ноги, пошел на противоположную сторону Проспекта. Где дог с чумными глазами и бабочкой на шее словно испуганно высунулся откуда-то на стену дома: «Инвайт! Просто добавь воды!».

С кружкой пива в банном гуле пивной – опять думал. Теперь уже о брошенной буровой. О зануде Лямине. О том, что тот может влепить в трудовую 81-ю – уволен за прогул.

***

Дома уже почти каждый день брызгался междугородний. Знал, что с Севера, что Лямин, но не вставал, сжимался на диване. Следом, как по заказу, приходил Селиванов. И не увещевал уже

– ругал. Потом, сжалившись, доставал две бутылки пива и копченого леща. Этого леща в промаслившейся бумаге смачно шмякал на кухонный стол. Сев, вытирал платком пальцы. Чечин тут же включал свою чистоплотность и аккуратность. Разворачивал, убирал бумагу, вытирал тряпкой стол, клал перед Селивановым махровую чистую салфетку. Леща пододвигал на красивом стеклянном блюде синего цвета. Селиванову хотелось треснуть его по башке. Этим аккуратным лещом и красивым блюдом.

Два дня назад с паспортом пьяного Чечина он искал переехавшее отделение связи, куда пришла трудовая Ивана. Где-то на Гагарина оно теперь, как сказали, в бывшем детском саду. Под номером 15/1.

Бывших детских садов оказалось целых три в длинном дворе, окруженном пятиэтажками. За детской площадкой, прямо по траве он двинулся к одному из них. Крайнему, заваленному деревьями и кустами. Мимо по асфальтовой дорожке, пересекающей двор по диагонали, пьяно, но быстро прошел длинный парень. Другой, коренастый, оставшийся на дорожке, заорал: «Стой, падла! Стой, тебе говорят! Гондо-он!» Неуклюже побежал следом с серьезным лицом убийцы. Дальше Селиванов видел всё с какими-то разрывами. Как в прерывающемся сне. Когда понял, что здание не то и повернул назад – длинный парень уже лежал, скрючившись, у дорожки, а крепкий пинал его. Допинывал. Когда Селиванов снова стал переходить дорожку, к нему, как в новом уже сне, вдруг кинулся этот пинальщик: «Стой, падла!» Стал хватать за рукав. Тощий сильный Селиванов хлестко ударил один раз. Сбил с ног. Наказал пинальщика. За избитого длинного. И опять будто разом сдернул всё. Как в новой уже части сна, шел и только озабоченно высматривал чертово это отделении связи под номером 15/1. А парни из брошенного им сна так и остались валяться один вдали от другого. И пьяный, мотающийся дома на стуле аккуратист даже знать не знал в тот день, с какими приключениями Селиванову удалось, наконец, забрать в отделении связи его, аккуратиста, трудовую книжку. Даже не помнил, как Селиванов совал ему ее под нос. Как кричал: «Скажи спасибо Лямину! Слышишь! Не по статье! Алкаш!»

Сейчас наш алкаш уже вставлял в комнате в стереосистему кассету. Не может он, видите ли, пить без музыки. По квартире начинали раскатываться солнечные пассажи рояля Оскара Питерсона. Да, не меняется Ваня. Никак не меняется. Так и остался в семидесятых.

Вздохнув, Селиванов наливал пиво и двигал полный стакан к меломану. Ваню тогда долго не могли засечь с «Альбертом Че». Хотя он выскакивал на большие волны ежедневно. Сам Селиванов – «Директор кладбища» – выходил в эфир осторожно, только два раза в неделю. Вечерами, хихикая, они вместе наблюдали из окон, как мимо проползал уазик с самодельной антеннкой. Подталкивали друг дружку, совсем заходились от смеха.

Однако когда из Уфы пригнали пеленгатор настоящий, с антеннами плавающими, Ваню вычислили в первый же вечер.

Пеленгатор этот тихой сапой продвигался по Восточной, поворачивал антенны, что тебе глазастый марсианин. Остановился точно напротив дома Чечиных. Подкатил и всегдашний уазик.

Ваня зайцем скакал от двух милиционеров по выпластанному осеннему огороду. Вынесли из сарая всё: магнитофон, телевизор, проигрыватель. Все пластинки Вани, все записи. Когда толстый мильтон, как ботвой, увешенный проводами, понес саму шарманку, Ваня вдруг взвыл, кинулся и ударил в усатые зубы. Милиционер опрокинулся, накрывшись шарманкой и проводами. Ваню тут же сбили с ног, начали пинать. Вялого, затолкали в уазик. Две машины победно поехали по Восточной.

Людмила Петровна бежала за машинами, кричала, пока не упала в пыль.

Потом был суд. И Ваня, уже восемнадцати лет на то время, сел. И не столько за шарманку, сколько *за нападение на милиционера*. Из своего двора Генка видел, как «избитый» этот милиционер пинал потом Ваню. Как старался больше всех. В душном зале суда Генка начал было рассказывать об этом, кричать, но его вытащили из ряда и вывели за дверь. Не помогли и фронтовые медальки плачущей Людмилы Петровны.

***

Сходив к стойке буфета, Чечин вернулся со свежими двумя кружками. Про чекмарь в висящей под столиком сумке забыл. Привычно задумался.

Подошел, встал рядом Подгурский. Шейный платок его был как девиантное поведение. Понятно, берет на голове. Тихо, несколько в нос сообщил: «У меня есть для вас новый Картрайт, Иван Николаевич. Две записи. Сходим ко мне?» Чечин не услышал его. Даже глазами не шевельнул. Ладно, не растерялся Подгурский, подойду потом.

Тот белый санаторий стоял высоко на горе. За морем вечерами угасал закат. Всегда сидели на одной и той же скамейке. Вера клала голову ему на плечо. Далеко внизу ходили пионеры. В свете костра на берегу – тонконогие и зыбкие, как комары. Чечин очнулся, отпил из кружки. Опять застыл. В тот отпуск у него вытащили деньги. Когда уже возвращались домой. Станция называлась «Мелитополь». Стояли пятнадцать минут. Он пил пиво в вокзале. Рядом пил какой-то парень в великом пиджаке с засученными рукавами. Лицо было прикрыто узкой кепкой. Бумажник, про который Чечин просто забыл, лежал в заднем кармане брюк. Хлопнул себя по карману уже в движущемся поезде: «Ловко!» Доехали тогда без денег, но зато с двумя ящичками фруктов и с большой оплетенной бутылью вина, которую Чечин таскал, как ребенка. Вера покатывалась. Селиванов, когда рассказали, оторвал от мотора руки, почесал чистым тылом руки подбородок и сказал Вере: «Ну ладно – он, а ты разве не знаешь, где женщины прячут в дороге деньги? Посмотрите оба еще раз “Печки-лавочки”». И снова полез под капот москвича. У него самого бумажники и документы всегда торчали наружу. Из нагрудных карманов его джинсовых рубах, из рабочих комбинезонов и даже выглядывали вроде платочков из пиджаков. Больше на юг в те годы так и не съездили, как-то не сложилось.

Сзади ходил, просил голос Князева. Бывшего Женькиного мужа. «Морду лица сперва умой, – отгоняли его. – Нефтяник. Как шугнули с буровой, так, наверно, и не умывался». Князев выплыл к Чечину. Почему-то в спецовке, действительно чумазый. «Ваня. Брат! Помнишь маму нашу? Ы-ыхх!» Князев начал было рыдать. Иван подвинул ему кружку. Потом достал из сумки и поставил на столик чекмарь, который так и не открыл. Пошел на выход. Князев опупел. Чекушку схватил, стал кусать как кость. Чечин этого уже не видел.

На улице поджидал Подгурский. Сразу подхватил, повел к себе на Зеленую. Всегда бдительный, оглядывался. «Я знаю о смерти вашей жены. Сочувствую, очень сочувствую». Скрипач по профессии, в музыкальной школе он оглаживал своих учениц, *ставя им руку*. Но явно ни разу не попался. Еще в 60-е годы он начал фарцевать пластинками и записями. И тоже не попался. Его знали все филофонисты Советского Союза. Сейчас всё стало легальным. Скрываться больше не нужно. Уфа утопала в парусах барахолок. Он мог бы там хорошо развернуться. Но нет. Он продолжал грызть свой сухарик здесь, в заштатном городишке нефтяников. «Обождите, пожалуйста, здесь, Иван Николаевич, – сказал он, остановившись возле калитки кирпичного особняка. – У меня в доме... дама». Открыл ключом калитку и пропал.

Минут через десять появился. Уже без берета. Опять подхватил и повел. Теперь подальше от дома. «Вот, Иван Николаевич, новый Картрайт. С вас только сто рублей. Со скидкой, как сейчас говорят». Получив деньги, отпустил, наконец, подопечного. Смотрел, как по Зеленой уходил человек с большой головой, удерживая сверток под мышкой. Длинные желтые волосы человека покачивались крыльями. «Идиот. Кретин. До сих пор, наверное, считает себя музыкантом. Пытался даже когда-то проникнуть в мой детский эстрадный оркестр. Получив по блату саксофон, два дня ходил по Дворцу и издавал гусиные звуки. Шарманка несчастная. Чувырло. Альберт Че».

Лысый, уже домашний, инфант Подгурский взбодрил платок. По-джазовому щелкая пальцами, пританцовывая, направился к калитке. Поиграл ручкой бобовому лицу в окне.

***

...В полутьме сарая, как подпольщик, юный Ваня вел вертикальную тонкую линейку в подсвеченной панели приемника. Слышался треск, бульканье говорливых городов, барабанная арабская музыка. Всегда внезапно врывались глушилки. И тогда весь приемник «Союз» словно начинал колотиться в припадке. Черт! Ваня быстро сдвигался, увиливал в сторону, в пустоту. Снова осторожно вел линейку. Фридрих Подгурский никак не продает приставку к приемнику. Чтобы ловить на коротких всё без всяких помех. Сколько ни прошу. Знает, гад, что ничего тогда покупать у него не стану. Генке хорошо. Он гоняет только народное и блатняк. «Мама, я доктора люблю! Мама, я за доктора пойду! Доктор делает аборты, Отправляет на курорты, Вот за это я его люблю!» Ерунда. Полная чушь! Зато достать такие записи просто. А тут с настоящим джазом – и как хочешь. Бабушка ругается, что все деньги Фридриху перетаскал. До отцовских уже добрался. А куда денешься? Не будешь же каждый вечер с одним и тем же выходить. Слушателей потеряешь. «Аудиторию», как говорит гад Фридрих.

Наконец законтачился: «The Voice of America». И гимн их. И сразу по-русски: «Вы слушаете Голос Америки из Вашингтона. Последние известия. В Афганистане советские войска были отбиты народными повстанцами от населенного пункта Кандагар». Это не интересно. Ваня начал шарить рядом с «Голосом». Наконец ворвался биг-бэнд. Наверняка или Дюка Эллингтона, или Каунта Бэйси. Так, всё готово для записи, маг подключен. Ваня начал записывать. Но всё шло плохо, джаз плавал, уходил, проваливался и снова громко выскакивал. Запись получалась непрофессиональной.

***

«Фридрих Евгеньевич дома?» – поздоровавшись, тихо спрашивал Ваня в тесном домишке на другой окраине городка. От стола всегда с изумлением поворачивалась старуха. С белым, как тесто, лицом без бровей. Затем кричала куда-то за ветхие шторки в низкой двери: «Гера! К тебе пришли!» Оттуда сразу выскакивал Подгурский: «А-а, молодой человек! Очень рад, очень рад!» Ваня шел за ним еще через две темные комнатки с низкими мутными окошками. В студии Подгурского, сплошь завешенной по стенам тряпками, слушал долгоиграющую пластинку, которую хотел купить. Сидел, наклонив голову и взяв рукой руку.

Подгурский, подсвеченный лампой, выписывал за столом из американского буклета новое в свой каталог. Поглядывал. «Нравится, молодой человек?» До конца пластинки будет теперь сидеть-слушать. До самой последней нотки. Сдвинулся на джазе, идиот. Даже «Битлов» не берет. Эллингтона, видите ли, ему подавай. Каунта Бэйси. Кретин с большой башкой. В техникум не поступил. Доит вместе с бабкой нефтяника-отца. Вот откуда у шалопая деньги. Ведь червонец выложит, глазом не моргнет. «Вам, Иван, нужно поступать в музучилище. Я вам как музыкант это говорю». Вздрогнул, глаза выпучил. Как водолаз. «Только в музучилище, Иван. С вашим талантом – только туда». Идиот. Кувалда. Теперь все время будет думать об этом. Подгурский закончил писать.

У себя в сарае (в студии!) Ваня перегнал все с пластинки на маг. И уже вечером в эфире над городком плавал его счастливый голос: «Альберт Че предлагает прослушать для начала три композиции Каунта Бэйси. Слушаем!»

Часов в одиннадцать, когда уже вы́сыпали на небе звезды, сладко потягивался во дворе.

Шёл к крыльцу. В голове всё звучал райский бразильский хор. Которым всегда завершал передачу. Райское джазовое песнопение.

В доме прилежная Женька, водя авторучкой в тетрадке, ехидничала. А бабушка ругалась. Обзывала запечным тараканом. Грозилась разгромить всю студию. То есть, надо понимать, свой сарай.

***

После пивной Чечин опять лежал дома, уставившись в потолок. Почему ты стираешь, спрашивала Вера, придя с работы из школы и видя, как он с пустым тазом в очередной раз лезет с балкона в комнату. А? А потом с любовью наглаживаешь? Я-то для чего в доме! Иван! Как объяснить было женщине, что это болезнь. Что даже на вахтах не мог он носить грязных спецовок более суток. Не говоря уже о грязных майках, рубашках, носках и трусах. «Где Задумчивый?» – спохватывался Зарипов. – «Стирает, Анвар Ахметович», – серьезно отвечали ему. Зарипов выбегал из бытовки. «Задумчивый» с засученными рукавами, как распоследняя баба, обреченно вешал белье на кусты. Как будто все свои жизненные провинности. «А?» – поворачивался к бригаде Зарипов.

Не раз на сеансах в кино она останавливала его в последний момент: «Куда?» И он в полоскающемся свете лез по ногам зрителей обратно с ее стаканчиком от мороженого. Он держал стаканчик до конца сеанса в руке, изредка отирая и его, и пальцы платком. Который необходимо будет сразу же постирать дома.

«Ваня, мне стыдно перед тобой. Я такая неряха», – смущенно говорила она. «Ну что ты», – уводил он взгляд в сторону... Он работал мокрыми тряпками на столе и окнах, как Бенни Хилл! Остановить его было невозможно!

Нередко вечерами, забыв про включенный телевизор, он потихоньку следил за ней. За ней, работающей в углу за столиком с лампой. Она проверяла ученические тетрадки, заполняла журналы, писала свои рабочие планы. Иногда, вспомнив о нем, поворачивалась от лампы. Распущенные волосы ее, казалось, цвели. Волосы были как рай. Он сразу же смотрел на экран. Где за трибуной торопился, говорил человек с изогнутой шеей лебедя, и радостное большинство старалось, захлопывало его. Она подсаживалась к нему на подлокотник кресла, ласкалась. А он только растерянно улыбался. Как первоклаш, которого гладит по голове незнакомая тетя.

После нечастой близости, близости в полной тьме, он очень медленно поднимался над ней. Весь железный. Точно совершил преступление. «Ваня, почему ты такой стеснительный?» Он лежал и удерживал рвущееся дыхание. Из-за дыхания он не мог ответить на этот вопрос женщине. В первые год-два она ни разу не видела его голым. В ванной он запирался. А в комнатах всегда был в свежей рубашке и трениках с лампасами. Она, торопясь в школу, нередко летала по квартире в одних трусиках. Его в это время в комнате словно не было. С зажмуренными глазами он висел где-то под потолком. Он отскакивал от нее и уходил в стену.

Чечин вздрогнул – задребезжал в прихожей телефон. Звонил Селиванов: «Ты куда пропал?» Чечин ответил: ходил к Зарипову. «Да не был ты у него! Ты же полчаса придурком простоял в вестибюле у зеркала! Тебя же видели! Ты что делаешь, Иван? Я же договорился с Зариповым, он тебя ждет. А ты?» Чечин сказал, что к Подгурскому пришлось зайти. На Зеленую. Нужно было. «Опомнись, Иван! Какой Подгурский? Какая Зеленая? Нам с Женькой что – под руки тебя вести?» Чечин положил трубку. Сразу зазвонило в спину. Снял трубку. «Я сейчас приеду, не вздумай смыться». В ухо застукали гудки.

Вернувшись в комнату, Чечин в растерянности поворачивался. Словно это была уже не его комната. Словно его сейчас из нее выведут.

Смотрел на белую рамку на стене, оставшуюся от портрета жены.

Присел на тахту. В груди стало тесно, нехорошо, наворачивались слезы.

***

Селиванов решил заехать за Евгенией. По редакции шел, как по голубятне с выскакивающими отовсюду бумажными голубями. Сама Женя, покусывая авторучку, голубкой сидела в своем закутке. Уже «на кладке». «Вставай! Поехали!»

В машине молчали. Вверху пролетали перепутавшиеся ветви деревьев. Когда он приносил к ней свои статейки о *добыче нефти в Башкирии*, она, сняв очки, всегда с досадой говорила: «Ну почему ты так пишешь, Гена?! Ведь разобрать твой почерк невозможно! Глаза сломаешь!» На что корреспондент отвечал: кто буквы выводит, каллиграфирствует, тот ничего путного не напишет. В почерке должно быть движение, полет. Вдохновенный полет. В свою очередь, заходя к ней на Восточную и видя ее постоянно склоненной над книгой, над одной и той же как будто книгой, – толстенной, неподъемной, – он тоже с досадой восклицал: «Зачем так много читаешь, Женя? Глаза ведь посадишь совсем!» Она устало снимала очки с большими диоптриями. Говорила своими или чьими-то словами: «Мы читаем, Гена, чтобы знать, что мы не одиноки». И тогда сразу возникал в комнате дух гада Князева, сломавшего бабе жизнь. А во плоти – мгновенно трезвеющего и удирающего каждый раз от Селиванова, как от черта.

***

Поднявшись по лестнице, в дверь позвонили требовательно, продолжительно. Как милиция. В ответ ни звука. Евгения поспешно начала рыться, искать в сумке ключи. В прихожей крикнула, снимая обувь: «Иван!» Из притемненной желтой комнаты скакнула тишина. Мгновенно подумали об одном и том же. Ринулись в ванну, в кухню, потом в спальню.

Пусто! С облегчением вернулись в комнату. На диване аккуратно были сложены треники с лампасами. Кожаные домашние тапки стояли, как солдаты на плацу. Пятки вместе, носки врозь. Просто смылся аккуратист! Ну погоди, приходил в себя Селиванов.

Посидели в кухне, попили чаю. Время обеденное. Всё у аккуратиста было на месте. И плетенка с печеньем. И заварной чайничек. Притом с надетой стеганой курочкой с красным хохолком. И сахарница на чистой салфеточке. «Ведь ни за что не скажешь, что месяц уже пьет», – оглядывался по кафельной вылизанной кухне Селиванов.

Поехали назад, в редакцию. «Как у тебя с Зоей?» – спросила Евгения. «Нормально». Евгения покосилась на смуглое, словно бы кавказское лицо с седоватыми уже волосами на голове. Хорошо хоть сегодня не поцарапанный. Пролетел Дворец культуры с кучерявыми колоннами. Евгения опять смотрела на широкоплечего тощего горца в джинсовке, в которого девчонкой была тайно влюблена. «Почему не присылаете Анечку ко мне? Ей витамины нужны. А у меня земляника пошла». – «Пришлем».

Селиванов женился поздно. И не из-за застенчивости, как Иван, а как раз наоборот. Почти до тридцати пяти он размашисто, зло пилил кривыми длинными ногами в твисте в зале вот этого как раз Дворца, мимо которого только что проехали. Кого из девчонок он только не переводил к себе в сарай на Восточной! С кем он только не барабанил по ночам в чечинский сарай голыми пятками! Сколько девичьих слез было пролито под окнами Селивановых! Куда он только не убегал от мстительных невест, где только не прятался! Прекратила весь декамерон Зойка. Татарка Зойка. Через три дня после свадьбы в 85-м году она пришла к Селиванову в Управление и ударила чернильным прибором секретаршу Дадонову. А потом остатком прибора самого Генку, выскочившего из кабинета. И Селиванов на время притих. Тем более что через два месяца родилась у них Анечка, ангельский ребенок с кудрявыми, как у отца, волосами.

– Гена, ты сильно не дави на Ивана, – сказала Евгения, когда остановились. – Я сама постараюсь с ним вечером поговорить. Вроде протрезвел уже.

Она пошла к крыльцу. Селиванов смотрел на ее косенькие белые ножки, торопливо переставляющиеся по ступеням. На ее, как ядро, круглую голову с желтыми, как и у брата, волосами.

Отвернулся. Поехал.

***

Сбежавший Чечин между тем сидел в сквере неподалеку. Продолжал похмельно потеть, вытирался платком, в пивную на Проспект не шел, держался, твердо сказав себе: всё, баста.

Напротив через аллею сидели три старика в тюбетейках. Бабаи были краснощеки, на вид еще крепки, но все трое уже с серьезными клюшками. «Они любят прикидываться бабаями, – сказал однажды про таких лже-стариков Зарипов, сам татарин. (Дело было возле мечети, куда из автобуса дружно выгружались вот такие же с клюшками.) – Им выгодно это. Дети любят больше. Внуки. Это у вас, русских, стариков едят поедом. Особенно невестки какие-нибудь. У нас – нет. Пожилых всегда слушают, почитают. Вот они с клюшками и сидят потом на лавочках. Все в мягких сапогах и татарских галошах. Прикидываются. Раньше времени».

Чечин вспомнил смерть бабушки. Людмилы Петровны. В 84-м году.

В тот день он только что прилетел с вахты, и после обеда они вдвоем пололи огород. Женька была в своей редакции. Людмила Петровна вдруг встала с сидушки, резко качнулась и упала в морковную ботву лицом вниз. Иван кинулся, перевернул грузное тело на спину, пытался что-то делать, хлопал по щекам, разводил ей руки. Но лицо под жеваной панамкой уже серело, на глазах становилось худым. Не слыша себя совсем, он что-то кричал потом, закидывал голову, махал руками. А от Селивановых уже бежали люди.

Женькин Князев, более или менее еще трезвый в то время, на поминках вдруг радостно выдохнул: «Хорошо умерла бабка. В одночасье». И поворачивался ко всем с рюмкой. Как бы приглашал выпить за это. Евгения тихо сказала ему тогда: «Отзовутся тебе твои слова».

Видя вытирающего глаза Ивана, бабаи покачивали бородками. Как белыми помазками. Ай, ай, такой молодой и плачет. Ай, ай.

Людмила Петровна не хотела, чтобы внук работал на Севере. Даже когда тот стал летать с вахтами и через месяц возвращаться домой. По ночам, представляя, как чистоплотный зануда живет месяцами в общагах среди веселой пьяной грязной нефтяной братии, – плакала. Когда Иван возвращался, внушала, настаивала даже, чтобы он перевелся в Октябрьск, работал дома. Работа же и здесь есть. Без всяких вахт. Показывала на зятя Князева как на экспонат: вот же, работает в «Ишимбайнефти», два часа на машине до промысла. (Князев за чайным столом солидно надувался.)

Ивану и самому уже все надоело. И, поколебавшись какое-то время, он перешел в «Ишимбайнефть», перестав летать. (В доме считалось, что это Князев посодействовал.) Однако после 86-го года разведки в Башкирии почти не стало. И снова октябрьские гуси нефтяные перелетные начали сбиваться в вахты и улетать на Север. И опять был у Ивана ежемесячный вахтовый ИЛ-26 с салоном, круто лезущим в небо, и расстелившиеся потом под самолетом облака, как торосистые льды Ледовитого океана. Людмила Петровна этого уже не увидела. А глупый Князев, несмотря на плач Женьки в суде, отправился в то время по первой своей ходке в ЛТП.

Бабаи, словно дослушав воспоминание Ивана до конца, поднялись, пошли. Серьезно, жестко опирались на клюшки. Как бабаи настоящие. Без дураков. Чечин тоже двинулся в сторону дома. Двухкомнатную на Ворошилова его заставила купить все та же Людмила Петровна. «Может быть, женишься в конце концов, если будешь жить отдельно. Всё равно ведь деньги проматываешь зря». Иван послушно вступил в кооператив, а через полгода заехал на четвертый этаж дома номер 4, в самом начале улицы Ворошилова.

Года два квартира напоминала сарай. Пустой почти, но чистый. Посередине большой комнаты стоял стол и стул. В спальне один только старый диван, перевезенный с Восточной. (Не на полу же спать.) Ни тумбочек, ни ковров, ни зеркал. На всех стенах – бело, чисто. Словом, все было в эти два года по-холостяцки, по минимуму. Немногим лучше выглядели кухня и прихожая. В прихожей на длинной вешалке висела вся одежда Чечина – и зимняя, и летняя. Внизу стояла обувь.

Ровным рядом. Тоже на все сезоны. В кухне, конечно, кастрюльки, сковородки, стаканы, тарелки. Но уж без этого – никак!

После северных вахт, наскоро обняв дома жен и детей, родная бригада приходила в чечинскую квартиру с бутылками, со свертками продуктов, с Зариповым во главе. Давно не виделись. Полдня прошло. Два дня в квартире стоял дым коромыслом: пили, орали песни, плясали с девками под Ванькин джаз из магнитофона. Потом уходили, оставив на столе в комнате полный разгром. Валялись всюду бутылки, пол был истоптан сапожищами, усыпан окурками, какими-то рваными тряпками, бумагой. Протрезвевший Чечин собирал все, сталкивал в ведро, выносил на помойку. Ползал, чистил в углах, скреб, с порошком отмывал засохшие винные лужи.

Пока бригада месяц была на Севере, квартира словно отдыхала: стояла чистой, тихой, чуть-чуть только набирая с улицы пыли, которую иногда вытирала, приходя со вторым ключом, сестра Женька.

Наконец бригада прилетала домой, – и в квартиру опять шли бутылки, девки, громогласный Зарипов. И начинался всегдашний гудёж. Пьяный Чечин с тряпкой уже не поспевал, падал в спальне, всегда в одном и том же месте, возле батареи, не мешая дивану рядом крякать уткой.

И так шло все два года. Но когда у Ивана появилась Вера, справедливый Зарипов сказал: «Всё, ребята, баста, пора и честь знать». Стал увозить бригаду на дачу. К себе. Когда оттуда погнали – на охоту осеннюю. Или на рыбалку зимнюю, подледную.

Чечин принялся рьяно обставлять квартиру. Вместе с грузчиками кажилился с мебелью. Диван выкинул, поставил тахту. Две тумбочки. Створчатое зеркало для Веры. Повесил ковер. Крохотный «Морозко» в кухне заменил на высоченный «ЗИЛ». Вера от матери с Проспекта перевезла свою библиотеку – поставил ей в комнате длинный книжный шкаф под стеклом. Деньги были. Зарабатывал в то время хорошо.

Тогда же чаще стала приходить сестра Евгения. Со своей снохой сразу же сошлась. Они были одного племени. Одной крови. Интеллектуальной. Одна закончила пединститут в Уфе, другая заочно журфак МГУ. На кухне они говорили только о литературе. О прочитанных книгах. (Какие еще женские тряпки! Какая кулинария!) Обсуждали новинки в журналах. Восхищались какой-нибудь повестью или романом. Или спорили о них же до хрипоты. Чечин в фартучке только мешался. Ему не находилось места. Но успевал подлить им чаю или подстелить под блюдечко салфеточку.

Потом они принялись образовывать его самого, работягу-нефтяника. Постоянно поправляли неправильные его ударения в словах. Долго хохотали над его *полуве́ром*. Как будто Женька сама в детстве так не говорила. Дальше вовсе – начали подсовывать книги. И всё больше толстые, большие. Чечин терпел. Честно тужил мозги. Вообще-то, мо́зги.

Иван свернул на Ворошилова. На стене возник испуганный пенсионер. Как офтальмолог с толстенными глазами: «МММ – куплю жене сапоги!» Генке Селиванову хорошо было. Он даже историю КПСС в нефтяном изучал. Перед интеллектуалками на кухне не терялся. Приходя, шпарил как по писанному. На любую тему. Не только на литературную. Правда, один раз тоже сказал неосторожно – *средства́*. И с пьедестала разом слетел. Зато на днях рождения никто лучше его не мог спеть, затачивая на гитаре. А потом со своей тощей Валькой злей всех заделать твист. Или шейк. Или даже буги-вуги.

Дома из включенной стереосистемы, как с далекого континента, еле слышно доносился блюзовый саксофон Энди Картрайта. Иван сидел в кресле, невольно опять смотрел на пустой белый квадрат на стене. Когда поженились, Вера, видимо, хотела забеременеть сразу. Потому что в первой год их семейной жизни Иван ни разу не услышал от нее, что нужно ему предохраняться. Аптечным мужским средством. Однако позже она как-то странно стала смотреть на него по утрам за чаем. Не в лицо, а куда-то ниже. В район груди. Так смотрит врач, выискивая фонендоскопом у пациента болезнь. «Что с тобой?» – «Ничего». Однажды она сказала ему, что ходила к врачу и всё у нее в порядке. Он не понял. «Тебе нужно провериться». Он опять посмотрел на нее удив-

ленно. А когда она разъяснила ему на пальцах – нахмурился и сказал: «Я здоров». – «Откуда ты знаешь?!» – сразу закричала она.

Она была постоянно в школе. Она вела русский язык и литературу в нескольких классах. Она была завалена нагрузками с головой. Руководила даже школьным драмкружком. Поэтому в работе как-то всё забывалось. Но иногда по вечерам, придя из школы уставшей, она все так же подолгу смотрела на него. Точно не понимая, кто этот странный человек с большой головой и волосами как мочало. И вообще, как она попала сюда, в эту квартиру. Ему становилось не по себе. Ползал, прятал глаза, одевая ей тапки.

Она забеременела через два года. После их поездки на юг. Когда у него украли деньги на станции Мелитополь. С пятимесячной беременностью, моясь, она поскользнулась в ванной и сильно ударилась о дно ее. Он услышал вскрик, кинулся, распахнул дверь. Под хлещущим душем она ворочалась в ванной, хваталась за края, пытаясь встать. Он подхватил ее, вынес в комнату, положил на тахту. Пока звонил, вызывал скорую, Вера корчилась, хваталась за поясницу, громко охала, уже мажа простыню кровью.

Бесчувственный, как автомат, быстро одевал ее. На улице была зима, ночь. Он сушил ее волосы полотенцем. Распахнув дверь, встречал врачей. В белых халатах и черных куртках врачи лезли по лестнице со своими баулами, похожие на мясников с рынка. Вместе с медсестрой осторожно сводил жену вниз. Он не мог вспомнить в машине, надел ли на нее теплое трико. В приемном покое, когда раздевал, увидел, что нет. Потом он шел ночной улицей и от слез не видел фонарей. Он нес ее одежду, завернутую в ее пальто, как убийца добычу.

Из стереосистемы вдруг ударили буги-вуги. Жаркий бугешник Картрайта. Чечин вскочил, выключил всё.

Пошел на кухню. Достал из холодильника и выложил на тарелку мерзлый кусок мяса. Смотрел на противоположную сторону улицы, где знойный налетающий ветер клонил, раскачивал деревья.

Иван корил себя потом, что не дождался ее выписки, улетев со всеми на вахту. Не смог сказать Зарипову, чтобы тот отпустил его без содержания. Хотя бы на неделю. Когда вернулся через месяц – Веры в квартире не было. Помчался на Проспект. В сталинской квартире с высоченными потолками он увидел сильно исхудавшую жену. В каком-то выцветшем халатике она встала из-за стола, сронив на пол ученическую тетрадь. Припала к нему. Он гладил ее, успокаивал. Теща из кухни смотрела на него, как на изверга.

За время, что был дома, почти не уходил с кухни. Еще со студенческих лет у Веры был испорчен желудок. Поэтому пока она была в школе, готовил только диетическое, но разнообразное. От Селиванова даже принес книгу о вкусной и здоровой пище. Была зима, январь, но Женька нашла где-то у себя на Восточной дойную козу, стала покупать и каждый день заносить пол-литровую банку. Словом, дело пошло. У Веры округлились щеки, вновь появился румянец. Однако по ночам, таращась в комнате на меняющуюся от машин темноту, он часто слышал ее тихий плач в спальне. У него сжималось сердце. Он заходил в спальню и молчком стоял в темноте. Он хотел сказать ей, что тоже ждал этого ребенка. Очень ждал. Но из-за застенчивости своей он не мог произнести эти слова.

***

Вечером Евгения увидела брата печальным, но трезвым. Слава богу, кажется, взялся за ум. Сняв туфли, сразу прошла в комнату к библиотеке Веры. Точно пришла только для этого. Стала рыться в книгах, искать что-нибудь себе домой.

Для борща или щей брат резал овощи на кухне. Хотя резал – не то слово. Он их рубил на большой доске. Прерывающимися пулеметными очередями. Пулеметным дроботком. Как заправский повар из ресторана. Невольно вспомнилось, как они с Верой нередко смотрели на это действо

Ивана. Смотрели, как из-под ножа летит репчатый лук или капуста. А виртуоз подмигивал им, двум неумехам. Евгения сходила в прихожую, вынула из сумки портрет Веры. В комнате, встав на стул, закрыла им белый квадрат на стене. Вернула на место. Отступала от стены, смотрела. На фотографии глаза у Веры были задумчивые, сквозные, цвета сильно растворенного кофе.

Иван, казалось, даже не взглянул на вернувшийся портрет жены. Стоял, вытирал руки полотенцем. Сказал:

– Женя, я всё обдумал. Ты будешь жить здесь, а я перееду к тебе на Восточную. – И снова ушел на кухню.

Евгения кинулась следом.

– Ну что ты надумал, Иван? Зачем?

Но брат стоял на своем. Так будет лучше. И для тебя тоже. Работа твоя будет рядом.

Они долго спорили в тот вечер. Уже в одиннадцатом часу они закрыли входную дверь на ключ и стали спускаться вниз с одеждой и постелью Ивана. Они уходили от темных трех окон на четвертом этаже как вор и воровка, с узлами.

***

После душа Селиванов вольно сидел на диване и смотрел телевизор. Покачивалась с колена его тощая, как сандаловая ветвь, нога. Показывали юбилей старейшей актрисы. Она будто идол сидела в кресле на сцене. Наплывы на щеках ее, на подбородке напоминали уже белые чаги, какие бывают у облезших старых берез. К юбилярше гуськом шли с цветами подобострастные актеры из молодых. Шептали ей что-то игривое на ушко, целовали ручку и обкладывали ее цветами как монумент, как памятник, с которого только что сдернули покрывало. Большой притемненный зал театра был полон. Ближе к первым рядам сидели тоже заслуженные, очень известные актеры. Ее коллеги. Вяло хлопали. В полутьме все с грузными искаженными лицами стариков. Было тяжело на всё это смотреть. Ведь придется уносить ее со сцены. Прямо в кресле. Или, быть может, покатит со сценой, со всеми своими цветами, помахивая залу ручкой?

По комнате быстро ходила жена. Собирала или, наоборот, разбрасывала свои тряпки. Не поймешь. Бигуди на голове походили на выпас баранов. И это было тоже неприятно. Селиванов уводил взгляд в сторону.

Вдруг остановилась за спиной. По своему обыкновению молча, тяжело. То ли тоже смотрела на экран, то ли хотела треснуть по башке.

– Иди лучше посмотри, как дочь рисует. Чем мутоту всякую смотреть.

Длинный легкий халат опять стал перелетать по комнате.

Дочка сидела у расставленного невысокого мольберта. С кисточкой в правой руке. Селиванов подошел, наклонился, смотрел вместе с нею на рисунок. Анечка прополоскала кисточку в стеклянной банке, взяла на кисточку краски и вывела левую бровь клоуну в шахматном колпаке. Отстранилась, разглядывая результат.

Селиванов начал водить дочь в изостудию при Дворце с семи лет. Вся комната ее за три года была уже увешана картинами и картинками. На детской выставке в Уфе Анечка даже получила вторую премию. Отец снова наклонился и поцеловал голову дочери между тугими жгутами косичек.

– Ну папа, мешаешь!

Ночью не спал. Зато жена на второй кровати лежала как всегда – мертво. Не слышно было даже дыхания. Однако перекидывалась на другой бок резко, брыкливо. Соответствуя своему характеру полностью. Бигуди шуршали-щелкали. Куда уходит всё? О любви не будем говорить – уважение? Прожили десять лет, а ничего, кроме позора, не видел. Сколько раз приходил на работу исцарапанный. Гоняла и гоняет до сих пор всех подряд. И друзей, и даже просто знакомых мне

женщин. Одни только Чечины и остались. Ванька и Женька. Которым почему-то верит. Зарипова даже огрела однажды ведром. Анвара! После нашей охоты осенней. Где якобы были и женщины. Одна всего только и была. Шадыкина из планового. Долго преследовала ее. Не давала пройти ей по улице. На работе, при встречах та уже отбивалась от меня. Как от черного кота. А я ведь всегда хотел только посочувствовать ей. Поддержать как-то. Позор. Не ходил даже на послевахтовые сабантуи у Чечина. Не ходил. Ни разу. И – что? Ревнует Зойка. По-прежнему. И с каждым годом больше и больше. Сказал даже ей один раз: сходи, полечись. Серьезно сказал. В ответ – исцарапала всего. Да-а. Один свет в окошке – Анечка. Чудо ребенок. Ладно, хоть дочь свою любит, мегера. Не это – дня бы не жил.

Селиванов поднялся, тихо пошел темной квартирой на лоджию. Облокотясь на железную прохладную полосу, покуривал и смотрел на спящий город. Дневной ветер не стих, гонял воронками зелень возле одиноких фонарей. Будто из разных кварталов все время наносило молодежный гитарный скабрёзный хор, в песне которого через слово шел мат:

Будем пить-наслаждаться,
Веселиться и е...!

И так – далее. Да-а. Современная молодежь. Мы в молодости не такие песни пели. Мата в них не было. К примеру, я, Директор кладбища, над городом гонял такую песню:

А Ваня Ржавый сел на буфер,
А были страшные толчки.
Оборвался под колёсья –
Разодрало на куски.
А мы его похоронили.
А прямо тут же, по частям,
А потом заколесили
Вдоль по шпалам, по путям.

И ни одного матерного слова. Только мысль. А Ваня и вовсе – «Альберт Че». Можно сказать, аристократ. У него только проверенный джаз над городом. Элла Фицджеральд, Эллингтон. Да-а. Но это было когда-то. Запечный таракан уже не играет на шарманке. Что делать с ним теперь? После смерти его жены? Ведь на глазах превращается в алкаша, в истеричку, готовую мгновенно заплакать. Жалко, конечно, Веру, жалко. Кто говорит! Но что это за любовь такая, чтобы погибать потом из-за нее?

Селиванов смутно чувствовал, что чего-то в нем самом не хватает, чем-то он, Селиванов, в жизни обделен. У него всегда было много подруг. Зойка не зря долбила его и царапала. А вот одной-единственной, как у Ивана, не было никогда. Даже на Зойке своей он женился из трусости, на беременной.

И еще. У Чечина всегда была мечта. Он хотел стать музыкантом. А подобной мечты, пусть и неосуществимой, никогда у Селиванова не было. Вместо мечты была цель. Как у всех. Он окончил институт, получил высшее образование, много читал, многому учился. Выбился в начальники. Сидит не один год в Управлении. Но мечты, какая была у Вани, никогда не было.

Селиванов выкурил еще одну. Затушил бычок в железной банке. Перед тем, как идти в спальню, подошел к комнате дочки. Послушал ее сладкие посопки́.

Опять не спал. Бигуди рядом перекидывались улетающей шуршащей стаей. Но не мешали почему-то. И вот уже видит Селиванов, как со смехом и шутками, вся в первой нефти, бригада идет от хлещущей буровой к бытовке. Подтрунивает над чистюлей Чечиным. Которого вымазали нефтью больше всех. Несет над тундрой осенние низкие облака. Желтые сухие деревца принимаются дружно вычесывать блох. Вахтовый пес Зараза рьяно лает. Для вертолета накликает погоду.

Селиванов снова поднялся, взял в гостиной телефон с длинным шнуром и ушел с ним в ванную.

Чечин не отвечал. Неужели опять напился? Селиванов застыл с тукающей пустой трубкой в руке.

***

Ответить этой ночью Селиванову Чечин не мог – он был уже на Восточной. А телефона у Евгении не было. Иван тоже не спал, лежал в своем закутке за печью. Печь-голландка уцелела. Хотя в доме давно было центральное отопление. И уцелела она только из-за лени Женьки. Стояла сейчас блестящим от кузбасслака раритетом, который, как только сестра ушла к себе, Чечин быстренько протер влажной тряпкой. И со стороны комнаты, с парадной части, и у себя в закутке, где торчала вверху вьюшка. Он направлял сейчас луч фонарика на полукруглый выступ печи, любовался ее черными переливами. На душе было легко, он вернулся домой, в свой родной закуток. Даже полки были целы. Все шесть штук висели на своих местах. Правда, пустые пока. Чечин провел и по ним лучиком.

На кровати матрас лежал на трех широких дубовых досках, но было приятно ощущать забытую жесткость его. Здесь спал еще отец, а потом и сам Чечин. Что-то однако мешало сейчас. Вроде откуда-то чем-то подванивало. Чечин вдруг вспомнил: сюда же Евгения ссылала Князева, когда тот пил. «На Сахалин» – как говорил тот сам по утрам. Сидя на этой кровати с всклоченной репой.

Чечин вскочил, сдернул простыни. Точно – от матраса несло застарелой пьянкой. Законсервированной, точнее сказать. А ведь пять лет прошло, как сестра с Князевым разошлась. И как ей теперь сказать, чтобы не обидеть? Чечин свернул матрас, засунул в ногах за спинку кровати. Расстелил простыни на голые доски. Лег. И стало еще лучше, чем было, честное слово.

Из дальней комнаты Евгения видела ползающий свет. Бедняга, никак не верит, что домой наконец-то вернулся, все проверяет в темноте, светит по стенам.

Когда Вера заболела, заболела, как показалось, внезапно, о страшном диагнозе ее сказали почему-то только ей, Евгении. Иван ни о чем даже не подозревал сначала: ну гастрит и гастрит. Желудок у жены испорчен еще со студенческих лет. Дело обычное. Вон, восемь женщин в палате лежат, и все с гастритами да язвами.

Несколько дней Чечина была как помешанная. Когда приходила в больницу и видела приветливые лица брата и снохи, поворачивающиеся к ней, Чечиной, – хотелось завыть в голос. Но с дубовым лицом подходила к кровати больной, на которой та сидела с мужем рядом, выкладывала на тумбочку принесенную еду и фрукты. «Что с тобой?» – удивлялась Вера, посвежевшая даже, полная оптимизма. «Не обращай внимания, – все хмурилась Чечина, выкладывая свертки. – На работе. Молодов как всегда достал». Тоже присаживалась на край кровати. С пустыми глазами спрашивала о самочувствии. Потом целовала Веру в прохладную щеку и уходила. Тем более что брат оставался. На улице шла, оступалась, задрав голову к небу. Утреннее низкое небо было – как приговор. Как мартовский гололед на черной дороге. Представив, что будет чувствовать Вера, когда поймет, что обречена – начинала горько плакать. Прохожие оборачивались. На крыльце редакции рослый Молодов, приобняв ее как малолетку, вел наверх. И, открыв ей дверь, таким же манером вел дальше. До ее закутка.

Операцию делать не стали. Был поражен весь желудок, метастазы были уже в печени. Просто зашили.

Фонарик в закутке погас. Евгения все лежала с раскрытыми глазами. Если в первые дни, узнав о диагнозе, по ночам она сама корчилась от жалости и ужаса, то через месяц, когда больная уже умирала, Чечину словно подменили: она отупела. Так же, как и ее брат. Они оба не работали – Иван не полетел с вахтой на Север, Евгения сидела в редакции сомнамбулой в очках. Дождавшись момента, смывалась в больницу. Главред Молодов сначала сочувствовал, потом стал без всяких ругать.

Она вдруг избила Князева. Который в очередной раз доверчиво пришел клянчить денеги на опохмел. Она гонялась за ним по двору с палкой, дубасила его по чему ни попадя. Она не помнила потом об этом.

В изоляторе, где больная уже не вставала, по утрам вдвоем обтирали потное тело теплой водой. Вера согбенно сидела в постели как старая серая прялка с обдерганной куделей – волос на голове от облучений почти не стало. Брат и сестра все делали как автоматы: меняли простыни, вытаскивали судно, пытались кормить, бежали за медсестрой, когда больную сворачивала в постели боль. Пожилая мать Веры, бомбой сидящая на стуле, сама не делала ничего, но почему-то всегда с обидой смотрела на брата и сестру, суетящихся вокруг больной. Точно те ей много задолжали. Она всю жизнь проработала бухгалтером и знала счет деньгам. Когда брат и сестра останавливали заботу и замирали, начинала обстоятельно рассказывать дочери о соседях и о своем коте Черномырдине. («Представляешь, свежую рыбу перестал жрать. Сардины в масле ему теперь подавай!») Она не понимала, она не хотела понимать, что дочь умирает. Только уже на кладбище, обняв брата и сестру, она словно пряталась в них, непереносимо плакала.

***

Утром Иван был почему-то бледен и сильно потел. Похмелье, наверное, всё еще выходит. Евгения подкладывала ему яичницы с колбасой, наливала чаю. Не ушла на работу, пока не добилась твердого обещания, что он пойдет сегодня к Зарипову.

Оставшись один, в маленькой ванной Иван зажег газовую колонку. Помылся. Потом погладил костюм. Майку с Че Геварой отложил, надел белую рубашку. Почистил туфли. Ощущал легонькую дрожь внутри. Чистое тело по-прежнему обдавало потом.

Положил в карман пиджака паспорт. Еще раз перелистал трудовую, словно чтобы лишний раз убедиться, что все в ней в порядке, что Лямин не нагадил на прощанье. Нет – «По собственному желанию». И печать приблямкнута от души. Что тебе подсолнух чернильный. Спасибо, Георгий Иванович. Не плохим ты мужиком оказался.

Шел по Космической в Управление. В голове уже зудел бас Зарипова. Бас самодовольного, всё знающего мастодонта. Вспоминался почему-то Зарипов-охотник. Зарипов-рыбак.

Из Октябрьска на осеннюю всегда выезжали целой кавалькадой. Машин в семь, в восемь. Впереди, конечно, на внедорожнике Зарипов. Громогласный бас его потом слышно было по всему Шингак-кулю. Расставлял охотников, инструктировал, сам в сапогах до горла, что тебе егерь на охотхозяйстве. За ним всюду шмаляла его дурная собака Альма. Часов в шесть вечера начиналась пальба. Во все направления. Уток трепало в небе догоняющими выстрелами. Зарипов гнал Альму за утками. Альма не шла, подпрыгивала к его лицу. Чечин сидел в обнимку с ружьем. В камышах. Терпел. Зараза Альма долго лаяла над ним. Думала, что утка. Типа селезня.

В январе, когда прилетали с очередной вахты, опять отправлялись. Теперь кавалькада катила на подледную. Зарипов, конечно, впереди. Опять расставлял, указывал, где бурить лунки. Сам в пышной песцовой шапке с дом, в реглане, в унтах. Рядом с сидящими рыбаками были воткнуты пешни. Рыбаки терпеливо трясли над лунками короткие прутики. Иногда вытаскивали ими. Вытащенные щуки на льду замерзали не сразу. Долго елозились, изгибались. Подобно вялым, вязким мечам. Чечин поглядывал. Старался не отставать. Тряс. Тоже вытащил в конце концов. Щуку. Одну.

В вестибюле не останавливаясь прошел мимо зеркала в квадратной колонне, перед которым несколько дней назад торчал как дурак, стал подниматься по прохладной каменной лестнице на второй этаж.

Зарипов нисколько не изменился. Правда, нацеплялось на его черные кучеря немало белых волосков. Как ниток с подушки. И – очки. Поверх которых смотрели на вошедшего черные живые глаза.

– Ну что же ты не идешь? – точно и не прошло семи лет, сказал он, привстав и отдав руку Чечину. Сразу же снял трубку. Чечин вспомнил вдруг, как он гордо, по-татарски, рубил руками, будто топориками, на свадьбе в танце вокруг Веры.

Чечин почему-то оглох, почти не слышал, о чем говорил в телефон начальник, оглядывался, вытирался платком. В груди возникала и пряталась сильная нервная дрожь. Чувствовал, что нужно встать и уйти, пока не поздно. Пока с ним что-нибудь не случилось. Здесь, в этом большом кабинете.

Зарипов положил трубку.

– Ну, как дела, нефтяник?

– Всё в порядке, Анвар Ахметович. Иду ко дну! – неожиданно для себя дурашливо ответил Чечин. И опять вытер пот.

Зарипов, казалось, не замечал ничего.

– Слышал, слышал о твоем несчастье. Жалко Веру. Сочувствую. – Зарипов смотрел в окно, гонял в пальцах карандаш.

– В общем, пойдешь к Питоеву. Знаешь такого? Ну и прекрасно. Но – только двести пятьдесят. У нас не Север. Согласен?

– Спасибо, Анвар Ахметович! Спасибо! – У Ивана вдруг вырвалось: – Век не забуду! – И чуть не заплакал, отвернув голову в сторону.

Зарипов уловил, наконец, состояние Чечина.

– Ну что ты, Ваня. Ты же мой ученик. Я всегда помогу. Все наладится у тебя. Поверь. Я тоже похоронил жену. Три года уже прошло. Ты хоть не бегал, не трепался. А я своей, бедной, много крови попортил. Помнишь нашу бригаду, Ваня? Славные были времена. Могли мы тогда и поработать, могли и отдохнуть. Не то что нынешние жлобы вокруг.

Иван встал, наконец, чтобы уйти. Зарипов, приобняв, повел к двери:

– Приходи, Ваня. Всегда приходи, если что. Приезжайте с Геннадием на дачу ко мне. Я ведь один в ней остался. Дети разлетелись. Сходим на рыбалку. За грибами.

– Спасибо, Анвар Ахметович, обязательно! – бормотал Чечин, выходя из кабинета.

Потом высокий крупный мужчина смотрел в окно, как посетитель переходил дорогу. Как пропускал и пропускал машины, отскакивая на поребрик. Как перейдя ее, наконец, поминутно останавливался и вытирался платком... Больной? Пьет? Зарипов не успел додумать – зазвонил телефон. Зарипов подошел, взял трубку:

– Да!

***

Вечером Иван поехал автобусом на кладбище возле горы. Ждал и Евгению с работы, но не дождался. Пустой автобус на конечной сделал круг и покатил назад в город.

Лежащие с похорон цветы давно завяли. Жалко свисли с могилы. Чечин принялся всё убирать.

Потом, взяв чью-то скамейку, он сидел возле Вериной пирамидки со звездой, смотрел на закат и думал, что прожил жизнь не так, как хотел. Он всегда занимался не своим делом. Он любил музыку, джаз. Всегда тянулся к музыкантам. Бесталанный, хотел подражать им во всем, походить на них. Даже внешне. И прической, и одеждой. А те над ним потешались. В школе сверстники чурались его, считали смурным. Издевались. А когда он однажды хорошо ответил одному – стали считать психом. Был у него только один друг. Верный друг. Генка. Который таким остался и сейчас.

– Вера, как любая живая душа, я хотел сказать что-то людям. Заявить о себе как-то. Прокричать. Так в юности у меня появилась шарманка. Каждый вечер люди слушали хорошую музыку. Я был счастлив. И меня за это посадили. У меня было в жизни два родных человека – бабушка

Людмила Петровна и ты, Вера. Обеих вас уже нет. Я всегда ненавидел грязь, стремился к чистоте, порядку во всем, уюту, а мне пришлось работать многие годы на буровых. На Севере. В грязи и холоде. Я никогда не болел, не знал, что такое врачи, поликлиники. А сейчас у меня постоянно рассыпается в груди дрожь и наворачиваются слезы.

– Даже для тебя, Вера, я был недалеким неуклюжим плохим мужем. Ничего тебе хорошего дать не смог.

Чечин заплакал. Открыто, беззащитно. Как когда-то его отец. Ничего не видел от слез. Ни заката, ни всего предночного неба над головой.

Дома на Восточной перед тарелкой супа сидел с остановленными пустыми глазами. Не слышал, о чем говорит ему сестра. Забыто мял хлеб. Мякиш.

***

Оформившись в отделе кадров, уже в фирменной синей спецовке с белой блямбой во всю спину «Ишимбайнефть» Иван Чечин отправился с Питоевым через два дня на свою первую трудовую смену.

К Восточным скважинам болтались в кабине громоздкой мастерской на колесах по пыльной дороге, опоясывающей город. Чернявый Питоев рулил, расспрашивал о Севере, называл фамилии братьев-нефтяников, которых Чечин должен знать. Иван некоторых знал, некоторых нет. Показались, наконец, двуплечие работающие станки-качалки, издали похожие на трудолюбивых кузнецов.

К шести часам проверили пять станков. Питоев оказался дотошным: лазил по каждой качалке, тщательно проверял. И приборами, и на глаз. Показывал все операции Ивану. В шестом станке нашли небольшой сбой в редукторе. За полчаса исправили неполадку. Питоев, видя, что большая башка в бейсболке схватывает все на лету, оставил ее закрыть редуктор кожухом, а сам покатил к последней качалке, мотающейся в полукилометре.

Иван заворачивал уже последний болт, когда у него вдруг потемнело в глазах. С большим ключом в засученной грязной руке сполз на землю. Разбросил ноги. Уже не мог вздохнуть, терял сознание. Бог сидел на облаке. Как на ветхом диване. Свесив голые ноги, с печалью смотрел вниз.

Нудно, будто железные детские качели во дворе, скрипела качалка. Облако над горой подпирал закат. За горой была Татария, другой часовой пояс. Туда в 80-е после семи октябрьские мужики гоняли на машинах за водкой.

Данила ДАВЫДОВ

***

в моих стихах нету метафизического измерения
нету в моих стихах измерения метафизического нету
нету измерения метафизического в моих стихах

измерения метафизического нет в стихах моих
нету метафизического измерения в стихах моих
метафизического измерения нету в моих стихах
нету в моих стихах

и трансцендентального нет
и сакрального нет
и трансперсонального нет
и просто-таки духовного нет
всем присутствующим привет

***

мне нужна регулярность
и это я знаю привычка дурная
эта вся непонятная склонность к ритмической организации
к рифмне
мне зачем-то нужна
я не претендую ни на что
просто так хорошо
когда за тебя говорят
а ты сидишь
полагая
что это и есть речь в ее эстетической функции
и в сущности
если бы так
то миру было б спокойней

Данила Давыдов – поэт, прозаик, литературный критик, филолог. Родился в 1977 году. Автор пяти книг стихов, книги прозы и сборника статей и рецензий. Специалист по наивной и примитивистской поэзии. Публиковался в журналах «Арион», «Воздух», «Волга», «Знамя», «Новое литературное обозрение», «Новый мир», «Урал» и др. Живет в Москве.

***

в нашем доме поселился
настоящий сотона
все соседи веселятся
им наверно до рожна

ну а я такой хороший
настучу немедля на
постою у исповеди
испеку блина

***

а вот я смерть подумал
не то чтобы представил
но просто от неких формул
попробовал отказаться

есть представление веры
инфантильное существо
думает, ну, я, первым
посмотрю, наплачетесь огого

или понимание что смерти нет
собственно и нет ее
но так страшно, дорогой поэт,
когда подкатывает ее бытие

я ничего не проповедую
в мире всё хорошо
ходят люди, в бога веруют
весна, расцвел цветок

***

и, скажем, поставить задачу перед собой:
написать историю русского панка
но где, где тут планка?
как определить, кто свой, кто не свой?

вообще, для таких задач
соорудили в свое время научные институты
но в нынешние тревожные минуты
сложно думать, что там всё схвач-

ено у нас, и потому засядем
напишем, возьмем интервью

надо бы, однако, написать, впрочем, ладно
выйду во скверик, скажу айлавью

***

лепил из непонятной штуки
прекрасну деву счастье мир
фантом возвышенной науки
хотел короче чтоб кумир

а получилось что случилось
мозгляк презренье чёрти что
оно след в след за мною ходит
я догадался почему

***

так плохо плакать о прошедшем
тем более страдать
но вот ветшаем и о себе говорим
говорим разное неприязненное

лучше бы встать умытыми
честно выйти
честно закончить всё это
все науки – и естественные, и гуманитарные,
и, кстати, религия тоже, –
учат
исключительно
способам
перехода

мне бы, впрочем, не хотелось бы миссионерствовать
поскольку пространство уже сочтено
и если уж действовать
то где – всё равно

***

скучно это шутится
очень как-то хлопотно
жуткое не жутится
светлое не светится

растерзали сволочи
хоть и не замечено
всякие там мелочи
но у них-то опыт-то

***

как нищета над битою посудой
как скупость над такою же но не
предложенной использовать тем людям
что могут ей воспользоваться вполне –

так нужен я своей стране.
всего ведь проще заявить: давай изыдем
давай, коли считают нас – мы не –
но не разочаруем их и не обидим

я приходил бы в разные места
где распростерлась ныне пустота
хихикал бы и чувствовал: в порядке

все эти давние уже душевные зарядки.
но прихожу, хихикаю, а ка́тарсиса нет.
однако это всё-таки сонет

***

лопата и ведро
и огнетушитель
я этого житель
мне очень херо

вот еще посреди
санки лыжи лопата
не закопата
ты бы изы

дел завтра тьма
таз полотенце
скрывается солнце
где же ты ма

***

вот хорошо бы с ними что сделать:
просто посадить на стул и заставить смотреть
нет, даже, не телевизор, нет
просто смотреть в окно
чтобы там проходили люди
и даже бы не говорили ничего
пускай даже бы и не говорили

***

как те кто видят насквозь
очень этого сквозняка боюсь
лучше уж внешний, приятный лоск
лучше искренне восхищусь

не то чтобы кости, всякое мясо, кишки
это противно но ничего
ничего даже душа, все грешки
всё это подлинное существо

но вот настоящее как есть
как ты есть прямо вот сейчас
когда это можно прочесть –
нет, не надо этого, врача, врача

вежливость и нежность.
хороший тон.
всё равно скоро ляжем
в единый холм

***

Маше Степановой

ритмически с моей квазисестрой
порой поспорить можем даже
но если встанут эти за горой
мы этих там вот не обяжем

в глазах бессмысленности мы
лишь повторение молекул
но каждый, выйдя из тюрьмы,
произнесет: о, эка...

и это иронично будет
пока страдание вот тут
пока нам голову на блюде
и некоторые не блюют

пока живой по миру ходит
но он давно уж не живой
он буратинкой входит: люди!
я свой!

***

тихо спит и жарко слышит
а ведь рядом-то шуршит
он наверное не дышит
нет, он дышит, но ушел

а кого же это слышим?
может просто на стене
или он на простыне
свой оставил шепот

нет он ходит топчет мямлит
и опять-таки шуршит
пролетели дирижабли
знать все средства хороши

мы спустились мы стучались
мы вломились – там ничто
но мы так ведь постарались!
там должно быть что-то что!

очень странное открытье
я не пожелаю вам
предъявите по прибытью
ну и уберите хлам

***

хороший выигрыш, победа над пространством
любовь к тебе совершенно иных
которые говорят теперь: ваше степенство
и толкаются, чтоб ближе быть остальных

осень без осени, лето вечное
такая зима, которая уже совсем, совсем не зима
способы не дождаться сумы
и не сойти с ума

что еще? крепкий кишечник, чистая печень?
сердце, которое не глагол а мотор?
есть такие миниатюрные, что запустишь в кровь –
и они свою работу продолжат вечно
каждое утро рапорт
всегда любовь

Екатерина СОКОЛОВА

ИЗ ОБЛАСТИ ДОННОЙ

***

присоединенная территория убрана к седьмому числу
все фигуры чудинов скрылись в дома
оставив обувь свою за порогом
угги свои выставив за порог

а самокатный проезжий бесится, ищет укрытия
среди тысячи мелочей по одной цене он взят
и теперь наш
кто виноват? я не спрятался –
колесиками стрекочет

***

пусть все переедут
из области донной сюда
и каждый ребенок расскажет
откуда он родом

вот Николай
пробирается огородом

у кого попросить яичко
и газ.воды
чья это мама находится между грядок
я привидел во сне воробьевый город
полный нормальной воды
и вещей нормальный порядок

Екатерина Соколова родилась в 1983 году, окончила филологический факультет Сыктывкарского государственного университета (2005). Стихи публиковалась в журналах «Арт» (Сыктывкар), «Север» (Петрозаводск), «Новая Юность», «Крещатик», «Урал», «Воздух». Лауреат премии «Дебют» (2009), финалист премии «ЛитературРентген» (2008). Автор двух книг стихов – «Вид» (2014) и «Чудское печенье» (2015).

/**шева**/

не знаете что это – шева?
я вам расскажу
тайное знание как бы из зырянской аптеки
многие из народа коми думают это просто такой жук
многие думают это голос такой сидит в человеке

шева это когда человек просто где-то находится
а потом вдруг кричит
голосом не своим и голос как будто скачет
тяжело отходя как наполненный чем-то мяч

иногда во множественном числе
шевы

часто они приходят к людям без спроса
являются существами волшебными
говорят у одной женщины из Корткероса
нашли в голбце лукошко с шевами

бывает шева как человек опасный
одна молодая заходит в лавку и как закричит:
три метра отрежь красной
красной красной
и снова как нормальная молчит

говорят шева живет в Богородске

сторонники анималистического толкования
в основном дети
говорят что шев женщины кормят грудью
что это мохнатые неприятные жукапы

в общем о шеве рассказывают всякие вещи
я сама толком не знаю какая она
но мне кажется шева это как другая похожая вещь
шева это война
вот именно это война

***

что делает человека из Визинги
таким проницаемым
хлеб он катает по желобу
воду толчет

все для него источник эмоционального состояния
и ничего не еда

это эхö
эхö
говорит он
оттуда где каждое лето бывал
на море

***

так не зря они посадили меня водителем
в тот автобус,
дали камень для приносящего мир человека,
а теперь оставили на границе
п о д у м и р а т ь, –
чтобы я поглядел,
как смех без причины что снег из мужчины идет
и он врет

***

на небі зіроньки сяють
там и няня моя живет
отчего мои глаза себя закрывают
и впадывает себя живот?

сначала в комнате своей сижу
обо всем что было со мной
потом во дворе как взрослый хожу
с поводком в руках за спиной

что призабыл я в далеком краю?
собаку простую мою

я хотел бы остаться с этими ласковыми другими
а вместо этого тороплюсь обратно
но кто согласует теперь мое возвращение в Киев
кто утвердит возврат?

Родион ВЕРЕСК

ХАЛЬМЕР-Ю

Повесть

Проводница

Этот поезд приходит где-то перед обедом. Тащит его обычно грузный, замызганный тепловоз, который, даже остановившись, продолжает выпускать едкий голубоватый дым, и внутри этой груды железа что-то урчит и клокочет.

– «Опа-сай-ся кон-такт-но-го про-во-да». Бабушка, а что это такое?

Бабушка рано научила меня читать.

– Где?

– Ну, вон, написано на тепловозе: «опасайся контактного провода». Почему его надо опасаться?

– Потому что убьёт током, если дотронешься.

– А если до этого дотронешься? – я показываю вверх, где над серыми прокопчёнными крышами вагонов пошатываются натянутые провода.

– Тем более! До проводов нельзя дотрагиваться.

– А дядя электрик дотрагивался! Который приходил к нам розетку чинить.

– Ну, это же дядя электрик. У него специальное оборудование.

– А у тебя почему нет оборудования?

– Я же не электрик.

Над вокзалом расплывается голос из микрофона. Женщина объявляет, что поезд называется «Новороссийск – Воркута» и прибыл он к первой платформе. Одна за другой открываются двери вагонов, и на низкий, весь в трещинах, перрон спускаются проводницы в тёмно-синей форме. Следом за ними – люди с сумками и кожаными чемоданами; рабочий в оранжевой жилетке проходит вдоль всего поезда и бьёт какой-то железякой по колёсам. Бабушка говорит, это он проверяет, не нужно ли заменить колёса.

– Бабушка, а где это – Воркута? – спрашиваю я вечером, когда она в ванной трёт мне спину колючей мочалкой.

– Далеко, на севере.

– Очень далеко?

– Очень далеко.

– А сколько туда ехать?

Бабушка вздыхает.

– Не знаю, может, полутора суток, может, двое.

– А кто там живёт?

– Люди живут, как и везде.

Я молчу, ощущая мочалку с каждым движением бабушкиной руки. Вокруг меня – тёплая-

---

Родион Вереск родился в 1984 году в Саранске, детство и юность провёл в Петербурге, окончил факультет журналистики СПбГУ. С 2005 года живёт в Москве. Публиковался в журналах «Нева», «Урал», «Сибирские огни», на порталах «Сетевая словесность», «Ликбез». В «Волге» печатался рассказ «Воровка» (2011, №9–10).

претёплая вода. Можно набрать её между ладоней, а затем выпустить, и она с шумом польётся в ванну.

– Перестань, Митя! Я тебе сколько раз говорила, чтобы ты так не делал?!

Я утыкаюсь носом в бабушкино зелёное платье с белыми цветочками. Они маленькие, с едва приметными лепестками, и их видимо-невидимо, как подснежников, за которыми злая мачеха отправила падчерицу.

– Бабушка, а что это за цветочки?

– Какие цветочки?

– У тебя на платье.

Бабушка снова вздыхает.

– Митя, не знаю, не до того сейчас, давай голову намылю.

– Неет! Не надо! Будет щипать! – хнычу я.

– Не будет, ты глазки закрой.

– Всё равно будет!

– Так. Мне что, милиционера позвать?!

Милиционер – тот самый дяденька в форме, который на вокзале прогуливается перед поездом. У него на голове шляпа, которая называется «козырёк». Бабушка говорит, что если я не буду слушаться, она отдаст меня милиционеру и он заберёт в милицию, а потом посадит в тюрьму. Но я не хочу в тюрьму, поэтому позволяю бабушке намылить мне волосы. Шампунь скользкий и холодный, и его так много, что он никогда не закончится – сколько ни смывай. Я зажмуриваю глаза изо всех сил. По шее, плечам, спине, животу льются мыльные пузыристые струи воды. Бабушка направляет на меня душ и тщательно трёт мне голову, пока, наконец, мыло не исчезает совсем.

– Открывай глаза, хватит жмуриться, а то будешь с морщинами, как столетний старик...

– Бабушка, а сколько тебе лет? – спрашиваю я, вылезая из ванны.

– Сорок шесть.

– А это много?

– Много. Вылезай давай, тапки надевай. Куда вторую тапку дел?

– А мне сколько лет?

– Тебе пять скоро будет. Подними руки, майку наденем.

– Пяяять?

– Да, пять.

– Это же много!

– Много, поэтому ты сам уже должен одеваться, а я всё нянчусь с тобой, как с грудничком.

– А маме сколько лет?

– Маме... – бабушка вздыхает. – Двадцать два.

– Двадцать два?..

– Да, двадцать два. Не дёргайся, сейчас причешу и косынку повяжу.

– Не надо косынку, она мне голову давит!

– Ничего она не давит! Не выдумывай.

Расчёска впивается мне в голову.

– Бабушка, а мама уже скоро приедет?

– Скоро, если будешь хорошо себя вести.

– А я же хорошо веду.

– Не уверена...

Мама далеко, в Москве. Она там работает и иногда приезжает. Бабушка к её приезду всегда печёт шарлотку. Так называется пирог с яблоками, и мама его очень любит. Я помогаю бабушке замешивать тесто, и за это она даёт мне облизывать ложку. У мамы длинные чёрные волосы, и пахнет от неё чем-то сладковатым. Иногда так же пахнет наш сосед с четвёртого этажа, дядя Петя. Мама сажает меня к себе на колени и просит рассказать, как я живу. Живу я хорошо. Мы с бабушкой каждый день ходим гулять. Во дворе у меня есть друг Серёжа и подруга Венера. Она

живёт на первом этаже, а гуляет всё время со своей куклой, которую катает в игрушечной коляске. Однажды я накормил её песком. Венера ревела, а бабушка меня ругала. А с Серёжей мы катаемся на велосипедах. У него-то уже большой, четырёхколёсный, а у меня только трёх, но я всё равно умею быстро на нём разгоняться, так что даже бабушка меня не может догнать, а только бежит сзади и кричит. Однажды Серёжа упал с велосипеда и ударился подбородком об асфальт. У него пошла кровь, и он громко ревел, почти на весь двор, и папа взял его на руки и понёс домой. А я стоял и смотрел снизу, и мне было страшно, ведь я тоже мог так упасть. И потом Серёжа долго не выходил на улицу, потому что у него было сотрясение мозга...

А ещё мы ходим с бабушкой на базар. Там всегда шумно, а под ногами – мокро или грязно от упавших слив, листьев капусты, брошенных собакам костей. Бабушка на базаре всё время встречает каких-то знакомых, и они начинают разговаривать, и говорят «уже умеет читать, считать», «ранний ребёнок», «дочь в Москве». Мы покупаем картошку, лук, мясо, бутылку молока с цветной блестящей крышкой, а уже на выходе, где стоят старушки, торгующие зеленью, – укроп или петрушку. Петрушку я не люблю: она у меня застревает между зубов. А потом, когда приходим домой, бабушка варит щи, добавляет в них чеснок и лавровый лист и немного томатной пасты, и я ем всё-всё, как в обществе чистых тарелок...

А вообще, я люблю ходить на вокзал. Бабушка соглашается неохотно, говорит, что и так плохо спит оттого, что под окнами день и ночь проходят поезда. Но я люблю поезда, потому что раньше в них работала мама. Она была проводницей и тоже спускалась из вагона в красивой синей форме, проверяла билеты, затем поднималась назад и ехала дальше. Она ездила в Воркуту и в Москву, а потом осталась там и перешла на другую работу. Так говорит бабушка. И ещё она говорит, что Москва большая-пребольшая. И людей там столько, что они сшибают с ног. Московский поезд – длинный, в нём целых восемнадцать вагонов. Они тёмно-зелёные с яркой жёлтой полосой посередине. И тянет поезд не тепловоз, а электровоз. Он ездит быстрее.

Из ванной я бегу в комнату так быстро, что воздух свистит в ушах, а всё тело охватывает такой холод, будто на дворе зима, хотя сейчас ещё только самое начало осени. С разбега падаю на кровать и забираюсь под одеяло – поглубже, поглубже, и вот тут, в темноте и духоте, укрытый со всех сторон, ещё раз ощущаю эту холодную волну, пробегающую по бокам, и после этого начинаю согреваться. Бабушка входит следом и выключает свет. В окно ярко светит фонарь, отчего на полу, на зелёном линолеуме, разливается широкое светлое пятно. Раздаётся гудок тепловоза, затем перестук колёс, и я понимаю, что это пассажирский, – вскакиваю, подбегаю к окну.

– Митя, ложись!

Там, в черноте, мелькают жёлтые квадратики вагонных окон.

– Бабушка, а это какой?

– Откуда я знаю, какой? Я что, диспетчер? – и, взглянув на часы, добавляет: – Харьковский, наверное. Ложись, у меня ещё дел полно.

Она целует меня в лоб и укрывает одеялом, взмахнув им в воздухе, словно огромным полотенцем. Затем выходит из комнаты и закрывает дверь. Но я сквозь стену всё равно слышу, как она моет на кухне посуду, гремит ложками и тарелками, открывает и закрывает холодильник, затем входит в ванную и начинает стирать, потом подметает в коридоре. А поезда идут и идут – то товарные, то пассажирские.

Утром я просыпаюсь оттого, что у меня болит зуб. Бабушка в своём красивом тёмно-красном платье варит толокняную кашу, заваривает чай из каких-то трав, которые она хранит в старом, давно не работающем холодильнике, и велит полоскать рот. Я полощу, полощу, полощу, но зуб всё равно не проходит, и после завтрака мы отправляемся к врачу. Чтобы добраться до поликлиники, нужно сесть в троллейбус и ехать в дальний район за лесом.

– Что, так далеко?

– Далеко. Митя, держи меня за руку, сейчас дорогу переходить будем к остановке. Видишь, пока красный свет горит?

– А почему так далеко?

– Потому что там находится детская зубная поликлиника.

На улице – яркое-преяркое солнце, и трещина на оконном стекле троллейбуса светится так, будто это огненный зигзаг. На поворотах троллейбус подвывает, словно ему тоже больно, как и моему зубу. Солнце пробивается сквозь длинные еловые ветки. Лес тянется и тянется, пока, наконец, не расступается и не появляются пятиэтажки, пятиэтажки, пятиэтажки, которые сменяются высокими серыми башнями.

– Бабушка, а вот в тех домах сколько этажей?

– Много. Шестнадцать, наверное. Митя, двигайся к дверям, нам сейчас выходить.

– А шестнадцать – это очень высоко?

– Очень.

– Это почти космос?

Бабушка смеётся чуть слышным перекатывающимся смехом. Ветер гонит по асфальту сухие сморщенные листья, и они издают такой же звук, как бегущая собака.

– Скажи «Аааа», – говорит мне тётенька-врач, беря меня за подбородок, а потом бьёт железной ложечкой по больному зубу.

– Ааа! – кричу я, собираясь зареветь.

– Ну что, больно?

– Да! – у меня из глаза вытекает слеза и устремляется вниз по щеке.

– Ууу! Такой большой – и плачешь!

Это голос медсестры, которая хлопочет где-то рядом. Она уже пожилая, в белом платке, свисающем сзади треугольником, в белом потёртом халате, как доярка...

– Ну что, будем сверлить, – говорит врач. У неё большие, в пол-лица, очки, лимонные кудри и тёмно-красные губы. Бабушка тоже иногда красит губы в такой цвет.

– Нет, не будем!!!

Я реву в три ручья. Все трое – бабушка, врач и медсестра – принимаются меня утихомиривать: бабушка держит мои руки, медсестра – стакан с водой, а врач пытается открыть мне рот, разжимает зубы. В следующие несколько мгновений я вижу белый потолок кабинета, кусок окна, в которое проникает яркий солнечный свет, жужжащее сверло, которое приближается к моему лицу, окровавленный палец врача со стекающей каплей крови...

Обратно мы едем молча. Бабушка очень на меня рассердилась за то, что я укусил врача. Зуб мне всё равно просверлили и поставили пломбу, после которой два часа нельзя есть. А я и не хочу. Хочу только, чтобы мы поскорее оказались дома и бабушка снова была такой же, как всегда. Когда она сердится, ей это очень не идёт. День в самом разгаре, и солнце поднимается высоко, над крышами домов, над деревьями, над болтающимися проводами. Когда мы заходим во двор, там тихо-тихо, только двери подъездов поскрипывают, галка в одиночестве прогуливается по дорожке. Солнце освещает высокую-превысокую трубу котельной, сложенную из тёмно-оранжевого кирпича.

– Бабушка, почему так тихо?

Она не отвечает.

– Бабушка, ну почему так тихо?..

– Потому что все обедают.

– А мы тоже пойдём, да?

Она не отвечает.

У подъезда нас встречает соседка со второго этажа Марья Григорьевна. Бежевое пальто, очки, морщинистый лоб.

– Вера, тут тебе телеграмму какую-то приносили. Спрашивают, где ты. А я говорю – с внуком ушли куда-то. Телефона-то нет у тебя, вот они и ходят.

– Какую ещё телеграмму?

– Да не знаю, сказали, придут ещё, в руки отдадут.

Пока бабушка готовит обед, я раскладываю по полу железную дорогу. Пластмассовые рельсы спускаются с ковра, огибают стул и забираются под стол. Паровозик с нарисованным машинистом

когда-то заводился, но однажды я перекрутил пружину, и теперь его можно лишь подталкивать. Следом катятся три вагончика – два пассажирских и один товарный. Но они совсем коротенькие – не такие, как в настоящем поезде. И никакой проводницы в синей форме. Обидно...

Раздаётся звонок в дверь. Бабушка выходит в коридор и закрывает дверь в комнату. Я слышу обрывки короткого разговора, гул труб, проходящих где-то в стене, гудок приближающегося поезда. Подбегаю к окну. Товарняк. Товарняки всегда громкие и длинные-предлинные – вагонов не сосчитать. Ды-дын, ды-дын. Цистерны, цистерны, затем тележки с углём, затем снова цистерны... Когда поезд проезжает и снова становится тихо, в комнату входит заплаканная бабушка. Я никогда не видел её плачущей.

– Бабушка! – испуганно говорю я, чувствуя, что тоже сейчас разревусь.

– Ой, дрянь! Ну какая же она дрянь!..

– Кто – она?

– Мамаша твоя.

Фельдшер

– Вон, видите, поставили нам эту вышку прямо над головами. У нас вот в этих трёх домах за последний год уже двое умерли от рака. Мы тут так все вымрем, а они только этого и добиваются!

Несмотря на то, что уже ударили морозы и дорога стала скользкой, староста двигается бойко, будто готовится вступить с кем-то в рукопашную. Дорога взбирается вверх мимо недавно отстроенных кирпичных коттеджей с башенками и массивными эркерами, и дальше идёт по гребню, на котором стоит деревня. Говорят, во время войны сюда изо всех сил рвались немцы, но до боёв за эти высоты не дошло, и они всю блокаду оставались под защитой наших. Вид отсюда открывается на несколько километров вокруг. В хорошую погоду отлично видны городские многоэтажки, а если повезёт, то можно разглядеть и сверкающий на солнце купол Исаакиевского собора.

– И давно у вас поставили эту вышку?

Журналист едва поспевает за старостой. Со стороны он кажется жутко неуклюжим, словно выхолощенный зверь, попавший в совершенно непривычные условия.

– Прошлой весной, – с досадой говорит староста. – Вот мы сейчас подойдём, и вы увидите, какое расстояние от этой вышки до ближайшего жилого дома.

– Ну, зато мобильная связь, наверное, тут хорошая.

– Да на кой нам нужна эта мобильная связь? Всю жизнь без неё жили и ещё столько же прожили бы, если б нас вытравливать не начали, как тараканов. Вот вы и напишите, что число раковых больных у нас выросло. Вот у нас – самая большая проблема... Дорогу у нас не перейти, видели сами? Тут такой перекрёсток – того и гляди – сшибут, люди по пятнадцать минут не могут перейти, чтобы на автобус сесть!

– А мне говорили, у вас тут с водой перебои.

– Ха! перебои! У нас вот в этой двухэтажке воды нет уже третий год.

– И как там живут?

– А так и живут. На колонках набирают. Колонки ещё действуют, слава богу.

– А можно зайти к кому-нибудь в квартиру?

– Да запросто. Сейчас я позвоню одной...

Осень в этом году ранняя, подмораживало уже в октябре, сейчас – самое начало ноября, а такое ощущение, как будто уже настоящая зима, и снег выпал, только пока неглубокий совсем, на лыжах ещё не покатаешься. Староста идёт, чуть сгорбившись от ветра, держа около уха телефон.

– Алло, Шур! Шура, ты дома? Алло! – кричит так, будто звонит из автомата на вокзале. – Это Людмила Васильевна, староста. Ты дома? Дома? У меня тут журналист, приехал писать про наши проблемы. Сейчас зайдём.

Шура – полная, как Монсеррат Кабалье, и совершенно неповоротливая. Как она только передвигается по этому крошечному коридорчику и кухонке, в которой умещаются лишь газовая плита, раковина и стол с двумя табуретками? На потолке – застаревшее ржавое пятно.

– Крыша у нас протекает, – виновато говорит Шура, как будто её застукали за воровством.

– С крышами в этих домах вообще беда, – вступает староста. – Я в администрации все пороги обивала, добиваясь ремонта крыш. Нет денег – и всё! – она взмахнула рукой, будто мечом.

– Канализации тоже, говорят, нет? – спрашивает журналист. Волосы у него рыжие, а лицо веснушчатое, как у Карлсона.

– Нет, – цокает Шура, качая головой.

– А вы в туалет зайдите и посмотрите, как тут люди без нормального туалета управляются.

– Люд, да не надо!

– А чего не надо? У тебя там что, клад?

Староста решительно распахивает скрипучую сортирную дверь. Там, внутри, всё так же, как в обычном деревенском туалете. И запах такой же. И даже мухи ещё живые, несмотря на то, что из щелей тянет уличным холодом. Рядом с импровизированным унитазом стоит помятое ведро.

– Куда выносите? – морщится журналист, претворяясь, что зевает.

– В выгребную яму, во двор, – раздаётся виноватый голос Шуры.

– Ну, расскажи, как ты по два часа в райцентре дрова выбиваешь!

– А что, тут отопления нет?

– Молодой человек, вы в деревне! – злостно усмехается староста. – Какое же вам тут отопление? Только такое!

– А где дрова храните?

– В сарае, во дворе, – бубнит Шура, – у нас там все их хранят. Вы лучше к моей соседке зайдите, она вам больше расскажет, а то я и не знаю, чего рассказать.

Каким-то чудом на крохотной лестничной площадке умещаются четыре квартиры. Дверь одной из них открывает крашеная блондинка. Крашеная давно: чёрные корни вовсю пошли в рост. Лицо худое, испитое. Голос с хрипотцой.

– Крыша? Течёт – не то слово! Пройдите, пройдите вот сюда – вот, видите, у меня тут тазик стоит?

В проёме кухонной двери видна вторая женщина, такая же худая и с огромными мешками под глазами. На столе – две железные кружки.

– Эля, покажи ему, как вы уже третий год без воды живёте! – хлопочет староста.

– А так и живём. Вот, ванная! – Эля звучно кашляет. – Извините, я немного болею.

В ванной – никакой ванны, только её квадратное подобие. Засохшие краны с ржавой раковиной, трубы с висящими полотенцами, и этот не выветривающийся десятилетиями запах сырости, мыла и гнили.

– Ну, сюда, ладно, не будем заходить, тут у меня как бы ремонт сейчас...

Стены узкой комнаты оклеены яркими сине-жёлтыми обоями. В углу – ломаный стул. В окне – старая грязно-белая рама, за стеклом болтается провод – не провод, канат – не канат...

Она всё-таки заходит.

– Вон у меня под окном – помойка, видите? И не просто помойка, а выгребная яма. В неё с трёх домов выносят свои туалеты, а мне всё это нюхай! – Эля опять кашляет. – А вон там у нас вообще скотомогильник! Вон, видно отсюда?

Журналист утыкается носом в стекло.

– Эля, лучше выйти на улицу и показать.

– Да я простужена, Люд, – кхе, кхе. – А хотя... ладно, на пять минут!

Во дворе какой-то ребёнок катается на велосипеде по задеревеневшей, наполовину покрытой снегом дороге. За длинным сараем из тёмно-серых досок открывается поле, по которому взад-вперёд гуляет ледяной ветер.

– А вот вам сейчас Зинаида Павловна расскажет про свою жизнь! – восклицает староста, завидев на скамейке перед подъездом серенькую старушонку.

– Вы чаго это тут? – спрашивает старушонка, уставясь на старосту, журналиста, сопливую Элю и невесть откуда взявшегося мужичка в синей замызганной кепке.

– Зинаида Павловна, это корреспондент местной газеты, он пишет про проблемы нашей деревни.

– Ой! – машет рукой старушка. – И говорить не хочется!

– Чего ж не хочется! Вон у вас крыша течёт в доме.

– Да какой это дом! – хрипит Эля. – Не дом, а одно название.

– Теперь тебе, значит, одно название! – меняется в лице старушка. – А небось всю жизнь прожила.

– Да я бы и не жила, если бы возможность была. Это что – жилье? Ты сама довольна таким жильём?

– Я довольна! А когда мне давали его, у меня другого не было. И у матери твоей не было, царство небесное!

– Ха! Жилье нашла, тоже мне! Кхе, кхе!

– Да, жильё! Совхоз его ещё строил! – окает старушка. – А теперь – где совхоз? Уже десять лет нету! Ай, идите вы!

И она встаёт и идёт сама – ковыляет, ковыляет вдоль сарая, словно раскулаченная крестьянка, и платок на её голове трепыхается и трепыхается от ветра.

– Наталья Вячеславовна! Наталья Вячеславовна! Идите сюда! – это опять старостин голос. – Наталья Вячеславна, здрасьте! Подойдите к нам на минутку! Вот это наш фельдшер, замечательная женщина! (староста поворачивается к журналисту). А ей работать не дают. Её увольняют, а фельдшерский пункт закрывают. Теперь только в райцентр ездить, а там в очереди просидишь полдня. И талоны в регистратуре надо в шесть утра брать, иначе не останется ничего.

– А за что вас увольняют? – спрашивает корреспондент. Голос у него робкий, как у прилежного ученика.

– А вот... документов, документов у меня нужных, оказывается, нет. И прописка у меня в Казахстане, – грустно улыбается фельдшер.

Ей от сорока пяти до пятидесяти. Круглое доброе лицо, светлые волосы, когда-то подстриженные под каре. Бело-синий спортивный костюм. Учительница физкультуры скорее, а не фельдшер.

– Молодой человек, вы напишите, напишите! – во дворе вдруг появляются какие-то новые люди. – Главный врач в райцентре нам только и строит козни. И ей тоже! Такой омерзительный мужик – убила бы! Но мы нашу Наталью Вячеславовну никому не отдадим! Добрее человека я ещё не встречала. Она людям помогает, а с ней так обходятся!

– А вы давно тут живёте? – спрашивает журналист.

– Да год почти... – снова улыбается фельдшер, и улыбка её становится ещё грустнее.

– А далеко живёте?

– Снимаю полдома за четыре тысячи, в соседней деревне, через дорогу.

– А фельдшерский пункт почему закрывают?

– А вот, говорят, не нужен он, народу мало приходит на приём. Всех в райцентре теперь принимать будут...

Толпа реагирует раньше, чем она успевает закончить фразу.

– Да это вообще издевательство! Город в четырнадцати километрах, а такое ощущение, будто глушь непролазная.

– Да какой четырнадцать – восемь напрямую, если через поля! – раздаётся скрипучий мужицкий голос из-под синей кепки.

– Глушь и есть!

– Только вышки свои и ставят везде! Взорвать бы эти вышки к чёртовой матери!

Текст получается длинным, густым, полным диалогов, заканчивающихся восклицательными знаками. Редактор читает его с совершенно отстранённым лицом, будто и так знает это всё наизусть. Одной рукой теребит бусы, как чётки.

– Кстати, фельдшера они увольняют совершенно справедливо, я тебе говорила, что староста эта любит поднимать шум, толком не разобравшись в проблеме. Ну, деревенская женщина, плохо образованная, что с неё взять?

– И за что увольняют фельдшера?

– А за то, что у неё нет необходимых документов. Прописки нет, регистрации. У неё же гражданство-то казахстанское. И с дипломом у неё что-то там не то, мне главный врач объяснял, что вроде её диплом у нас не признается, нужно проходить переаттестацию, а она её не прошла.

– Ну и что?

– Как это что? Ты меня пугаешь! Как её можно оставлять работать, если она не имеет права людей лечить?

– Вы бы видели, как все её защищали.

– Это я уже поняла из твоего текста. Ну а что толку защищать, если нужно нанимать квалифицированного специалиста? А потом кто-нибудь умрёт у них, не дай бог, а они будут говорить, что это вышка сотовой связи виновата...

– Как тогда её на работу взяли?

– Не знаю, как взяли. Наверное, плохо документы смотрели, а потом проверки начались...

– Люди думают, что главврач больницы так избавляется от неугодных сотрудников.

– Люди много чего думают и говорят много чего. Это не значит, что всем подряд верить надо. А ты пошёл на поводу у старосты.

Журналист молчит, не зная, что ответить. Смущённый, застигнутый врасплох Карлсон. Редактор начинает бить пальцами по клавиатуре.

– А фельдшерский пункт главврач закрывает – это тоже правильное решение?

– А это другой вопрос. Я считаю, что неправильное. Но об этом надо объективно написать. И тут всё зависит не от одного главврача. Урезали ему финансирование – и крутись, как хочешь. Тут надо разбираться на более высоком уровне, в областном правительстве с кем-нибудь поговорить.

– Честно говоря, мне тоже этот главврач не особо нравится. Мутный какой-то. Прошлый был лучше.

– Ага, лучше! Вспомни, в каком состоянии больница была! Этот хоть немного начал порядок наводить. А потом – я ещё раз говорю: тут всё не от него одного зависит, систему надо менять. А такие, как староста Людмила Васильевна, всегда были, есть и будут.

Фельдшера Наталью Вячеславовну похоронили через два месяца. Её сбила машина, когда она переходила шоссе.

Учительница

Карта старая, местами выцветшая, протёршаяся на линиях сгиба. Видимо, её не сворачивали в рулон, как это делают обычно, а складывали, как попало, да ещё небось сверху придавливали книгами или чем придётся. В самом низу карты – тёмно-коричневые разводы Памира, Тянь-Шаня, Гиндукуша, на которые опирается разливающаяся кверху сине-жёлто-зелёная громадина. Чёрные квадратики, кружочки, трапеции полезных ископаемых так и пестрят между пальцев учительницы, которая говорит вот уже полчаса подряд.

– Три главных угольных бассейна нашей страны: Кузнецкий – Кузбасс, – Канско-Ачинский и Печорский. В СССР одним из главных был Донецкий – Донбасс, но сейчас он почти целиком расположен на территории Украины, в Ростовской области – лишь небольшая часть. Новая граница нашей страны проходит вот тут...

Учительницу зовут Ирина Евгеньевна, и она наш новый классный руководитель. Большинство в классе географию терпеть не могут. Дались кому эти бассейны! Кто сейчас топится углём?

– Добыча угля неуклонно падает, – говорит Ирина Евгеньевна, широко растягивая слова. (Вот точно так же и с такой же интонацией говорит и моя бабушка.) – Возьмём, например, Печорский бассейн. Если десять-пятнадцать лет назад там ежегодно добывали почти тридцать миллионов тонн угля, то сейчас – вдвое меньше. Так что шахты продолжают закрываться...

Пшш – раздаётся сзади. Это Стас распылил пахучий дезодорант из тёмно-синего баллона. По классу прокатился смешок.

– Ливнев, назови мне главный город Печорского бассейна!

В ответ Стас ухмыляется и пожимает плечами. Во время паузы тишины слышно, как в окно начинает барабанить дождь.

– Ты у меня в прошлой четверти дурака валял, в этой, значит, решил продолжить... Ну что, так и не выучил главный город Печорского бассейна? Кто мне назовёт?

– Воркута... – раздаётся сзади чей-то ленивый голос.

– А что это так тяжело? Воркута! Ну, правильно! Ещё какие города расположены рядом? Как минимум один мне назовите.

Вместо ответа все снова слушают дождь.

– То, как вы знаете географию, иначе как безобразием назвать нельзя. Ни один класс ещё не был так бессилен в предмете, как вы! Ну как это так – не знать, где что находится вокруг! Да многие из вас даже географии города толком не знают. Спроси вас, где находится Васильевский остров, а вы в ответ так же будете ухмыляться и пожимать плечами!.. Не понимать своего положения в пространстве – что у тебя находится по левую руку, что по правую! Не осознавать, где север, а где – восток! Это значит и своего пути толком не осознавать...

И она снова ныряет в карту и говорит о том, что угольная промышленность переживает глубокий кризис. И, в отличие от газовой, объёмы добычи резко сокращаются, люди теряют работу и переселяются в другие города с более комфортным климатом, и вокруг Воркуты стоит множество заброшенных посёлков, в которых никто не живёт. На этой фразе в коридоре дребезжит звонок.

– Сейчас не расходитесь, подойдите ко мне и сообщите имена и отчества ваших родителей! Я с самого начала года не могу ни от кого из вас этого добиться! Надоело!

У её учительского стола, заваленного учебниками, тремя моделями глобуса, кипами тетрадей выстраивается длинная очередь. Когда дело доходит до меня, я говорю:

– Ялдин, Александр Васильевич. Отец.

– Так, записала. Мама?

– Мамы нет.

– Нет? – она смущённо вскидывает на меня свои крашеные глаза.

– Нет, ну она есть, но живёт в другом городе, и мы редко общаемся.

– Поняла...

Я выхожу в коридор и спускаюсь вниз в сплошном потоке джинсов, рюкзаков, разноцветных футболок и юбок. Очередь в гардероб, железный номерок в кармане...

– А я не знала, что ты живёшь без мамы...

Светка... И Ксюха, её подруга. Обе стоят рядом и смотрят на меня так, будто узнали что-то страшное. У Ксюхи совершенно белое лицо.

– Ты чего такая бледная? – спрашиваю.

– У меня живот болит.

– Живот?

– Да, живот. У девочек такое случается, Митенька, – снова вступает в диалог Светка.

– А у мальчиков не случается?

Они смеются в ладошку. Я понимаю, что сморозил глупость.

– Ты такой ещё дурачок! – ласково говорит Светка.

Мне так никто никогда не говорил. Мы выходим на улицу. Дождь почти прекратился и капает лишь изредка, но в водосточных трубах потоки ещё не иссякли и шумно выплёскиваются на тротуар, подпитывая ручьи.

– И что, ты всё детство так и прожил без мамы? – Светкин голос тянется вверх, она запрокидывает голову и смотрит на меня вопросительно-грустно. Ксюха всё так же бледна и молчалива.

– Я иногда называю мамой мачеху. А та, родная, приезжала иногда. Проводницей работала.

Не буду же я говорить, что моя мать просидела почти десять лет в тюрьме за грабёж и убийство и освободилась только недавно.

– Проводницей? Куда ездила?

– В Воркуту, – зачем-то говорю я, давая понять, что разговор для меня слишком тяжёл, чтобы его продолжать.

Но и обрывать я его не хочу. Хочу, чтобы мы со Светкой шли вот так по пустому тротуару, оба в капюшонах и с рюкзаками за плечами, и шли бы мы на юг, а нас один за другим обгоняли бы троллейбусы.

– У меня мама стюардессой раньше была, – говорит Ксюха. – Адская работа!

– Чем это она адская-то? – спрашивает Светка.

– А ты полетай каждый день по несколько раз! Охренеешь!

Светка перепрыгивает лужу и направляется вперёд.

– Эй! Наш троллейбус идёт! Ксюх, ты едешь?

– Я нет, мне же ещё не домой!

Они перемигиваются, давая понять, что у них есть своя жизнь, скрытая от тех, кого она не касается. В том числе и от меня.

– Ладно, давай! До завтра! А ты едешь? – кричит мне Светка.

– Еду.

– Тогда двигай тазом в темпе вальса, а то сейчас вымокнем под дождём.

Мы влетаем в двери, которые захлопываются сразу за нашими спинами. Троллейбус трогается. Мы молчим, а мне хочется, чтобы Светка ещё что-нибудь спросила обо мне или моей маме, которая совсем не похожа на обыкновенных мам, заставляющих учить уроки и вовремя возвращаться домой. Светка спрашивает про папу.

– Папа забрал меня сюда, когда мне было пять лет. У меня ещё две маленькие сводные сестры: одной три, другой – пять.

– Ясно.

– А у тебя ведь есть брат? Или сестра?

– Брат, старше на три года, в институт поступил.

Мы едем на юг. Троллейбус останавливается на перекрёстке, распахивает двери, снова запахивает их, и там, за стеклом, всё кажется настолько понятным и осязаемым, что хочется потрогать каждый дом, подпрыгнуть и приземлиться на крышу вон той шестнадцатиэтажки, подтолкнуть рукой другой троллейбус, ожидающий зелёного света. «Ранний ребёнок», думаю я про себя. Так меня часто называли в детстве, и вот теперь я, кажется, начинаю понимать, что это такое. Сейчас Светке, как и мне, пятнадцать. А если бы она через два года родила мальчика... нет, лучше девочку, я бы её полюбил? Я был бы счастлив оттого, что у меня есть дочь? А Светка была бы счастлива? А мама была бы счастлива оттого, что счастлив я? Мама, как я тебя люблю – хотя бы за то, что когда-то ты была такой же девятиклассницей и вот так же перед кем-то стояла, прислонившись к троллейбусному стеклу!

– А где ты жил раньше?

– В Поволжье, город маленький, ты не знаешь...

– А отец твой всегда жил здесь?

– Да, он местный. С матерью они случайно встретились.

Светка потягивается и интригующе улыбается, затем стаскивает капюшон и жалобно так говорит, с интонацией доброй воспитательницы:

– А вот не встретились бы они, и не было бы у нас такого смешного Мити!

Я выскакиваю на ближайшей остановке и бегу, бегу по наполовину стёршейся зебре, навстречу зелёному мигающему человечку. Мама! Как же мало мы знаем друг о друге!

Фермер

– Надо всё-таки было ехать раньше и через Выборг. Оттуда хоть и дальше немного, зато уже были бы на месте!

Сплюнув под ноги, Киря лезет в карман своей длинной просторной ветровки и, порывшись, вынимает пачку сигарет. Потом долго возится, пытаясь вынуть сигарету. Затем долго чирикает

зажигалкой и, наконец, закуривает, шумно выдыхая вместе с дымной струёй. Кажется, он только учится курить, словно мечтающий повзрослеть восьмиклассник. Движения его неуклюжи, угловаты, и рыжее веснушчатое лицо сильно его молодит, делая младше лет на пять.

– Киря, не гнуси! Дался тебе этот Выборг! Оттуда подкидыш два часа ползёт, а тут меньше часа – и мы почти на месте.

Миха любит затевать споры и демонстрировать свою правоту. Непринуждённо, не со зла, это я понял с самого дня нашего знакомства. Но именно за это многие его не любят. Ну, не любят и не любят – дело их.

– Ну, почти на месте – это сильно сказано! – включаюсь я. – Там ещё пешкодралом почти десять кэмэ.

– Митя, что такое – десять кэмэ? Это что – расстояние?

– Ну, конечно! Ты же у нас – дитя севера! – ворчит Киря. – С самых ползунков по тундре километры наворачивал!

– Киря, хочешь, я понесу тебя на руках?

Миха – он ведь понесёт, его на слабо не возьмёшь. И висящий на шее тяжеленный фотоаппарат ему не помеха. И ещё вброд перенесёт через речку, в которой вода в середине лета – плюс пять.

Сейчас – предпоследние выходные июня. В городе жарко, но проедешь каких-нибудь километров двадцать на север – и уже прохладнее, а через сто пятьдесят без ветровки неуютно, да ещё комары тучами вьются, как ни прыскай на себя этот сладковатый антимоскитный аэрозоль. Киря хотел ехать на машине, но у Михи дача в такой глуши, что машину жалко. Вот на тракторе – можно, а ещё лучше – пешком от станции. А до станции – двумя поездами с пересадкой. Для Михи это как десять минут до метро. Мы забираемся в вагон и занимаем три кресла, рассаживаясь друг напротив друга. Между нами – узкий замызганный столик: узор-паутинка, на котором отпечатались следы от чайных стаканов, разрезы, оставленные ножами, тёмное пятно жвачки, прилепленной лет десять назад. Кроме нас, в вагоне ещё несколько человек, но они настолько неприметны, что как будто и нет никого. И в соседнем, наверное, тоже. А больше вагонов нет. Подкидыш трогается, и в приоткрытое окно тянет густым и едким тепловозным дымом. Он клубится тёмно-серым облаком, плывущим за бортом, и растворяется в бледном, белёсом небе, едва заметном из-за сосновых макушек.

– Чего ты хату в таком медвежьем углу-то купил? Не успеем приехать, уже обратно надо будет лыжи рвать!

Любит Киря поворчать, но ворчание у него получается каким-то добрым, своим. И ещё эти щёки веснушчатые...

– Чего там тебе рвать-то? Работы, что ли, много? Ты же у нас – вольный художник!

– Не завидуй! Ночами посиди вот так попиши.

– А то я не писал! Один факультет-то закончили. Правда, я сразу решил, что всей этой писаниной заниматься не буду, и подался на кафедру фотодела.

Сколько помню Миху, он почти всегда с фотоаппаратом. К цифровикам поначалу относился презрительно, как старые, пропахшие беломором фотокорры, а потом купил зеркалку и вроде признал, что прогресс необратим. И теперь у него уже почти своё бюро и он слывёт среди нас богатеньким буратино.

– Магазин-то есть на станции? Или закрыли уже? – ёрзает в кресле Киря.

– Есть, но он может быть закрыт. Он почему-то иногда закрывается раньше.

Помню я этот «магазин». Старый контейнер, в котором поставили прилавки-холодильники и навалили под стекло пельмени и слежавшееся мороженое. Последний раз мы были у Михи года три назад, когда он только купил этот «хутор», как его называет. Это действительно хутор. До ближайшей деревни там – километра три, а дом – старый, вроде бы ещё финский, чудом уцелевший с тех пор, когда эти земли были частью Финляндии. По обеим сторонам узкой просёлочной дороги – зарастающие окопы, проложенные между скальными выступами. Такое ощущение, что цивилизация потерпела поражение и с тех пор отступает всё дальше и бесповоротно, и её осколки

лишь гуще покрываются изумрудными мхами, и поезду всё тяжелее идти по расползающимся рельсам.

– Ты чего, Митяй? – одёргивает меня Миха, кладя на плечо свою длинную костлявую руку.

– Да ничё! Дай-ка флягу!

Засмотрелся в окно – и «завис». Это часто со мной бывает. В детстве бабушка меня всё время тормошила и говорила, что я считаю ворон. Подкидыш идёт не спеша, и кажется, будто это не настоящий поезд, а какой-то сказочный, и вот сейчас из-за ёлки покажется избушка на курьих ножках или Кот Баюн спрыгнет с раскачивающейся ветки... Тепловоз даёт низкий гудок, и состав начинает замедляться. Станции как бы и нет: едва заметная в траве платформа, которую и платформой-то не назовёшь.

Киря берёт у меня флягу, прикладывает к губам и пьёт, пьёт, пьёт...

– Э, Карлсон, ты обороты-то сбавь, а то накиряешься раньше времени по самый Хальмер-Ю! – одёргивает его Миха. От неожиданности Киря чуть не давится:

– Чё?!

– Да ничё, накиряешься, говорю, там и так дорога – отнюдь не Невский, так ещё тебя тащить придётся!

– Не, а чё ты за слово сказал?

– Хальмер-Ю?

– Да, чё это такое?

– Забей, местный воркутинский жаргон.

– А поподробнее?

– «Хальмер-Ю» – посёлок такой был под Воркутой, его закрыли давно и забросили. Название в переводе с ненецкого – «мёртвая река». Дядюшки мои постоянно так друг друга подкалывали, и сейчас подкалывают, наверное.

Попробуй кого убеди, что Миха родился в Воркуте. Какой он там северянин! Узковатое лицо, длинный нос с горбинкой, черная щетина на лице, волосы бобриком... А фамилия и вовсе прибалтийская – Асмер. Его с такой фамилией, правда, чаще за еврея принимают. И характер, скажем прямо, не северный. Включит пятнадцатую скорость – и угонись за ним. На курсе его не любили, считали выскочкой. Я, честно говоря, тоже его когда-то не любил, а потом сошлись как-то. Как, до сих пор не понимаю.

– Да, и как это тебя в Воркуту забросило?

– Забросило моего деда. Думали, что он еврей, а он – эстонец чистой воды. После войны его загребли, несколько лет в шахте батрачил, затем кочегаром работал, до самой смерти.

– Кочегаром кто только не работал! Цой, например... – я протягиваю флягу Кире.

Состав трогается, и клубы дыма за окном густеют.

– Ха! Цой! Насмешил!

Через полчаса мы выпрыгиваем из вагона, в котором, кроме нас, больше никого. Под ногами – серая утоптанная земля, с проступающей булыжной кладкой. Вокзальчик – деревянный, тёмно-жёлтый, к стене прикручен синий почтовый ящик. Наша фляга пуста, и Киря, кажется, повеселел, размяк и теперь тянет всех в магазин, чтобы прикупить «топлива» на остаток дороги. Но магазин закрыт. Крашеная зелёная дверь перечёркнута длинным засовом. Комары липнут и липнут, пищат над ухом, словно невидимые свёрла. Я накидываю капюшон и смотрю исподлобья в высокое северное небо, под которым прошла бóльшая часть моей жизни. Тепловоз подаёт гудок, подкидыш отчаливает от станции и скрывается за поворотом.

– Ты, когда дачу покупал, в объявлении, небось, было написано: хорошая транспортная доступность, развития инфраструктура...

– Митяй, Киря подобрел, так теперь ты включил мизантропа? – и – щёлк! – Миха ловит меня в объектив – щёлк! – и Кирюху ловит. А потом задирает выдвинутый объектив в небо и щёлкает самолёт, прочерчивающий в высоте яркую, чуть изогнутую полосу.

Ну, всё, включил фотографа. Да ещё в такие позы становится, будто у него в руках не фотоаппарат, а пулемёт с наводкой.

– Что это мы с собой никаких девушек не позвали? – развязно спрашивает Киря.

– Уймись, журналист! – похлопывает его по плечу Миха. И говорит воспитательским тоном: – Ты сейчас смешон, как тинейджер: то тебе «топлива», то тебе девушек... Будешь хорошо себя вести – самогоном угощу, нас там ещё целая канистра дожидается. Самогон местный, проверенный.

Я молчу, глядя, как уходят вперёд два моих лучших друга, и пытаюсь понять, что же меня кольнуло и почему я никак не могу сдвинуться с места, как в детстве, когда я был на кого-нибудь сильно обижен. Встрепенувшись, бегу вперёд, вдогонку, и из-под моих кроссовок разлетается песок. Дорога сначала идёт по берегу озера, затем сворачивает в лес. Там так пусто и глухо, будто всё вокруг обложено ватой и поролоном. Дорога раскисла от дождей и ещё не успела высохнуть. На машине мы бы тут завязли через десять метров.

– Долго ещё? – спрашивает Киря, который до этого не был здесь ни разу.

– Долго. – успокаивает его Миха. – Как раз успеешь протрезветь.

– Иди ты в пень!

– В который? Их здесь много.

Вот и знакомые окопы, петляющие между сосен. Здесь, наверное, хорошо снимать фильмы о войне, в готовых декорациях. У излучины дороги видны поросшие мхом руины.

– А это что? – спрашиваю, наступив на нечто, напоминающее ступени лестницы.

– Остатки финского хутора, – задорно говорит Миха. – Их тут знаешь сколько?

– Сколько?

– До фигища. Тут же финны раньше жили, а у них – хутора.

Фундамент большой, прямоугольный, посередине растёт молодая сосна, окружённая зарослями крапивы и полыни. Ступени ведут вниз – наверное, в подвал, когда-то существовавший.

– Предлагаю сделать тут привал.

– Митяй, ты устал, что ли?

Это у Михи встроен вечный двигатель, а я – городской человек, мне бы на троллейбус сесть, когда есть такая возможность, или в метро спуститься. Но сейчас я спускаюсь в бывший подвал. Стебли полыни неподвижны, словно высечены из камня, а сохранившийся кусок фундамента густо покрывают мхи – тёмный, светлее, ещё светлее. Небо бледнеет, и солнце уже исчезает в сосновых ветвях. Становится ещё прохладнее. Я застёгиваю молнию на ветровке под самое горло и сажусь на ступени, выступающие из мха и травы. Однажды, ещё в школе, мне попалась карта Карельского перешейка, с длинными труднопроизносимыми названиями, завораживающими своим звучанием: Каннельярви, Петяярви, Лейпясуо, Пааккола, Элисенваара, Туокслахти, Куокканиеми...

– Как твоя деревня-то называется? – спрашивает Киря. Его голос звучит откуда-то сверху, из-за зарослей, которые загораживают меня сейчас от остального мира.

– Да никак она не называется. Хутор и хутор.

– Ну, раньше-то он как-то назывался, наверное?

– Раньше, может, и назывался. Тут кругом такие называния, что язык сломаешь, пока произнесёшь...

– Я учил в школе финский, – лениво говорит трезвеющий Киря. – Там восемнадцать падежей.

– Да ладно! – говорю. – А я слышал, что пятнадцать...

– Всё равно до жопы. Английский, по сравнению с этим, – детская сказка.

– Я в школе учил язык коми, так что могу представить себе, что такое финский, – тараторит Миха.

До Михиного хутора добираемся ближе к одиннадцати. Пусто, светло. Войдя в дом, разбираем рюкзаки, достаём тушёнку, пакет картошки, которая всю дорогу мяла мне спину, выкладываем на стол длинные изумрудные огурцы, помидоры (недозрелые, зато крепкие), несколько бутылок пива, минералки...

– Света тут нет, что ли? – кряхтит Киря, разгибаясь над своим рюкзаком.

– Свет в углу! – бодро рапортует Миха. – Да вон там, в углу. Ну, хорош тормозить-то! – Он сам подходит и нажимает на кнопку едва приметного выключателя. – Кстати, электричество тут вроде провели всего несколько лет назад.

– Да ладно!

– А что ладно? Тут на несколько километров – ни одного человека, так что бузить можно сколько угодно. Разве что пограничцы заявятся.

– Зачем это? – выражаю я своё удивление, держа огурец, как меч.

– Хрен знает... Тут погранзона недалеко, туда только по паспортам или спецпропускам.

– Как в тюрьму, что ли? – голос у Кири стал почему-то сиплым, словно у зека.

– Картошку давай чистить, тюрьма! – Миха отвешивает ему щелбан.

– Э! Руки! – Он швыряет в Миху картошку, которая, отскочив от плеча, летит в сторону и, падая, ещё долго катится в дальний потаённый угол.

Киря с Михой начинают драться. Схватились, как два пса: один чёрный и худой, другой рыжий и пушистый. В шутку, конечно, ну что за ребячество в двадцать семь лет! Я беру несколько картофелин и ухожу на веранду, где к шершавой деревянной стене прикручена раковина, а над ней – бак. Воды в нём, конечно, нет. Я складываю картофелины в раковину. Их оказывается ровно восемь штук. Миха с Кирей всё ещё возятся где-то там в комнате и кряхтят, как заправские драчуны. А я, как обычно, устраняюсь от драки, потому что каждый раз вспоминаю бабушкино ещё молодое, совсем не морщинистое лицо, и её вкрадчивые, убеждающие слова: «Митя, драться нехорошо». Никогда не умел драться и всегда боялся ударить, хотя кто мне только не говорил: чтобы победить наверняка, нужно ударить первым. Выхожу на улицу, где тихо светлеет прохладная белая ночь. Небо пшеничного цвета, как волосы нашего учителя истории, который, пытаясь удержать дисциплину, говорил сквозь скрип стульев и девичий хохот:

«26 ноября 1939 года на советско-финской границе у деревни Майнила... Девушки, вы прекратите свалку на последней парте или нет?!.. У деревни Майнила произошло то, что потом стало называться «Майнильский инцидент». Как писала газета «Правда», группа наших военных была обстреляна финнами. Было произведено семь орудийных выстрелов, в результате чего погибли четыре человека... Молодые люди, выйдите в коридор! Пообщайтесь там... Советское правительство обратилось к финскому с нотой, в которой выразило глубокое возмущение... Как потом показало расследование, снаряды действительно летели с финской территории, но в том месте граница делала петлю... Я сейчас нарисую на доске... То есть снаряды были пущены с советской территории, пересекли финскую и упали уже на советской. СССР был так возмущен, что объявил Финляндии войну... Кстати, Хрущёв, уже потом, много лет спустя, признался, что Майнильский инцидент был преднамеренной провокацией Советского Союза, организованной командармом Куликом...»

Вот, оказывается, что меня кольнуло там, в начале просёлочной дороги. Это колет всегда, и от этого, наверное, уже никуда не деться. Когда я вспоминаю школу, мне всегда кажется, что на этом отрезке жизни я не смог совершить чего-то самого главного, упустил что-то такое, чего уже не наверстать, и мне бесконечно стыдно возвращаться в те годы, и от этих воспоминаний хочется сжать кулаки или ущипнуть себя до крови. Учителя звали Вячеслав Васильевич. Он пришёл чуть ли не сразу после института: щупленький, худенький, в очках с золотистой оправой, в опрятном отглаженном костюмчике... Девчонки заходили в класс и садились к нему на стол, заглядывая, как он заполняет журнал. А он делал такое лицо, будто попал в окружение и теперь мучительно соображал, как из него вырваться. Это было уже в то время, когда я любил Светку, и всё, что слушал тогда в классах с мигающими потолочными лампами, ложилось в голову намертво, широким размашистом фоном моей любви. Я представлял себе, что каким-то чудом мы со Светкой оказались на линии Маннергейма. Она в форме медсестры, а я лежу на снегу и смотрю, как в небо взмывают высокие оранжевые сосны. А потом она наклоняется и кладёт руку мне на лоб.

«Линия Маннергейма – это больше ста километров оборонительных сооружений, в том числе ДОТов, валунов и траншей, – надрывается Вячеслав Васильевич. – Названа по имени Карла

Маннергейма, бывшего кавалергарда российской императорской армии, который потом стал президентом Финляндии... Света, я для вас рассказываю!..»

«Правда, Вячеслав Васильевич?» – громкий девичий хохот.

«Линия Маннергейма позволила финнам долго обороняться, и мы несли огромные потери. Но постоянные подкрепления со всей страны всё-таки позволили прогрызть финскую линию обороны, и 13 марта наша армия заняла Выборг...»

Светка кладёт голову на плечо Стасу Ливневу.

Я сжимаю кулаки. Валун, ещё валун и ещё. Этот, третий, похож на остатки какого-то сооружения. По еле заметной в траве тропинке, с белой эмалированной миской подмышкой я отправляюсь на поиски воды. Должна же тут где-нибудь быть вода – хоть в колодце, хоть в ручье. Отойдя немного в сторону, я оборачиваюсь и смотрю на дом. Массивный, тёмно-серый, он тоже напоминает вросший в землю валун. А вокруг зеленеют, замерев, вихры полыни, осоки и разлапистый молодой сосняк. Обхожу дом и возвращаюсь на то же место. Ночь нисколько не становится темнее, и небо всё такое же пшеничное, как выдохшееся светлое пиво.

– Эй, Митяй! – Миха издаёт громкий свист, словно рассерженный постовой.

Я кладу миску подмышку и бреду к крыльцу.

– Вот он, бездельник! – хрипит Киря. – А подмышкой-то у тебя что там такое?

– Котеня слепое.

– Что-о? – взрыв хохота.

Мне как-то не до смеха.

– Мих, ты мне лучше скажи, где у тебя тут воды набрать.

– С этим сложно.

– Что значит – сложно?

– Значит, что на родник надо идти. Километра полтора.

Это удар поддых.

– Издеваешься, что ли? Девять с половиной километров от станции, потом ещё полтора до родника? Может, ещё линию Маннергейма заодно возьмём?

– Эй, ты чего опять Карлсона-то включил? Митяй, не бузи! Ты же хочешь картошку в мундире?

– Я хочу тебя треснуть по голове этой миской! Забрались в какую-то жопу, где даже воды не набрать!

– А мы и не будем набирать её в жопе. Мы пойдём на родник. Киря, можешь даже не напяливать свой непродуваемый бронежилет! Тут идти-то всего минут пятнадцать. Только канистры возьми! Вон там, под вешалкой!

Мы снова выходим на лесную дорогу. Под молчащими соснами прячутся холод и темнота. Небо разделяет пополам след летящего самолёта. Миха останавливается и, задрав голову, прижимает ладонь ко лбу, словно козырёк. Мы с Кирей по инерции делаем то же самое.

– Куда он, интересно, летит на ночь глядя? – интересуется Киря.

– Куда-то на восток... – задумчиво, почти мечтательно произносит Миха. В детстве он хотел быть пилотом.

– А откуда? – спрашиваю.

– Из Хельсинки! – уверенно заявляет Миха. – Или из Стокгольма. Это наверняка ночной рейс куда-нибудь в Шанхай или в Сеул: вечером сел – утром прилетел.

Самолёт, словно микроскопический грифель, тянет свою полосу, которая на другом конце плавно превращается в кисель.

– В Стокгольме классный аэропорт, – не унимается Миха. – Особенно мне нравится название: Арланда.

– Я думал, это где-то в Штатах, – хрипит Киря.

– В Штатах – Орландо, а в Стокгольме – Арланда, Карлсон ты наш чухонский!

До родника добираемся уже за полночь. Неглубокая, выложенная камнем чаша с ледяной водой. Аккуратная такая, будто желоб под водосточной трубой где-нибудь на Васильевском или Петроградке.

– Ты, что ли, камнями-то выложил? – спрашиваю я Миху, закуривая. Я почти не курю, но иногда это необъяснимо нужно.

– Смеёшься? Это, небось, ещё финны.

– Да ладно!

– Что «ладно»? У них всё держится крепко. Вон, дом мой – настоящая крепость!

– Да уж, крепость! – хрипит стрельнувший у меня сигарету Киря. – Был бы ещё рядом с этой крепостью колодец...

– Колодец был когда-то. Только он зарос. Я вам его покажу, когда мы вернёмся. Хутор, видно, большой был...

Миха ставит на землю две полные канистры и суёт в воду третью. Киря докуривает и тушит сигарету о поросший мхом валун.

– Вот Финляндии его и вернули бы. Была бы тут сейчас ци-ви-ли-за-ци-я.

Миха усмехается, обнажая белые-пребелые зубы.

– А в городе тебе её не хватает, этой цивилизации?

– И в городе не хватает. Вон, в центре Выборга дома – как после бомбёжки.

Миха вынимает из воды третью канистру и молча смотрит на родник. Вода журчит чуть слышно и бежит тоненькой струйкой. Наверное, раньше тут была бурная порожистая река, с водопадами и перекатами, а сейчас это всё, что от неё осталось.

– Ты вот представь, рыжий ты наш дипломат... – Миха делает ораторскую паузу. – У тебя украли собаку, посадили её в клетку, стали плохо кормить, перестали расчёсывать шерсть, и она превратилась в ободранную доходягу. Ты бы после этого взял её обратно?

– Взял бы. Собака – самый преданный друг...

Кажется, я уже где-то слышал эти слова. И слышал так отчётливо, что это навечно сидит в моей голове. «Собака – самый преданный друг», – говорила Светка Ксюхе. Они стояли за углом школы и курили. И Ксюха рассказывала, что терпеть не может собак, потому что они носятся по дворам целыми стаями и роются в помойках, и она по утрам иногда боится выйти из подъезда и, между прочим, из-за этого тоже, бывает, опаздывает в школу. А Светка каждый день выгуливала своего Ричарда, и он даже узнавал меня, обнюхивая мои колени и глядя прямо перед собой задумчивыми-презадумчивыми глазами. «Не трогай Митю. Он хороший...»

Вернувшись, мы первым делом разводим во дворе костёр, потому что ночь становится ещё холоднее и, кажется, на траву вот-вот выпадет роса, затем подвешиваем над пламенем котелок с родниковой водой и перекатывающимися картофелинами. Миха говорит, мол, вот забросит «городской суетняк», уедет сюда и станет фермером, снова выкопает колодец. Потом разливает по кружкам оставшийся во фляге коньяк и, раскрасневшись от кострового жара, поднимает тост.

– Народ, я позвал вас сюда не просто так...

– Это мы уже поняли! – вклиниваюсь я, вновь взяв на себя роль Кири.

– Я скоро женюсь...

Слышно, как в лесу кричит какая-то птица. Молчание нарушает Киря.

– И на ком?

– На девушке, которую знаю очень давно.

Мне снова хочется сжать кулаки.

Стюардесса

Ступить на тротуар, вымощенный красной и жёлтой плиткой, похожей на свежевыпеченные вафли, вдохнуть щедрый солнечный порыв ветра, утекающий за пазуху и за спину, сорваться с места – и – вниз, вниз, вниз, мимо каскада клумб и притормаживающих перед светофором автобусов, мимо стены Старого города, проступающей из-за листьев, мимо вывесок на латинице – туда, на Сахиль... А на Сахиле когда-то были карусели, лотки с мороженым под запылёнными пальмами, и уж точно раз в неделю мама покупала огромные пломбирные стаканчики или липнущую к пальцам сладкую вату...

Сейчас самое начало мая, и ветер ещё не знойный, но море уже блестящее, несущее к берегу масляные пятна и длинные, почти неподвижные баржи.

– Интересно, купаться-то здесь можно? – спрашивает Вероника. – Ир, ты куда бежишь? Мы что, стометровку сдаём?

– Купаться? За город ехать нужно. Здесь кругом – одни танкеры и бетонные волнорезы.

– Ты-то откуда знаешь?

– Я же бакинка, – улыбается Ира. И опускает взгляд на тротуар.

Они знакомы не больше недели. Их почти одновременно перевели на международные рейсы. Начинают, как правило, с СНГ: Киев, Астана, Ташкент, Баку... Вероника – маленькая хрупкая брюнетка, говорит с лёгким уральским акцентом. Ира – рослая, сероглазая шатенка. Её часто ставят проводить предполётную инструкцию в салон бизнес-класса, пока самолёт выруливает на полосу. Смотришь вперёд, машешь руками в пустоту. Редкие головы, торчащие из-за широких спинок кресел, пялятся в журналы или распаковывают наушники. В салоне гаснет верхний свет. «Время в пути до Баку – три часа пятьдесят минут. В полёте просим вас не пользоваться электронными приборами. Согласно требованиям безопасности, во время взлёта и посадки створки иллюминаторов должны быть открытыми...»

Обратный рейс сегодня поздний, и в запасе ещё как минимум два часа. Они выходят на Сахиль, в этот час ещё почти пустынный. Смуглые официанты в белых рубашках о чём-то переговариваются у входа в ресторан, похожий на летающую тарелку. Пальмы словно солдаты: один ряд, другой, третий, а между ними – тротуар – плитки, плитки, плитки, на отполированной поверхности которых переливается солнце.

– Шашлык жарят... – говорит Вероника и щурится.

Ира снова улыбается:

– Вот теперь я узнаю Баку. В детстве это был самый привычный для меня запах. Причём в любое время года...

– И долго ты тут жила?

– До одиннадцати лет. Пятый класс закончила ещё здесь. У нас был дом на берегу моря, с большим участком, на котором было много кизила и дикого винограда. Мама работала учительницей в школе.

– А потом?

– А потом дорогу начали строить через наш участок. Дали квартиру, до которой нужно было долго ехать на метро, потом на троллейбусе...

– Здесь метро есть?

– Есть, и народу в нём почти столько же, сколько и в Питере. По крайней мере, раньше было.

Вероника молчит, глядя, как в сверкающей воде длинное неповоротливое судно медленно удаляется к горизонту. Плеска воды отсюда совсем не слышно – она там, за решетчатой оградой, а за спиной гудит набережная, на которой что-то строят, строят, строят... Краны поднимаются и слева, и справа, и на холмистом горизонте, и в выступающем из воды порту...

– Нас переселили в двухкомнатную квартиру – меня, брата и родителей. Бабушка к тому времени уже умерла, не увидев сноса дома... А потом оказалось, что эта квартира – армянская...

– В смысле, армянская?

– В ней жили армяне, которых выкинули оттуда буквально за несколько месяцев до того как мы туда вселились. Или убили...

– Да, я слышала, что тут была заваруха. И вы в Питер уехали?

– Да, в один день собрались и уехали. В Питере тётя жила, поэтому хотя бы было понятно, куда ехать.

– А если бы вы всё-таки остались?

Ира вынимает из сумочки бутылку с минералкой и жадно делает несколько глотков.

– Вовремя мы приехали. Ещё буквально неделя – и тут начнётся такая жара, что носа не высунешь. И асфальт будет раскалённым, в самое пекло под каблуками иногда даже образовываются вмятины. Летом мама никогда не пускала нас с братом гулять сразу после обеда. А если попада-

ешь в Старый город, такое ощущение, будто перенёсся на несколько веков назад, и сейчас из ворот дворца выйдет Ширваншах.

– Кто?

– Ладно, не буду умничать.

Обе снова молчат. Порыв ветра забирается в кроны деревьев, и они шумят за спиной совсем как в обычном лесу средней полосы России.

– По-моему, тут до сих пор все говорят по-русски, – задумчиво произносит Вероника. – Пока я не чувствую здесь себя за границей... Ну, или почти не чувствую. Но вот то, что у них от аэропорта до города можно добраться только на такси, это, конечно, дикость.

– Раньше автобус ходил...

Вероника наклоняется, как будто собирается посплетничать.

– Ир, а ты бы сюда вернулась сейчас?

Ира улыбается и опускает взгляд на тротуар.

– Когда мы отсюда уезжали, мне хотелось потерять сознание, а потом очнуться где-нибудь в совершенно незнакомом месте. И чтобы ровный, спокойный голос сказал: «Ты теперь другой человек, у тебя всё другое – друзья, родственники, страна, другой жизненный фон. И другое имя...» Хотя нет, имя я бы оставила. И запах шашлыка.

– У тебя не осталось здесь никаких родственников? Совсем?

Улыбаясь, Ира качает головой.

– Ты можешь себе представить город, из которого взяли – и выкопали целый слой? – она делает ладонью подкоп в воздухе. – Вот так, в одночасье, как червей выкапывают.

И они опять молчат. Город, который «пылью тягучей по грудь занесён». Здесь не осталось даже бабушкиного праха. Мама хлопотала несколько лет, но все-таки добилась того, чтобы и его перенесли в Питер. «Бакинка, бакинка», – крутится в голове. И, кажется, если спросят, откуда, нужно отвечать: «Из Баку». Ведь вот же он, Сахиль. Берег. Земля. Ира поднимается со скамейки.

– Ладно, пойдём, покажу тебе место, где снимали «Бриллиантовую руку», – и, дёрнув плечом, поправляет сумочку.

– Далеко?

– Нет, вот тут, через дорогу. Вон, за Девичьей башней, в Старом городе.

Повариха

Она оборачивается, и оказывается, что у неё совершенно мальчиковое лицо. Молодое, немного землистое. Только одна морщина едва заметна между бровями. Видимо, она курила, потому что в комнате чувствуется запах сигарет. Замечаю лежащую на подоконнике пачку. Верёвка спускается от ручки форточки по стеклу. В детстве я любил её дёргать, чем очень сердил бабушку, она ругалась, говоря, что я когда-нибудь разобью стекло.

– Привет!

Голос тоже как будто мальчишеский, почти такой же, как у меня.

– Привет! – да, такой же, только у меня немного гнусавый.

Мы молча коротко обнимаемся. Мы одного роста. Как будто я по-дружески обнимаю кого-то из приятелей. Грудь у мамы маленькая, едва ощутимая под пушистым свитером с высоким горлом. Руки цепкие, будто она пытается удержать что-то ускользающее. Но я никуда не ускользаю. Я стою тут, облокотясь о раздвижной деревянный стол, под которым в детстве у меня была хижина, я там прятался от Бабы Яги, мифического милиционера... да много от кого. Но сейчас мне пятнадцатый год. Я приехал к бабушке на летние каникулы, и на улице такая жара, что, кажется, асфальт плавится под ногами. И город такой тихий и медлительный, что даже странно, как это в детстве казалось, будто его наполняет море красок, запахов и звуков. Только поезда всё так же стучат и стучат колёсами под самыми окнами.

– Какой ты большой! – мама обдаёт меня табачным запахом и коротко улыбается, а затем опускает взгляд в зелёный линолеум. – Бабушка говорит, ты хорошо учишься.

– Учусь...

– Какой предмет тебе больше всего нравится?

– География, – почему-то отвечаю я, чувствуя, как у меня сами собой сжимаются пальцы на ногах. Хочется подняться над линолеумом, над столом, над этим скрипучим проваливающимся диваном, над сложенной раскладушкой, прислонённой к стене, пробить оконное стекло и вылететь в июльское пекло, в котором разлит запах тепловозной гари.

– А я всегда плохо разбиралась в географии. С трудом Дальний Восток находила. Но ты ведь умный мальчик, хороший. Ты должен хорошо учиться.

– Я учусь...

– Нравится тебе с отцом?

– Да ничего. Только вот по бабушке скучаю...

– А я работать устроилась.

– Куда?

– Проводницей. Туда же, где и работала. Можно, я тебе позвоню, если как-нибудь окажусь в Питере?

– Звони, конечно!

Я произношу это так, будто хочу убедить в этом не только маму, но и самого себя. У проводниц обычно синяя форма. Надеюсь, маме будет идти. Так и вижу её рядом с вагоном, у открытой двери, проверяющую билеты у пассажиров с чемоданами. Такой я видел её в детстве, когда мы с бабушкой приходили на вокзал, чтобы проводить поезд. Мама прижимала меня к своей тёмно-синей, пропахшей гарью юбке, быстро целовала в макушку, а перед отправлением подталкивала в затылок, как будто хотела, чтобы поезд побыстрее ушёл в одну сторону, а мы – в другую, а то расставаться слишком долго.

Мама вынимает из пачки ещё одну сигарету, но, бросив взгляд на меня, кладёт обратно.

– Можешь курить, – говорю я ей. – Я тоже иногда курю.

– Не кури. Лучше пойдём на кухню, поможешь мне приготовить суп, а то бабушка с работы придёт, а есть нечего.

Бабушка работает на почте. Ставит штемпели на бандероли и конверты с заказными письмами. Раньше она была инженером – кажется, проектировала какие-то склады, гаражи, заводские цеха. Нравилась ли ей такая работа? Нравилось ли ей жить в небольшом областном центре, где на центральном проспекте вывески «мясо» и «молоко» над закруглёнными окнами, давка в тесном троллейбусе, пахнущий гарью вокзал, а напротив – Главпочтамт? А когда ей было столько лет, как мне сейчас, думала ли она, что просидит полжизни за ватманом и будет носить домой химические карандаши? Но у неё была дочь, а потом появился я, и, наверное, после этого всё остальное стало уже неважно.

Сургуч – он тёмно-коричневый, вязкий... Когда в школе географичка рассказывает, что такое лава, я представляю себе именно сургуч и вспоминаю негромкий бабушкин голос. Мама всё-таки откладывает пачку в сторону и идёт сзади, легонько подталкивая меня в спину. Руки у неё тонкие и холодные, как у замёрзшей девочки. На кухне она достаёт с полки, завешенной старым полотенцем, пузатую алюминиевую кастрюлю, наполняет её водой из-под крана и ставит на плиту. Я вынимаю из корзины картошку, пахнущую подвалом, беру нож и, сунув картофелину под струю воды, счищаю с неё жёсткую прошлогоднюю кожуру.

Я всегда был старшим братом, и мне постоянно достаётся за то, что учу плохим словам двух своих сводных младших сестер, за то, что смешу их перед сном, за разбросанные по комнате игрушки и сломанную ногу куклы. А тут у меня такое чувство, будто за спиной стоит старшая сестра и режет капусту. Когда капуста разварится, будет поскрипывать на зубах. А в бульон бабушка обычно добавляет томатную пасту, так что её щи по цвету напоминают борщ. Мама начинает резать капусту, нож стучит по доске – тук, тук, тук... Помню, бабушка пыталась научить меня считать, стуча ложкой по стакану или хлопая в ладоши, а когда я научился, то чаще всего считал вагоны в проходящих поездах. В московском их восемнадцать, а в товарняках и не счесть. А буквы мы учили по старому растрёпанному букварю, на обложке – девочка в коричневом платье с белым фартуком держит портфель.

– А мачеха твоя, она к тебе хорошо относится?

– Нина? Хорошо. Уроки заставляет делать.

– Это правильно. Меня твоя бабушка в детстве тоже заставляла, а мне всё время хотелось гулять. Но мы жили-то с ней в коммуналке, вдвоём в комнате девять метров. Вот мне и хотелось оттуда бежать. Это уже перед тем, как ты родился, нам дали квартиру.

Я поворачиваюсь и окидываю взглядом кухню. Здесь ничего не изменилось с тех пор, как отец однажды забрал меня отсюда и увёз в аэропорт: один большой холодильник с постоянно заедающей ручкой, другой поменьше, давно неработающий, с занавеской вместо дверцы, – там бабушка хранит крупы, сахар и макароны; стол, крашеный белой краской... вообще-то это не обеденный стол, а хозяйственный, с тумбочкой внизу, где стоят варенья, чашки, деревянная ваза с карамельками, а в ящиках над тумбочкой – вилки, ложки, ножи... И сидеть за таким столом очень неудобно, потому что некуда девать ноги, но от этого не становились менее вкусными бабушкины щи и картофельное пюре, кастрюлю с которым она оборачивала газетой, чтобы не дать остыть. Всё это я хочу рассказать маме, которая, как и я, когда-то обедала за этим столом и будет обедать сегодня. Я хочу рассказать ей про то, что после отъезда к отцу бабушка стала называть меня «ленинградец» и что я не люблю, когда светит вот такое яркое солнце, потому что обязательно случится что-нибудь грустное. Но я говорю совсем не об этом. А о том, что, когда вырасту, хочу стать юристом, потому что все юристы зарабатывают много денег. Мама усмехается и говорит, что в колонии была поварихой. А потом спрашивает про отца. И я снова вспоминаю тот день, и как мы садились с ним в самолёт, и стюардесса по микрофону объявляла, что мы летим в Ленинград. Отец с тех пор почти не изменился. Он такой же высокий и молчаливый, только поседел. У нас по отцовской линии все седеют рано: дядя, дедушка, папин двоюродный брат...

– Чайник поставишь? – просит мама. – Чаю очень хочется. И шарлотку я бы испекла, но сейчас уже не до того...

Она подаёт мне хорошо знакомый белый чайник с огромным красным цветком и свистящим носиком. Сначала я его очень боялся, а потом стал воображать, что это сирена милиции или «скорой помощи». Я наполняю чайник гулкой водопроводной водой и рассказываю, что папа почти всё время на работе и приходит поздно вечером. Если зима, то он кладёт на полку над вешалкой большую меховую шапку. Раньше она казалась мне настолько огромной, что я думал, будто это и есть – шапка-невидимка. Если же лето – он снимает сандалии, ставит на пол сумку, которую носит через плечо. А если дождь, он часто приходит мокрый, потому что терпеть не может зонтов. И тогда Нина ругается и бежит в комнату за новой рубашкой.

Щи кипят на плите. Томатная паста, увы, закончилась, поэтому они будут бледными, бесцветными. Раковина полна картофельных очисток, их придётся выгребать руками и выбрасывать в ведро. Нина использует мусорные пакеты, но здесь, в бабушкином городе, таких, наверное, не продают, поэтому бабушка по-прежнему обкладывает ведро старыми газетами и выносит на помойку, а когда выбрасывает мусор в бак, сильно колотит о него ведром – тук, тук, тук... Тарелки тоже хранятся в тумбочке стола. Я хорошо помню каждую из них. На дне вот той нарисованы звери из сказки «Тараканище». И бабушка часто говорила: «Ешь скорее, чтобы увидеть, как медведи на велосипеде едут».

Она придёт совсем скоро. Уже половина шестого, но жара всё такая же удушающая, и отражающий солнце подоконник, наверное, раскалённый, как доменная печь, нарисованная в школьном учебнике литературы.

– Мне пора, – говорит мама и снимает фартук.

– Куда? – не понимаю я, отставляя в сторону тарелку, в которую собирался налить щи.

– На поезд. Я же говорю: на работу устроилась. Проводницей...

И тут я понимаю, чего больше нет в этой солнечной бабушкиной кухне: радио молчит. Раньше оно всегда или пело, или передавало последние известия, и я удивлялся, почему их передают и передают, но каждый раз говорят, что они последние. Теперь радио сломано и бабушка жалуется, что всё никак не может отдать его в ремонт.

– Ты что, не будешь есть щи?

– Я уже не успею. Поезд уходит в половину седьмого, а мне надо ещё в служебку зайти.

– В какую служебку?

– В служебку... форму переодеть.

Она почти подбегает ко мне и крепко-крепко обнимает. Я тоже обнимаю её, так и не выпустив из руки тарелку, и она болтается, болтается, болтается, стиснутая моими пальцами.

– Я обязательно приеду к тебе в Питер. Будешь ждать меня?

Я молчу. Тарелка болтается и болтается. Мама отрывается и заглядывает мне в лицо. Тарелка с грохотом падает на пол, катится, ударяется о стену, но не разбивается, а начинает крутиться и бренчать, понемногу затухая. С точно таким же звуком я когда-то давным-давно катал по полу крышки от кастрюль и железную подставку под сковородку, пока бабушка стояла у плиты и мешала суп или кашу. Мама убегает, переобуваясь буквально на ходу, хватает какие-то пакеты, стоящие в прихожей на полу, мимолётно поправляет волосы перед зеркалом. Когда за ней захлопывается дверь и я слышу её гулкие шаги на лестнице, чайник на плите начинает свистеть. Свистит и свистит – всё громче и громче, и ещё громче. Я поворачиваю липкую рукоятку, и становится снова тихо. А солнце светит и светит.

Волшебница

– Киря, Кирю-ша! Вставай!

– Мм..

– Вставай, вставай давай! – мама хлопает сына по плечу, тормошит, поднимает одеяло...

– Ну! Отдай! – Киря утыкается лицом в подушку, и его лохматая рыжая шевелюра загорается в солнечных лучах.

– Ну, время-то уже – одиннадцатый час. Вставай, убираться надо, готовить.

– Не хочу убираться! – гнусавит Киря.

– Что значит «не хочу»?! Не капризничай! Ты такой капризуля – сил никаких нет! Сегодня же Анечка приедет!

Точно, Анечка! Киря поворачивается и, хмурясь, потягивается.

– А когда она приедет?

– Когда-когда? К обеду. А у нас в доме не убрано. Стыдоба какая! Вон, посмотри, что у тебя на стуле творится!

На спинке висит рубаха, из-под которой торчат штаны, под ними виден свитер, и ещё там ремень, достающий до пола. А на самом стуле комом валяется покрывало, которое Киря вчера перед сном сдёрнул с кровати. Утро яркое, за окном краснеют и желтеют кроны. Сейчас – октябрь.

С Анечкой интересно. Киря обычно называет её Анка, потому что если назовёшь её Анькой, она начнёт сердиться и жаловаться взрослым. У неё длинные волосы – примерно до плеч, и она терпеть не может, когда ей заплетают хвостики. В них она кажется слишком мелкой, хотя ей уже десять, и она старше Кири на два года.

Киря ступает босыми ногами на холодный паркет. Он скрипит, будто на что-то жалуется.

– Тапки! – кричит мама, выходя в коридор.

День впереди – длинный-предлинный, и столько в нём ещё будет, столько предстоит сделать, что даже опускаются руки. Одна эта куча-мала на стуле чего стоит. Киря выходит в коридор, по которому уже разносится запах гречневой каши. Он терпеть не может гречневую кашу, но мама говорит, что полезнее и питательнее нет ничего на свете. Ещё и молоком заливает. А если гречку плохо перебрали, в ней попадаются чёрные скорлупки, которые потом застревают в горле. Но это только утром. К обеду приедет Анечка с тётей Леной и дядей Толей. Мама выставит на стол салаты, разольёт по тарелкам суп... Она, кажется, вчера говорила, что хочет сварить бараний. Ну, бараний так бараний. Главное, чтобы мясо в тарелку не попало. Оно жилистое и костлявое. Ну и, конечно, не обойдётся без торта. Вот чего Киря ждёт ещё с вечера! Торт мама испекла вчера, и Киря, облизываясь, смотрел, как она взбивает крем, разрезает корж на тонкие слои и прома-

зывает их кремом. Так хотелось, чтобы хоть что-нибудь осталось, но мама истратила всё до последней капли. Только ложку облизать дала и эти штуки от миксера, которыми как раз взбивают крем. Торт теперь стоит в холодильнике – большой, белый, с раскрошенной сверху шоколадной плиткой. Мамины торты все любят. Анечка как-то сказала, что ничего вкуснее она в жизни не ела. И сверкнула своими ямочками на щеках.

Во входной двери поворачивается ключ, с лестничной клетки на вытершийся линолеум прихожей врывается яркий солнечный свет и пахнет так, будто снова вернулось лето, Только вместе с запахом затекает совсем уже осенняя прохлада. Киря ёжится, отстраняясь от папы, который входит с тяжёлым пакетом и бидоном молока.

– Овощи? – спрашивает мама.

– Чеснока не было, – отвечает отец. – Только лук.

– Ну, вот! А как я салат готовить буду?

– С луком...

Отец – спокойный-преспокойный. Вокруг глаз у него – мелкие-мелкие морщинки. Мама говорит, это оттого, что он часто смеётся, хотя смеётся отец не так уж часто. Больше других смешит своими шутками.

День тянется в непрерывном ожидании. Киря вытирает пыль, и фотографии, заткнутые за стёкла книжных полок, падают на пол одна за другой. «1989 год. Кирюше 5 лет». Совершенно непонятно, почему становится стыдно и хочется, чтобы мама никогда-никогда не называла Кирюшей, особенно при посторонних.

Солнечная полоса переползает от стола к пианино, и пыль, скопившаяся на его чёрных боках, становится ещё заметнее, и тряпка скользит по крышке, по плетёным узорам, по перекатам огромного лакированного туловища, и кажется, что нет конца этой гладкой запылённой поверхности. Интересно, Анка любит вытирать пыль? Наверное, любит. Мама постоянного говорит: «Посмотри, какая Анечка аккуратная, как у неё дома ровно висят платьица, как стоят книжки, как лежат тетрадки, как чисто в её комнате»... в комнате, где тоже стоит пианино, над которым висят точно такие же книжные полки с раздвигающимися стёклами.

«Киря, до чего же ты у меня ленивый! Посмотри, как Анечка маме помогает! Полы моет, вещи свои стирает, в магазин ходит сама! А тебя попробуй отпусти в магазин – ты всё перепутаешь и ещё пакет с покупками где-нибудь оставишь!»

Когда мама так говорит, Киря чувствует, что у него не осталось ни единого шанса стать послушным ребёнком, за которого могут радоваться родители. За него же им приходится только краснеть. Так говорит мама. Скорее бы уже Анка приехала! Они будут играть в «Волшебника Изумрудного города», а потом пойдут гулять и заберутся на раскидистую яблоню, с которой видно пол-улицы и почти весь соседний двор.

Но вот уже половина второго, два, третий час, а Анки всё нет. Мама с папой раздвигают стол в гостиной, стелют на него длинную жёлтую скатерть, достают тарелки.

– Кирюша, ставь тарелки аккуратнее. А то обязательно разобьёшь!

Ложку с ножом нужно класть справа, вилку – слева. Правда, Анка левша и ложку тоже держит в левой руке, но приборы нужно раскладывать так, как принято. И Кирюша добросовестно обходит весь стол, ощущая в руке приятный холод сверкающего металла.

– Не крутись под ногами! Иди лучше что-нибудь почитай.

Гости приходят только в половине четвёртого. К тому времени Киря успевает съесть несколько бутербродов. Мама не одобряет это, потому что она не любит, когда «кусочничают», но всё-таки намазывает масло на свежую-пресвежую булку. Такая в доме бывает редко. Анка одета в яркое красно-белое платье, которым мама уже успела картинно повосхищаться. Тётю Лену сажают на самый удобный стул. У неё – большой круглый живот, и скоро она родит Анке братика. Кирю это немного огорчает: теперь Анка будет меньше времени проводить с ним. Дядя Толя – высокий худой брюнет, ещё молчаливее папы. Мама всё время говорит, что Анка больше похожа на него. У неё такие же правильные черты лица и та же форма глаз.

Суп получился вкусный: крепкий, горячий, с кусочками мягкой, разварившейся картошки и нежного мяса. Такой едят только при гостях. Анка сидит напротив, а за ней – большое окно, в котором сквозь кружевной тюль виднеется ярко-синее небо. И от всего этого Киря ощущает необъяснимый прилив счастья, счастья на ровном месте, которое уже никогда не повторится в его взрослой жизни.

Проглотив суп, а потом второе, Киря и Анка убегают в комнату, вываливают на пол игрушки из мешков, так старательно убранные каких-то два часа назад. Анка говорит, что она – добрая волшебница Стелла, и у неё будет красивый розовый замок. Правда, розовых кубиков не хватает, и замок получается разноцветным – красным, желтым, синим... Зелёные кубики Киря забирает себе – он строит Изумрудный город, потому что сам он – Гудвин. Книга, которую недавно прочитала ему мама, стоит за стеклом, на протёртой от пыли полке. На обложке нарисован маленький человечек с длинной зелёной бородой и в зелёных очках.

– У меня будет самый лучший в мире Изумрудный город! – говорит Киря, стаскивая с дивана пуфики для строительства высоких стен.

– А у меня – самый красивый замок.

Стены у города должны быть высокими-превысокими, чтобы надёжно отгородиться от опасностей, а их много – они на каждом шагу. Вот сейчас кто-нибудь из взрослых заглянет в комнату и увидит, что они с Анкой развели бардак, и велит вернуть на место пуфики, и тёмно-зелёные тома энциклопедии, и вынутый из-за шкафа кусок фанеры, и запасные доски для паркета... Вот у Анки дома Изумрудный город можно строить за огромной ширмой высотой в человеческий рост. К тому же, у неё в комнате стоят две большие зелёные вазы, из которых можно построить ворота. Положить бы на них вот эту самую доску, предназначенную для паркета...

Но здесь, в тихой поселковой квартире, нет ни ширм, ни ваз. Нет и огромного эркера с широченными подоконниками, с которых, глядя на оживлённый перекрёсток, можно считать проезжающие машины. Наверное Киря никогда не сможет дотянуться до Анки, стать с ней наравне, улыбаться так, чтобы этим восхищались все окружающие, быть таким же умным и начитанным, таким, на которого не смотрят как на приёмного ребёнка... Обтянутые диванной тканью стены Изумрудного города рушатся под тяжестью томов энциклопедии, из которых Киря решил сделать наблюдательные площадки: по ночам на них мог выходить Гудвин и следить за тем, чтобы к городу не приближались враги. Откатившийся пуфик рушит Анечкин замок, и, помимо грохота, раздаются громкие девчоночьи крики. Табун взрослых тут же мчится по коридору.

Возгласы, вопли, скрип паркетных половиц...

Энциклопедию, конечно, приходится поставить на место. Тем более – фанеру и доски. Мама грозит лишить торта и объявляет, что сейчас все пойдут гулять. Гулять – это хорошо. И за окном всё так же ярко-разноцветно, и на лестнице пахнет почти по-летнему, и пыль вьётся в солнечном луче, попадающем на обожженный спичками потолок. Анка бежит вперёд, Киря пытается её догнать. Взрослые чинно идут сзади. Анка бегает быстро – ноги у неё худые и длинные. Вот она, яблоня, оставшаяся от чьего-то сада. Деревенские дома снесли давно, Киря их не застал, но папа говорит, что раньше в посёлке не было пятиэтажек, и у всех были огороды и кругом ходили куры и козы. Ряд яблонь и сейчас тянется вдоль улицы, и на них желтеют мелкие, давно одичавшие яблоки.

– Я первая, я первая! – громко кричит Анка, взобравшись на верхотуру.

– А я выше тебя! – Киря тяжело дышит, и сердце внутри колотится, колотится, словно несущийся на всех порах поезд.

– Ни фига ты не выше!

– Выше! И у меня ветка больше!

– А у меня вид лучше!

– Ни фига у тебя не лучше!

Но у Анки вид действительно лучше. Виден и один дом, и второй, и третий, и огромный кусок улицы, уходящей в дальнюю тёмную точку. Там, далеко, где уже начинаются поля, есть старая водонапорная башня. Папа говорит, что она давно не используется. Вот бы забраться туда, чтобы

взрослые не смотрели тебе в спину и не появлялись в самый ненужный момент! Но это почти невозможно, как и, запустив в небо песчаным комком, достать до пролетающего самолёта. Увидев, что взрослые гурьбой уходят вперёд, Киря забирается выше и ещё выше – и тонкие ветки раскачиваются под ним, и изъеденное червями яблоко болтается перед самым носом, и трепещущая на ветру крона яблони кажется огромной пенистой волной жёлтого-прежёлтого моря. И вот он, бугристый тротуар, тянущийся вдоль улицы, вот они, лавочки, на которых сидят старухи в очках и белых чепчиках, вот они, кирпичные пятиэтажки, их окна подставлены прохладному октябрьскому ветру и ярким солнечным лучам! Ветер забирается к Кире за пазуху. Здесь, наверху, оказывается, холоднее, чем на земле.

– Анка, а теперь у меня вид точно лучше, чем у тебя!

– Дурак! Ты же упадёшь!

– Сама ты дура! Ты мне просто завидуешь!

В ответ Анка фыркает, слезает с яблони и бежит в ту сторону, куда ушли взрослые. Оставшись один, Киря чувствует, что становится холоднее. Солнце заходит за большое облако, и вокруг всё темнеет. Анка рассказывала, что однажды видела солнечное затмение, когда папа, то есть, дядя Толя, брал её с собой в экспедицию. А Кирю никто не брал в экспедицию. Мама иногда берёт его с собой в магазин, чтобы он караулил очередь, пока она что-то покупает в соседнем отделе. Ну, и пусть Анка дуется!

«Девочек обижать – это не по-мужски!»

Мама часто это повторяет, и голос её звучит сердито, как новые порывы ветра, раскачивающего антенны на крышах домов. Надо бы спуститься вниз, только вот до следующей ветки слишком далеко, и ногой ни за что не дотянуться, иначе можно рухнуть вниз, а внизу – острые сучья и крапива, оставшаяся ещё с лета.

Сильный порыв ветра качает яблоню. Киря изо всех сил хватается за ветку. Там, по тротуару, идут люди, обходя лужи, и кажется, что это совершенно другой мир, и им хорошо, потому что их сегодня никто не будет ругать и лишать торта, и они никого не обидели и могут спокойно ходить по земле, а Киря всё держится и держится за ветку, глядя на неказистое дикое яблоко, болтающееся перед носом. И ведь так всё было хорошо с утра! Синее-синее небо, Анка, заходящая с улицы в прихожую, спрятанный в холодильник торт... Раз – и нет ничего. Только солнце опять вылезло из-за тучи.

Горло сжимается, из глаз текут слёзы, капают вниз, куда-то в крапиву. Киря плачет тихо, радуясь тому, что этого никто не видит, и, главное, Анка, которая, наверное, давно догнала взрослых и рассказала, что Киря обозвал её дурой. Теперь мама точно лишит торта. Осознавая это, Киря беззвучно ревёт и хлюпает носом. В носу так мокро, будто случайно втянул воды. И вся долгая восьмилетняя жизнь кажется загубленной навсегда. Как же это легко – разрушить Изумрудный город!

– Ты чего там сидишь? – раздаётся снизу.

Анка. Из-под тёмно-бордовой куртки торчит красно-белое платье, которое так понравилось маме.

– Эй, ты чего там сидишь, слезть не можешь?

Киря не отвечает.

– Тёть Нин! Он там слезть не может!

Такое ощущение, будто ты превратился в какого-то подопытного таракана и никто кругом уже не воспринимает твоё существование всерьёз. А только оттуда, извне, обсуждают, как бы лучше с тобой поступить.

– Откуда слезть не может? Куда он там забрался опять? – Мамин голос звучит как-то почужому, словно это кричит незнакомая женщина. – Киря! Ты куда забрался?! Ах! Ну-ка слезай немедленно!

Киря молчит. Взрослые собираются гурьбой внизу.

– Слезть не можешь?! – строго спрашивает отец.

– Да! – говорит Киря и начинает рыдать в голос. Пофиг, что Анка слышит и смотрит.

Все начинают советовать:

– Ногу подтяни сильнее! Сильнее!

– Не можешь правую, тогда левую! На левую опереться потом будет проще...

– Главную ветку покрепче обхвати!

– Нина, подожди! Ему главное спуститься пониже, а там проще будет.

– Давай я помогу! – говорит Анка и забирается на яблоню.

– Аня, смотри аккуратнее! А то нам придётся вдвоём вас снимать! – говорит тётя Лена. Круглый большой живот выпирает из-под плаща.

Анка лезет всё выше, но останавливается.

– Как ты туда залез? – спрашивает она испуганно. – Тут больше метра.

– Не знаю, – всхлипывает Киря.

Слёзы начинают подсыхать. Но рыдания и испуг уже сделали свое дело: Киря заикается и шмыгает раскрасневшимся носом. Взрослые, видимо, устроили консилиум: снизу долетают слова «лестница», «верёвка», «пожарные». День поворачивается к вечеру, и солнце уже коснулось скошенной крыши соседнего дома. Под яблоней начинают собираться прохожие, как будто наверху сидит не мальчик с рыжими волосами, а какая-нибудь обезьяна, чудом сбежавшая из тёплой клетки.

– Что? Слезть не может?

– Бедный мальчик...

– А зачем забирался?!

Голоса сливаются в один гул – и знакомые, и незнакомые. Единственное, о чем сейчас мечтает Киря, – взлететь – легко, быстро, как это делают сизые голуби, – и приземлиться где-нибудь далеко-далеко, в широких безлюдных полях, отделяющих посёлок от города.

– Молодой человек, осторожнее!

Это мамин голос. На яблоню снова кто-то забирается. Глядя вниз, Киря видит коренастого парня в бейсболке. Кажется, он живёт в каком-то из соседних домов. Это ведь он иногда гуляет с собакой, у которой обвислые уши.

– Тяни ногу на меня! – командует он таким тоном, что не подчиниться нельзя. – Сильнее тяни! Не бойся! Не свалишься.

Киря молча выполняет все указания. Крепкая рука хватает за бедро и резко тянет вниз, вторая перехватывает под животом, и вот земля уже всё ниже и ниже, и от безымянного спасителя пахнет недавно выкуренной сигаретой, а вокруг – тишина и немота.

Журналист

Весна в этом году – ранняя-прерранняя. Снег растаял ещё в середине февраля, и в Фейсбуке все начали вешать фотографии оголённых газонов с припиской «Чувствую себя в Европе». Потом, правда, навалило в середине марта, мороз ударил, и снова стало как зимой, но продолжалось это недолго, и вот теперь опять всё говорит о том, что этот год быстро набрал скорость и останавливаться не собирается.

Мы с Михой едем в автобусе. Это так непривычно, потому что обычно Миха за рулём, а я – рядом, на большом откидывающемся сиденье. Но машину свою он оставил родителям, и теперь у них две, а Миха ничем не обременён, кроме средних размеров спортивной сумки.

– Вот чего ты чемодан нормальный не взял? Сейчас такие чемоданы удобные! На колёсиках все. Не то что раньше...

– Да я не люблю чемоданов... – у Михи такое лицо, будто он едет на стройку, и в сумке у него – кирпичи.

Автобус делает дугу, объезжая огромную площадь с обелиском. Солнце бликует в стёклах и на миг ослепляет. После площади дорога тянется почти чётко на юг, практически совпадая с меридианом, о котором давным-давно, в школе, географичка могла рассказывать днями и ночами. Моя жена ездит здесь постоянно, иногда это бывает ночью, если рейс очень ранний. А вообще,

она так любит самолёты, что её за уши не оттащишь от аэропорта, и свою форму стюардессы она, по-моему, гладит старательнее, чем мои рубашки. Иногда я её провожаю, но чаще встречаю. Она выходит навстречу бледная, но глаза радостные, даже немного смеющиеся. Сегодня утром она улетела, кажется, в Вену.

– Как настроение? – подмигиваю я.

– Похоже на начало интервью.

Я усмехаюсь.

– Я же бывший журналист...

– Оба мы – бывшие журналисты...

Мы едем и молчим. Если бы это был не Миха, можно было бы сказать, что «повисла неловкая пауза», но ведь это Миха, и наше общее молчание сейчас лишь объединяет. Здесь, уже почти за городом, близость аэропорта чувствуется во всём: в рекламных плакатах авиакомпаний, в обилии такси, в силуэтах самолётов, заходящих на посадку над шоссе. Миха смотрит на них заворожённо, как я когда-то давным-давно смотрел на поезда из окон бабушкиной квартиры. Он всегда мечтал быть пилотом и вот теперь едет осуществить свою мечту – уезжает заграницу в лётную школу, и пока непонятно, когда вернётся. «Командир экипажа пилот первого класса Михаил Асмер...» Все кругом восхищаются им.

«Да чего там восхищаться! – говорит он. – Сразу надо было думать головой, а не поступать куда попало...»

Да, в семнадцать-то лет думать головой. Когда я впервые увидел Миху в университетском коридоре, мне как раз было семнадцать. И думать хотелось только о том, как бы побыстрее стать счастливым. А Миха, кажется, уже и был таким: голос громкий, задорный, как у спортивного комментатора, бело-красные кроссовки, белозубая улыбка до ушей. Это он-то детство провёл в Воркуте?

– Я вот тут накачал себе всякой всячины, – словно оправдываясь, говорит Миха, глядя на ещё безлистные деревья, и втыкает мне в ухо наушник.

Оттуда слышится покрывшаяся плесенью, всеми забытая попса, которую давно не крутят по радио и которая, кажется, вымерла как класс, но в Михином телефоне она оживает так внезапно, словно загорающаяся гирлянда, и я вздрагиваю оттого, что мне вдруг становится холодно, будто меня, спящего и плотно укутанного, выдернули из-под одеяла.

– Где ты это взял? – спрашиваю я с такой же оправдательной интонацией.

– Накачал, говорю же! Интернет большой, но тут не только галимая попса, тут и рок есть, – и включает другое. – А вообще, песни я больше всего люблю не за музыку и слова, а за воспоминания, которые с ними связаны.

Автобус выгружает всех у нового терминала. С виду он напоминает стадион, зачем-то накрытый мятой бумагой. В нём пока ещё пусто и прохладно, солнечный свет проникает откуда-то далеко сверху. Тихо, пахнет стройматериалами, как на новых станциях метро.

– Жалко, Ирка сегодня рано улетела, – говорю. – Так бы проводили тебя вместе.

Я понимаю, что опять оказался в роли провожающего, а это одна из самых грустных ролей. Особенно если кругом – такая вот яркая ранняя весна.

– Даа... – выдыхает Миха. – Она, небось, долетела уже.

– Долетела. Смс мне кидала.

– Ну, и я кину, как долечу.

– Что же будет с твоим хутором? Ты же хотел фермером стать.

– Хотел, и жениться хотел, но вот не женился пока.

Он улыбается всё так же широко и белозубо.

Долгих прощаний я не люблю, это у меня от мамы. Поэтому уже через несколько минут выхожу обратно к автобусной остановке, мне в лицо дует встрепенувшийся ветер. Я сажусь в тот же автобус, уже полупустой, пытаясь вычислить, где будет теневая сторона, а где – солнечная. Ира прилетит ближе к вечеру, и к её приходу нужно сварить суп. Она любит свежие щи, правда, терпеть не может томатную пасту, ну и ладно... Времени у меня теперь много, я

же безработный. И я не помню, чтобы когда-нибудь был настолько подавлен обретённой свободой. Вот ещё каких-нибудь недели две – и во дворах начнут жечь костры, и этот запах когда-то означал приближение свободы, той свободы, которую ожидал, зажмурившись. И на главной поселковой улице до поздней ночи тарахтели мотоциклы. Иногда я представляю себе, как по бугристому тротуару друг за другом идут все те, кто меня окружал с самого начала: бабушка в зелёном платье с белыми цветочками, мама в форме проводницы и с мальчиковым «ёжиком» на голове, отец в летних сандалиях, Нина, которую я тоже часто называю «мама», держащиеся за руку две младших сестры, появившиеся почти друг за другом, – с хвостиками, перехваченными разноцветными резинками, Анка, похожая на волшебницу Стеллу, фельдшер Наталья Вячеславовна в спортивном костюме, которую я видел только один раз, смеющийся Миха, Ира, смотрящая куда-то вперёд своими серыми грустными глазами... А сзади бежит рыжий веснушчатый мальчик, которым я когда-то был в детстве. И меня называли «ранний ребёнок», «рыжий-бесстыжий», и «капризуля», и «хулиган», а потом, когда отец забрал меня из бабушкиного города в свой посёлок – с яблонями, песком и клочками асфальта – я вдруг перестал быть рыжим, да и веснушки постепенно сошли. Раньше мне не нравилось моё имя – Дмитрий – и я хотел, чтобы меня звали Кирилл. Мне казалось, это звучит мужественно, а потом смирился и привык. И как же могли уместиться во мне эти две жизни – с разными городами, с разными матерями, с разным цветом волос?

А однажды я увидел Изумрудный город. Там прошло детство моей жены, и оказалось, что можно взять билет и всё увидеть сверху. Самолёт, снижающийся над Баку. Зеленоватое полотно моря, низкие тучи над самой головой. Острый, загнутый книзу «клюв» Апшеронского полуострова. Крутой разворот на 180 градусов – и город появляется из-под приподнятого крыла и тяжёлого двигателя. Вот она – Бакинская бухта, вон портовые краны, вон Девичья башня, выделяющаяся из россыпи Старого города. И вот уже суша – с едва заметными дачными домиками, заводскими трубами и жирной чертой скоростного шоссе. Жёлтый горизонт. Сухая, как будто выжженная земля...

Автобус трогается, и я замечаю, что вокруг снова много народу, и кондукторша уже начала свой обход. Света – единственная из одноклассников, кто до сих пор поздравляет меня с днём рождения, и это уже кажется почти чудом. Но мы не видимся, хоть и живём в одном городе. Самолёты садятся и взлетают, взлетают и садятся. Автобус выруливает на шоссе, моя сторона, конечно же, оказывается солнечной. Я еду и мысленно напеваю: «До скорой встречи, до скорой встречи...»

Февраль – март 2014,
Люберцы

Андрей ТОРОПОВ

***

От Жан-Поля смесь пива и вина
Горько пил, чтоб поскорей замолчать.
Заменил затем «музыка одна»
На «только стихами могу отвечать».

В школе «Волшебную скрипку» прочел,
И решил, что вот он – твой черствый крест.
Двадцать лет прошло с тех пор, ну и чё?
Да поможет шквальный тебе норд-вест.

Гумилева все-таки пережил,
И Евмолпа, значит, переживешь.
И спасавшим тебя в золотистой лжи
Оставляешь сладкую эту рожь.

***

Что ты хочешь от ме, моя милая?..
Я ведь тоже какой-нибудь «ме»,
Как умру, над моею могилою,
Будет песня звучать «какуме».

Какуме – это пошлая песенка,
Недостойная высших ушей,
Но мир тесен, и этою песенкой
Станет даже бессмертный кощей.

Какуме, какуме, какумекаем,
Какумекаем, а не поем,
И над нашей уральскою меккою
Звезды лыбятся в небе ночном.

Андрей Торопов родился в 1978 году в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Окончил исторический факультет, аспирантуру Уральского госуниверситета, кандидат исторических наук, доцент, автор научных трудов по истории уральской промышленности. Стихи публиковались в журналах «Урал», «Дети Ра», «Зинзивер», «Новая реальность», «Воздух», «Белый ворон», «Байкал», в «Литературной газете», газете «Поэтоград» и др. Автор поэтических книг «Спасительный недуг» (Екатеринбург, 2005), «На нашей стороне» (Каменск-Уральский, 2008), «Просто» (Кыштым, 2012). Живет в Екатеринбурге. Работает главным специалистом в Управлении архивами Свердловской области.

***

Поникла лютиком моя башка,
Пришла желанная свободушка,
Столь неожиданная в тупике,
Мы загуляем с нею налегке.

Идешь бессмысленно простым бомжом,
Не строишь дерево, не садишь дом,
Не ждешь от будущего медных труб,
Не призрак оперы, «не только друг».
А два Протасова: один – смутьян,
Другой – любимый мой из «киевлян».

***

Мы снова празднуем ту победу,
И это наш евразийский выбор,
В восточный Новгород не поеду,
Поеду лучше в трофейный Выборг.

А потому что еще там не был,
А я хочу быть простым туристом,
Чтоб любоваться на мирном небе
Обычным небом – пустым и чистым.

Чтоб получались от косностишья
Двойные смыслы, простые числа,
И хитрый хвостик, махнувший мышью,
Совсем без смысла, совсем без смысла.

***

Тереза идет по лестнице,
Тереза падает вниз,
Чарльстон роковой прелестницы
Запомни, наследный принц.

Неправильно ударение
Поставлено, ну и что,
Запомни свое падение,
Похожее на чарльстон.

Чапаев с чудесным Чаплиным
За Чердынь тройной чарльстон
Станцуют с любезным Кальманом
На озере Балатон.

Чарльз, выйди из музкомедии,
Речушка твоя, Дунай,
Чуть теплится в википедии,
Иди и запоминай.

***

Мы смотрели с тобой на фигурное катание,
И нам нравились красивые одеяния.
И мы радовались золоту, словно дети,
Позабыв на миг о больном поэте.
Ахнув после выброса четверного
Пили чай с тобою мы до полвторого.
Дактилическая рифма не получилась,
Золотая медаль на других свалилась.
Все тулупы-сальховы-лутцы-флипы,
Все падения-крики-вздохи-всхлипы
Не заменят нам нашей главной цели...
Главное, что с тобой смотрели.

Сергей СОЛОВЬЕВ

КРАЯ РАЗРЫВОВ

***

Женщины, живущие на деревьях – певчие и совиные.
Женщины «яма-печь-колосья», на манер овинов.
Сложносочинённые женщины-норы, на 12 выходов.
Женщины длиннохвостые, мускусные хохули, выхухоли.
Гули-гули и трали-вали, с прищуренными охальниками.
Женщины-просветы, метафизические – по Хайдеггеру.
Головоногие женщины, струящиеся иллюминаты.
Женщины-катарсисы – как Орфей в менадах.
Целые женщины, половинки, осьмушки, мушки цеце.
Женщины-нектарницы с пяточками в крови и пыльце.
Фонетические женщины, синтаксические, и ни разу.
Женщины, умирающие со смеху от оргазма.
Немолодые девственницы с чувственным оскалом.
И те – с нёбом звёздным и в груди ласкалой.
Женщины-пустыни с плавающим зеркальцем.
Лётные панночки, с которыми видно все концы.
Женщины-вольницы, без имени до поры,
а потом под временем – как доярки.
Ходят по лесу маляры
с лестницами Ламарка.

***

Мужчины живут не где, а куда, но откуда и как – не сказать.
Душа на гусеничном ходу: вверху – вперед, а внизу – назад.
Ход бывает червячным, брачным, холостым и бастардо-
образным, то есть ангельским, как бракованная петарда.
Классификацию мужчин определяет, конечно, цель. Но путь
со временем ее вытесняет: вскормлен он им, одет, обут,
опоясан, почти бесцелен, возвратившийся на Итаку.
В целом, жизнь – от прицела стрельца к обороне рака.
Итак, о мужчинах, о некоторых их подвидах и позах.

Сергей Соловьев родился в 1959 году в Киеве, окончил филологический факультет Черновицкого университета, учился живописи в киевской Академии художеств. Автор 12 книг, последняя из них «Адамов мост» (М: Русский Гулливер, 2013). Публикации в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Урал» и др. В «Волге» публикуется с 2010 года.

С-утра-мужчина, раскрасневшийся, с мороза.
Полуденный, как на кол севший, дар напрасный.
Муж-демон, весь – как вечер ясный.
Ночной: стеклянный, деревянный, оловянный...
Нет, не получается. Начнем сызнова.
Мужчины-мальчики, качки ума, летчики разума,
не способные продолжить женщину как фразу
(вариант: не долетающие до середины ея, но по-разному).
Мужчины-девочки в ситцевых чувствах, с легким таким накатом...
Что-то сносит меня на гендерное. Ну да ладно.
Всадники-жизнелюбы, дующие в женщину, как в рожок.
Постельные архимеды, для которых главное – рычажок.
Левши, подковавшие себя, как блоху,
а потом размышляющие: а на ху...?
Нет, сегодня, похоже, не мой день.

***

Иди, говорит, Ионыч, в Ниневию,
посчитай мне праведных туркиных.
Тебе надо, Ты и иди, отвечает,
видишь, делом занят, людей лечу.
Нет уж, пойди, любовь посчитай,
так сказать, совместимость
того и этого. Иди, Старец,
с запиской в руке на кладбище,
жди ее, шуточку, на свидание.
Тебе надо, Ты и иди, отвечает,
Ты что ли будешь вместо меня
пиявки ставить, от глубин души
отводить воды? Скучно Тебе,
что-нибудь сотвори – развеешься.
Иди, говорит, ты ж любил ее,
делал ей предложение. Иди,
а не то сожгу всё и всех,
и деревце посажу за оградой,
но чахлое, чтоб не давало тени,
сына рожу и напишу книгу.
Да ходил я уже туда, отвечает,
ничего хорошего. Иди-иди,
вон барышня твоя вернулась,
видеть тебя хотят, замуж бы,
да не свежа, раздобрела, мух
провожает взглядом, но и ты,
по совести, непригляден стал,
все брюзжишь, хорохоришься,
капиталец, опять же, видишь,
уже и жечь никого не нужно.

***

И дни творения становятся короче
к седьмому дню. В прострации
лежит природа. Ничтожен твой шабат,
и хорошо. И жизнь идет, как числа Фибоначчи.
Ни женщины, чтоб чувством странствовать,
ни речи, чтоб дышать.

Скажи еще: ни воздуха, чтоб видеть, ни земли
чтоб лечь. Все в стаи сбились – чтобы выжить?
Нет ведь. За будущим, за сукой в течке?
И это нет. Молчи. Я Гойя. Гей я. Я Шарли.
Я гусь Благодарения. Я Русь. Я жид. Я вечный
жидобандеровец. Я полевая пижма.

И хорошо. И конский топ, и песий
брех, и смерть как хата с краю,
куда святых выносят. Осень, Судный
день, унылая пора. Скажи-ка,
дядя, ведь недаром мы вышли из шинели рая?
Я человек, я существо, я небожитель,
как пишет Праджняпарамитасутра.

И хорошо. Что пишут? Кто блажен?
Кто посетил? Кто недопил? Кто праздник?
Вот руки, ноги. На земле их нет. Но нет и выше.
Вот голова лежит, а вон душа, как жен-
щина, летит, на ней шинель, и речь напрасно
ждет ее. Я рано вышел.

***

Дюгони – старосветские помещики,
он – толстогуб, она – пульхерия;
оплывшие, нежнейшие, пропащие,
у них между мужчиною и женщиной –
весло, на Вы, а прочее похерено,
угодья их – подводная полтавщина.

Сады цветут, весло хвоста русалочье
и маленькие руки – две культяпочки,
такими не обнять в ночи, не приголубить,
ну разве под руку проплыть. Достаточно
ли Вам любви и сада уваженья, деточка
пульхерия? Мы, толстогубы, однолюбы,

веганы в чепчиках. Какой-то промысел
на нас открыт – но божий ли? Мы тины

и водорослей ламы. В чувствах полежали,
потом всю жизнь в молчании хоронимся.
А наш «другой» зовется ламантином,
но он в другом пасется полушарии.

***

Божий оборотень Счастье
(тут лежит вторая строчка)
нас берет за ухомочки,
входит и располагается:
здрасьте, говорит, бессмертная душа,
и вам, левая почка, доброго здравия,
вот лицо устаканится
и начнем кропить прихожан –
дни-дорожки, всю их страждущую аравию,
будущее с девичьей фамилией Мимо-Брело;
прошлое, весь его цветущий бобок; ящик
с местностью, от которой и грустно и легко:
здесь лежит вечный жид настоящего.
Радуется оборотень, наливается
человеком и отваливается,
и летит с небес на поля и пашни
счастье мое, ангел падший.

***

Любовь у нас – ребенок из детдома... Ты
ладонь на губы мне кладешь: не надо...
Я помню тех кротов, лежали у тропы,
за ручки взявшись, мертвые, из сада –
на божий свет... А помнишь: кварк, нобелиат
(бим или бом, за ручки, тот же сад...):
ведь должен отношенье к мыслям разум
иметь? А Кришнамурти: разве?
Ребенок мимо нас глядел, но сквозь
(как будто мы душа живая),
собой сшивая нас и ось
земную, ось... намах шивайя.
И ребра твои светом отзывались,
прильнув щекой к их худенькой гряде
летучей, звал тебя, и, просыпаясь,
блуждал в тебе, как Блум в июньский день.
И нет конца ему, и занавеской
душа полощется в пустом окне – ловец
проема. Ее намаз. И мир как арабеска
с запретом на изображенье лиц.

***

Если я замолкаю, смолкаешь и ты,
и возникает меж нами что-то вроде воздушной ямы,
в которую валится всё – люди, слова... Цветы,
когда жизнь подступает к горлу, распускаются.
Черт его знает, к чему это здесь. Или будущий лама
выбирает предметы своей прежней жизни,
так я тебя узнавал, трогал, водил по губам пальцем.
Близость обустраивала углы со сдержанным фетишизмом.
Они и остались, а между ними – яма воздушная,
в которую валимся медленно, молча, криво,
чтоб они подступали к горлу, вынимая душу,
углы и яма, и дышали края разрывов.

Инна ХАЛЯПИНА

КАРНИЗ ЕВРОПЫ

Повесть

Письма она писала неровным почерком. Размашистые буквы разной высоты и наклона коекак строились в заваленные вниз слова, что вполне соответствовало её характеру и содержанию написанного. Почти всегда это были недорассказанные истории, рваные недодуманные мысли, отвлеченные комментарии.

Я отвечала на каждое её письмо, я дорассказывала её истории и додумывала мысли, и даже дополняла комментарии. Сложнее становилось, когда Зося начинала философствовать. Если бы к этой философии приделать хоть какую-то логику, то можно было бы увязать её с историями, даже недорассказанными. Но Зосю уводило слишком далеко, она брала глубокомысленный разгон, потом терялась и обрывала письмо на полуслове. И было ощущение внезапного падения в пропасть. Точно так обрывались мои остросюжетные сны и изнуряющие бессонницы. Зося тоже жаловалась на бессонницу. В общем, здесь имеет место клинический случай.

Мы часто разлучались, но обстоятельства снова возвращали нас друг другу. Порой мы сильно и навсегда ссорились, но я никогда не теряла надежды, что однажды зазвонит телефон и я услышу её голос или получу от неё письмо. Так и случалось. И независимо от взаимных обид и длительности разлук мы не теряли друг друга из виду. И сама судьба не давала нам расстаться, и мы с удовольствием принимали эту особенность нашей жизни, и всякий раз встречались, как будто последний раз виделись час тому назад.

Для того чтобы понять, почему так происходило, надо рассказывать всё с начала, не нарушая очередности событий. И неплохо бы дать им порядковые номера.

1.

«Пока не увидишь дно тарелки, из-за стола не выйдешь!»

Я знаю, что на дне тарелки я увижу серенькую птичку с желтым клювиком. Но я не хочу её видеть, она мне надоела. Она итог моих мучений над овощным супом, манной кашей и вермишелью. Я хочу во двор, несмотря на трескучий мороз и перспективу заболеть ангиной. Но пока я не увижу птичку, эта перспектива мне не светит. Зосю никто не заставляет есть. На неё вообще не обращают внимания. Какая она счастливая! Она уже давно гуляет, она всегда во дворе. Мама говорит – слоняется, как беспризорная. Но сама она Зосю любит и жалеет, и видит в ней личность, которая себя ещё покажет.

Я ерзаю на стуле и смотрю то на часы, то в окно. Суп это не котлета, её за батарею не запихнешь. Кстати, когда мама обнаружит склад этих котлет, уже засохших, разразится огромный скандал, ведь они числятся за мной как съеденные.

Инна Халяпина родилась в Киеве. Окончила Ленинградский институт киноинженеров. Работала на Киевской киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко. После развала Советского Союза уехала в Германию, где долгое время была редактором и ведущей русского радио «Акцент» – одного из первых русскоговорящих радио в Германии. Публиковалась в журналах «Крещатик», «Новый берег». В «Волге» опубликована повесть «Райская яблоня» (2014, №7–8).

«Не цеди, ешь всё подряд!» – у мамы скверное настроение, я слышала, как она говорила, что у неё сегодня были трудные пациенты. Я не знаю, кто такие пациенты, но это слово мне не нравится.

Наконец я добралась до птички! Пропади она пропадом.

На улице десять градусов мороза, и меня так закутали, что легче не двигаться. Моя шуба, купленная на вырост, достает до земли и подпоясана широким ремешком. Я похожа на сторожа. У Зоси нет шубы, её пальто перешито из дедушкиной шинели, а валенки такие огромные, что в них ещё кто-нибудь может поместиться. Наверное, тоже дедушкины. Зося держит во рту грязную сосульку и дает мне попробовать. Такая вкуснятина!

Зося живет напротив нашего дома в заводском общежитии. Вот где жизнь! Никогда не скучно. Мама меня туда очень редко пускает, боится, что я попаду в плохую компанию. Напрасно волнуется, меня в неё и не примут. Предводитель плохой компании Валерка – Зосин брат. Он большой, ему тринадцать лет, и он уже курит. Денег у него нет, и я видела, как осенью он курил каштановый лист. Из сочувствия и чтобы втереться к Валерке в доверие, я собрала для него окурки и сложила их в консервную банку. Я думала, он обрадуется, а он воспринял это как удар по самолюбию (скажите пожалуйста) и изо всех сил меня толкнул, и я упала в снег. А Зося подпрыгнула и плюнула Валерке в глаз. Вот что значит настоящая подруга.

2.

Здесь необходимо пояснение. Валерка часто вел себя неадекватно. Сказывались конфликтные гены, перемешанные в равной пропорции. В данном случае взыграла бандитская кровь, полученная от дедушки, революционного матроса, а обида за окурки проявилась по вине бабушки, польской аристократки и гордячки.

Историю рассказывали так.

Ваня Оглоблин (как вам пролетарская фамилия?) встретил Ядвигу Шиманскую в Петрограде на литературном вечере. Вопрос о том, что там делала Ядвига, ни у кого не возникал. А вот что там делал Ванька с его начальным образованием, не ясно по сей день. Вполне может быть, что он отлавливал контру в местах большого скопления чуждых революции элементов. Но когда Ваня в толпе студентов, футуристов и прочих объедков буржуазии увидел тоненькую девушку с воздушными локонами и лазурными глазами, он забыл о своем пролетарском происхождении и готов был даже наплевать на борьбу с контрреволюцией и на революцию вообще. И попер, как бронепоезд. Благо у Ядвиги при её прозрачности не было сил сопротивляться. Голод стоял ужасающий – большевики связали страну в мертвый узел. И Ваня, произведя несложные подсчеты, сообразил, что с его усиленным пайком шансы не так уж безнадежны.

Свадьбу сыграли быстро и по-революционному, несмотря на то что Ядвига настаивала на венчании. Но тут под удар ставилась карьера жениха, а вместе с ней и продуктовые привилегии. Ядвига горестно задумалась и рассудила, что будущий муж с его прытью может дослужиться до адмирала, и потому решила ему не мешать и обойтись без бога. Но Иван не успел получить столь высокий чин, он погиб в Кронштадте в самом начале войны.

Не трудно догадаться, что речь идет не только о Валеркиных, но и о Зосиных дедушке и бабушке.

Пошел медленный снег, и Зося придумала игру – открыть пошире рот и ловить им снежные хлопья. Зося старше меня на целый год. В таком возрасте это немалая фора, которой она с удовольствием пользуется, чтобы передать мне свой богатый жизненный опыт и могучий словарный запас. Она мне объяснила, почему Неля из пятнадцатой квартиры стала такой толстой и похожа теперь на корову, заляпанную коричневыми пятнами. Это потому, что у неё в животе сидит ребеночек, который скоро родится. Неля на сносях. Какой ужас! Никогда не буду на сносях, раз это такое уродство. Забегу вперед, на сносях я ходила дважды и была собой очень довольна, меня это красило, и все говорили – чистая мадонна. Но к этому вопросу я ещё вернусь.

Впервые от Зоси я узнала, что такое таранка, и даже её попробовала. Но маме сказать не решилась, я предположила, что к числу здоровых продуктов она не относится. У Зоси дома едят всё подряд и никто ни за кем не следит, и при её родителях можно делать всё то же самое, что и без них, тем более что они почти всегда отсутствуют. Они работают по сменам и совсем запустили детей, а Валерка кончит жизнь под забором или в тюрьме. Такой приговор ему влепили соседи. Они у нас добрые.

Зося мне сообщила печальную новость – она скоро переезжает, потому что им дают квартиру в новостройках. Не хочу жить без Зоси! Во дворе тогда, кроме Церберки, не останется ни одной живой души. Церберка это дворняга, приквартированная к общежитию, где у неё есть укромный угол с ковриком и миской. И за этот коммунальный рай она такая благодарная, что охраняет вверенное ей помещение с преувеличенной показухой. Её и провоцировать не надо, брешет просто так. Выслуживается. Церберка этим летом ощенилась. Но я не заметила, чтобы она ходила на сносях, она не была ни толстой, ни похожей на корову.

Мы с Зосей уселись в сугроб, и мне под рейтузы зашел снег. Но я не встану, пока Зося сидит рядом. К тому же она начала рассказывать о своей бабушке Ядвиге, которая прикована к инвалидной коляске и каждый день просит себе смерти. За бабушкой смотрит её сестра, малосимпатичная особа и старая дева. Её в семье не любят и называют хрычовкой. Она до революции работала классной дамой. Как это понимать? Этот вопрос не дает Зосе покоя. Что это за работа? У них в общежитии живет одна классная девчонка, в которую влюблен Валерка. Но ведь это же не работа. А еще бабушка со своей сестрой любят вспоминать о красивой жизни до революции. Они говорят, что даже зимой выходили на улицу в замшевых туфлях на каблуках – так было чисто! И всё потому, что дворники ловили снежинки прямо на лету. Интересно, как они это делали? Так же, как и мы? Ртом?

Наши размышления прервались, так как к первому подъезду подтянулись люди. И кто-то вынес две табуретки. Зося сказала, что сейчас начнутся похороны, а на эти табуретки поставят гроб с покойником. Вот повезло! Когда ещё такое увидишь? Но в этот момент мама позвала меня домой. Всегда из-за неё я пропускаю самое интересное. И я заплакала, а Зося сунула мне в карман помятую конфету и поцеловала сопливым носом, и внутри стало тепло и не так обидно.

3.

В детском саду скарлатина и вши, поэтому мама меня временно оттуда забрала и отвезла к бабушке. А Зосю деть некуда, и её для профилактики налысо обрили, а для укрепления организма стали давать рыбий жир. У бабушки я круглосуточно ревела, а точнее сказать, выла, аж опухла. Тосковала по дому и по Зосе. И бабушка сказала маме: «Забирай её, нечего издеваться над ребенком!» Домой мы ехали на такси, и мама пообещала, что вечером я смогу пригласить Зосю к нам на чай. Жизнь опять прекрасна!

Зося долго толклась в прихожей и зашла в комнату боком, умытая и принаряженная, немного стесняясь своей бритой головы. На вытянутых руках она несла банку клубничного варенья – это гостинец. У Зоси по причине отсутствия волос обнаружились уши, похожие на розовые лепестки, и тощая шейка, такая слабая, что, казалось, голова на ней держится ненадежно, как у младенца. Мама спросила Зосю, как дела. Это для приличия, и в таких случаях положено отвечать – спасибо, хорошо. Но Зося этого не понимает, раз её спросили, значит надо докладывать о делах.

В детском саду воспитательница и нянечка каждый день ругаются и бьют друг другу морды. Зося пересказала в точности, какими выражениями они обмениваются, причем неприличные слова она повторила несколько раз. Мама хотела сделать Зосе замечание, но передумала и стала хохотать вместе с нами. Дальше речь пошла о Валерке, который окончательно отбился от рук. Он собирается бросить школу и идти служить на флот. По стопам дедушки. Но Зося подозревает, что это только предлог, а на самом деле он мечтает увидеть мир и переиметь дело со всеми портовыми девками. Мама предложила сменить тему, и Зося поняла, что сморозила лишнего и надо наконец

поговорить о серьезном, и продолжала. Её родители, наверное, скоро разведутся, потому что у папы появилась зазноба. Прямо на работе. И теперь папу исключили из победителей социалистического соревнования и шьют аморалку. А мама перегородилась от папы шкафом, и теперь в комнате стало намного уютней. Давно бы так.

Этой осенью Зосе идти в школу, а она совершенно не подготовлена. Мама говорит – отстающий ребенок. Готовить её к школе взялся Валерка, но не бесплатно, за каждый урок мама платит ему двадцать копеек. И это родной брат! Но дело пошло быстро, потому что Зося способная. Она уже умеет читать по слогам и писать простые слова. Она может показать, если хотите. Мама рискнула и принесла бумагу и карандаш. И Зося вывела огромными печатными буквами три слова: «сука», «харя», «жопа». Мама схватилась за голову, и мы пошли пить чай.

Зося уехала из нашего двора в конце зимы. И я сразу заболела скарлатиной в тяжелой форме. Детский врач Ася Борисовна всплеснула руками – хоть тащи сюда студентов и показывай, какой должна быть скарлатина! Болела я долго, а когда первый раз вышла из дому, снег уже растаял. Церберка деловито шуровала по двору, грызла ветки, рыла подкоп под забором, загнала на дерево рыжего кота. Верховодила и хозяйничала. А потом напилась из лужи и шумно зачесалась. У неё, наверное, блохи.

На лавочке развалился пьяница Гаврилыч. Он, как всегда, орал в никуда, обнародовал свою гражданскую позицию: «Урки краснозадые! Засрали страну от Москвы до самых до окраин! Убивцы! Ну, ничего, дождетесь, придет ваш конец!» Церберка пьяных терпеть не может и облаивает их особенно рьяно, но для Гаврилыча делает исключение. Возможно, она разделяет его взгляды.

Показалась Неля. Она торжественно катила впереди себя синюю коляску. Прохаживалась взад и вперед, производила впечатление. Но живот у неё все равно остался большим. Может, там забыли ещё одного ребенка?

Две соседки заняли наблюдательную позицию и перемывали Неле кости – дескать, всё лето просидела на скамейке в Парке культуры и отдыха и стреляла своими бесстыжими глазами. Дострелялась. Я рассказала об этом маме. И мама отреагировала вопросом: «Когда они уже заткнутся?»

4.

Какое сейчас время года? Календарное? И совпадает ли оно с погодой? И какая разница, если дни плетутся и тянутся, как манная каша. Если дождит, туманит, ветрит и листопадит, а потом снежит и лихорадит. И всё это без Зоси, и потому не интересно.

Какой там год в календаре? Школьный? Вот я уже и ученица. Форма немного колется, но она мне идет (наблюдение учительницы). Новые туфли жмут, но они разносятся (мама сказала). Портфель светло-коричневый оттягивает руку, но своя ноша не тяжела (бабушкино выражение). Первый класс, второй класс, третий... А ведь время не так и лениво.

Классная руководительница объявила: «Завтра первого урока не будет, встречаем вьетнамских детей! Поезд приходит в шесть утра, на вокзале быть на полчаса раньше. Всем понятно? Форма одежды парадная – белый верх, темный низ. Тебе, Одинцова, говорю персонально, и чтобы без выкрутасов». Не забыла-таки, как я в последний раз выбилась из общей гармонии своим нестандартным видом. А что было делать, если белый верх я спалила утюгом, а на темный низ меня вырвало овсянкой. И бабушка дала маме дельный совет: «Хватить пичкать ребенка всякими размазнями, дай ей уже соленый огурец!» Бабушка мудрая.

Я попросила маму разбудить меня в пять утра – вьетнамские дети как-никак.

«Что, что? В пять утра ты выйдешь одна на улицу?! Да в это время всех алкашей из вытрезвителей выпускают. И даже страшно себе вообразить, что может случиться!» По вообразить, что может случиться, мы чемпионы. В результате на вокзал прибыли все, даже заспанные первоклашки. Меня одной не было. По-видимому, мысль о вытрезвителе пришла в голову только моей маме.

В классе против меня все ополчились, как против врага. Вместо того чтобы крепить интернациональную дружбу, я отсыпалась в теплой постели, а другие за меня отдувались. Староста Зинка Шичкова объявила, что мое поведение будет рассматриваться на совете дружины и чтобы я готовилась к худшему. Общее негодование подогревала завуч Ираида Илларионовна. Она подгребла ко мне на перемене с прижатой к пузу стопкой тетрадей. Лиловые губки скособочила, брови драматично вздернула и надо мной нависла. Тревожно блеснул кулон, похожий на милицейскую мигалку. Он отвлекал мое внимание. «Мне очень жаль, Одинцова, но придется сообщить твоим родителям на производство!»

Я вжалась в стенку и с трудом подавила смех. Производством моей мамы является венерологический диспансер, в котором она работает заместителем главного врача. Интересно, как в таком веселом заведении отреагируют на письмо из школы, если его вообще не потеряют. О производстве моего второго родителя я не имею ни малейшего понятия. Мама определила ему место на Колыме. Таким безобидным образом она реализует то, что не сказала и не сделала десять лет тому назад.

5.

Домой я шла без всякого настроения и перебирала в уме, что я могла бы ответить Ираиде Илларионовне и Зинке Шичковой. Но не ответила. Я, как мама, реагирую запоздало.

Была бы сейчас рядом моя защитница Зося, я бы тогда на них посмотрела. Я бы тогда плевать на них хотела. Я и так на них плюю.

Как давно мы не виделись с Зосей... Если я в шестом классе, значит она уже в седьмом. Последний раз (года три уже прошло) наши мамы договорились, и Валерка привез Зосю к нам в гости, а сам пошел куда-то шляться.

Мама дала нам на растерзание огромный чемодан с дореволюционными вещами. Мы его когда открыли, то просто обомлели от счастья – как раз то, что нужно для игры во взрослых. Наряжались по очереди, и всё пошло в ход: лисья горжетка с мордочкой и лапками, кружевные панталоны, муфта на витом шнуре, нижние юбки, шелковый халат в журавлях, шляпка с рваной вуалью и бархатное платье с букетиком на плече. Мама сказала, что это флердоранж. Какое волшебное название, и где растут такие цветы? В какой стране? В каком саду? Нет ответа. И мама почему-то загрустила.

А потом мы пошли все вместе в зоопарк, и ели мороженое, и долго-долго разговаривали. Зося так интересно рассказывает истории из жизни. Я бы их каждый день слушала, но у Зоси нет телефона. Поэтому в зоопарке мы пообещали, что будем писать друг другу письма, и пишем, и я вижу, как у Зоси меняется почерк и взрослеют мысли. И ещё подумалось о том, что в школе меня все называют по фамилии, как будто у меня нет имени. А имя мое мне очень нравится – Аделина. Аделина Одинцова, правда, звучит? Мама называет меня Адюша, и Зося так называла. Повезло, что в моем имени нет буквы «р», ведь я сильно картавлю, и логопед постановил категорично: «Случай безнадежный, сколько не прижимай язык к нёбу, толку не будет никакого». Зося не верит в безнадежные случаи, а логопеда назвала идиотом и сказала мне: «Вот посмотришь!» Что посмотрю? Когда посмотрю?

Снова забегаю вперед. Однажды просыпаюсь (в воскресенье дело было) и говорю маме: «Доброе утро». А она вдруг уронила кастрюлю с термобигуди и приказала: «Повтори!» Я повторила. Мама набросилась на телефон и начала всем подряд звонить: «Адюша больше не картавит!» Верь после этого логопедам.

Дома я решила обед не разогревать. Вытащила из супа холодное мясо, на куски его порезала и подумала – может, Церберке отнести? А то у неё опять щенки. И в это время я услышала стук по батарее. Наверное, это снизу. Стук повторился, но уже совсем тихо, почти неслышно. Я спустилась на первый этаж и припала ухом к двери. Да, точно – это стучит старик Авдеев, он больной и одинокий. Когда-то он долго лежал в больнице, и мы с мамой его навещали.

Стук повторился. Что же делать? Хоть бы одна зараза вышла помочь, ведь все же слышат. И тогда я приняла решение – в милицию звонить не буду, ещё чего! Зося когда-то предупреждала, что с лягавыми лучше не связываться. Я побежала на четвертый этаж к Эдику-Отмычке. Он уголовник и сидел за кражу со взломом. Соседи говорят, что он представляет опасность для окружающих. Зато взломать дверь у Авдеева для него раз плюнуть. Эдик, к счастью, оказался дома и сколотил морду ящиком, мол, недоволен, что его побеспокоили. Чего это вдруг? Но в душе обрадовался своей востребованности и возможности провести мастер-класс в благородных целях. Дверь открыл за секунду. Любо-дорого смотреть.

Авдеев лежал на полу возле батареи, сил стучать у него больше не было. Скорая помощь приехала быстро, и злющая врачиха заявила, что ещё десять минут – и Авдеев сыграл бы в ящик. Врачи позволяют себе вульгарный тон. А Эдик небрежно обозвал меня тимуровкой и пообещал, что «ежели чего опять понадобится, то он завсегда». Понадобится, понадобится, будем брать сберегательную кассу.

Мама пришла домой поздно, была уставшая, но веселая. Пришлось испортить ей настроение. Ираида Илларионовна вызывает её в школу для серьезного разговора. А староста класса Зинка Шичкова обещает устроить мне исключение из пионеров.

Маму эти новости сбили с толку. Она совершенно забыла о вьетнамских детях, о вытрезвителе и об особенностях советской школы. А вспомнила и разошлась: «Раз Зинка староста, значит она крупная дрянь! Старостой хороший человек быть не может. Ты же учишь историю, вот и подумай. Это во-первых. Но только не ляпни это в школе! А во-вторых, с Ираидой Илларионовной невозможно разговаривать. Когда я видела её в последний раз, у неё на шее болтался кулон, похожий на милицейскую мигалку, и кроме него я уже ничего не видела и не слышала. Я не могла оторвать глаз от этой мигалки».

Как вам схожесть наблюдений? Ведь не договаривались же. И я рассказала маме об Авдееве. Она так восхищалась Эдиком! Она его с детства знает и с тех пор ещё разглядела в нем уникальный талант: «Да, да, Адюша, не удивляйся, это талант – разогнутой скрепкой открыть любую дверь». А потом мама задумалась и сделала вывод – похоже на то, что из меня что-то получится, потому что значительно важнее помочь кому-нибудь конкретно, чем протянуть символическую руку помощи вьетнамским детям. А в школу она пойдет. Обязательно пойдет!

Ираиде Илларионовне я не завидую, это будут не лучшие минуты её жизни.

6.

Мама в школу сходила, и вьетнамская история была спущена на тормозах. Зинка Шичкова осталась при своем интересе и затаилась до следующего раза. Но следующего раза я уже не боюсь, потому что привалило огромное счастье – мы с Зосей будем учиться в одном классе!

А получилось вот что. Зосины родители все-таки разошлись, так как папина зазноба настойчиво за него боролась, костьми ложилась. Недаром её зовут Гертруда – герой труда. А Зосина мама не боролась совсем, потому что слишком много чести. Родители разменяли квартиру. И теперь Зося опять живет напротив, только через дорогу. Мало того, она ведь старше меня, но пропустила один учебный год по причине осложнения после гриппа. Вот и попала ко мне в класс. Мы решили это отпраздновать, и я ей сегодня позвоню, потому что в новой квартире у неё есть телефон.

К слову, о телефоне. Когда мама не хочет, чтобы я слышала, о чем она говорит, то берет телефон в спальню и закрывает за собой дверь. Почти все её разговоры связаны с работой, и мама ограждает меня от изнанки жизни. Такая наивная. Неужели она думает, что я ничего не знаю? Ведь я давно перечитала все книги, которые она прячет от меня в самых немыслимых местах. Кстати, треп старшеклассниц в туалете в сто раз неприличней этих книг. Некоторые из них я показывала Зосе, и она тоже ничего нового для себя не открыла. Но это понятно, Зося прошла жизненную школу общаги и Валеркины университеты.

Валерка все-таки ушел служить на флот. Настырный он. Недавно приезжал на побывку. Настоящий морской волк и разбиватель женских сердец. Щеголяет специфическими мореходными выражениями и проявляет элегантную небрежность к выправке. Откуда только все взялось? И напустил на себя многозначительный вид, намекает на секретность службы, и потому не задавайте ему лишних вопросов.

А бабушка Ядвига умерла. Зося расстегнула верхнюю пуговицу и показала мне овальный медальон. Глаз не оторвать! Это наследство от бабушки. Единственное, что осталось. Только это секрет, нельзя никому рассказывать, что она его носит, потому что на обратной стороне у него гравировка – вензель института благородных девиц. Неправильно поймут. Или ещё хуже – правильно поймут. И вообще нам не разрешают в школе ничего подобного иметь, даже скромного колечка. Я вспомнила о кулоне Ираиды Илларионовны. Нашла, что с чем сравнивать, – милицейскую мигалку с институтом благородных девиц.

7.

Перевернули страницу календаря, а потом другую. Сменили календарь, а потом другой. Глядишь – уже переходим в десятый класс. Последние летние каникулы, и надо всерьез задуматься о будущем. «Зося, куда ты будешь поступать?» «В союз меча и орала!»

Зосина самоирония бывает неуместной. Она халтурно относится к своему таланту. Ведь у неё прорезались вокальные способности, которые необходимо развивать с профессиональными педагогами. Вместо этого она уже три года посещает самодеятельный хор в клубе камвольной фабрики. Зачем? «Ой, ты знаешь, там такие тетеньки забавные!» Это оправдание?

На каникулы Зосю отравили к родственникам в Псков. Лучше бы эти родственники сидели тихо и не проявлялись, потому что поездка к ним перевернула Зосину жизнь.

Шла Зося по набережной реки и любовалась видом на Троицкий монастырь, и гордо ловила на себе изучающие взгляды провинциальных барышень, которые прохаживались по трое, по четверо, по пятеро, и больше – целыми выводками. Прохаживались и парни. А иначе какой интерес? Ни тебе интриги, ни куражу. Гуляния в древних русских городах проходят массово и обстоятельно.

Присела Зося на скамеечку без всякой задней мысли на возможные подсаживания и ухаживания. Не надо нам этого. И потому она по сторонам не смотрела, изобразила неприступность на лице, а взгляд остановила на божьей коровке, которой приспичило перебраться с сумочки на платье. Вдруг она почувствовала, что на неё упала тень, даже прохладней стало. Пришлось поднять глаза. Почему так много тени от такого стройного тела? Но на этом вопросе мы останавливаться не будем и не будем останавливаться вообще, потому что дальше всё пошло со скоростью реактивной.

Алеша Никольский был выпускником Псковской духовной семинарии. Представили интеллектуальный уровень? И это в сочетании с Зосиным юмором и нестандартным мышлением. Им было о чем поговорить. И, несмотря на молодость и томление тел, это оказалось важнее всего. Оба они были скоры на решения и пожениться решили уже на третий день знакомства, причем незамедлительно. И, конечно, венчаться. Мечты бабушки Ядвиги осуществлялись через поколение.

Ой, что тут началось! Все были в оппозиции. Даже я. Я разорялась громче всех: «Что ты с собой делаешь! Окончи хотя бы школу! Подумай о последствиях! О своем таланте! Ты хочешь зарыть его в землю? А Валерка? Сестра попадья, а он на секретной работе. Его попрут ежемоментно». Кто там кого слушал...

Мы поссорились с Зосей впервые и надолго. Она уехала венчаться, а я заболела. И даже опоздала к началу учебного года. Когда пришла в школу, Зосю уже исключили отовсюду – из школы, из комсомола и даже из хора камвольной фабрики. А Зинка Шичкова назначила день экстренного собрания класса с целью анализа этого ЧП. А мне пригрозила, что если я не явлюсь, то она до-

ложит в весомую организацию. Я, между прочим, и не собираюсь прятаться. Зося всё равно моя подруга на всю жизнь, что бы они ни говорили на своем собрании. И оправдываться там я не буду.

Собрание проходило в классе после уроков, все были равнодушные и уставшие, кроме Зинки, которая держала перед глазами листок с заготовленной речью, чтобы не сбиться: «Одинцова! Ты её лучшая подруга. Не может быть, чтобы ты раньше ничего не знала. Как комсомолка ты должна была сигнализировать директору школы с целью принятия превентивных мер. И может быть, тогда на наш класс не легло бы позорное пятно».

Я набрала побольше воздуха: «Слушай, Зинка! Ты бы порадовалась, что на тебя хоть что-то легло. Что ты всё время возле учительской отираешься? На медаль со своими куриными мозгами ты всё равно не наябедничаешь. А что касается Зоси, то она старше нас всех на целый год и поэтому по конституции имеет право выйти замуж. Ты имеешь что-то против советской конституции? Чтоб тебе пусто было! Или ты имеешь что-то против любви? Конечно, имеешь. Какие твои шансы с такой задницей и прыщами – четырнадцать штук, я на уроке математики специально считала». Не люблю переходить на физиологические подробности, но меня к этому вынудили. И пусть теперь Зинка жалуется Ираиде Илларионовне, а та сообщает моим родителям на производство.

Мама сходила в школу. Так совпало, что сынок Ираиды Илларионовны, разборчивостью в связях не отличавшийся, нуждался в медицинской помощи, деликатной и анонимной. Сподручней и надежней моей мамы в таких случаях не было никого. Дело спустили на тормозах.

8.

Осень выдалась затяжная, но не дождливая. Забросала двор листьями, задула горькими пахучими ветрами. Церберка умерла. Гаврилыч нашел её на пустыре за общежитием. Он её и похоронил под кривой акацией. Холмик из листьев насыпал, а потом сел рядом и затянул высокохудожественную песню о том, что сентябрь пришел, как желтый всадник, в студеный день погожий, а желтокрылые листья, как птицы, кружатся в ветреном пространстве. Мелодию, правда, он переврал ещё хуже, чем текст. Но как вам Гаврилыч? Даже соседи онемели.

Зима пришла на следующий день после Церберкиных похорон. Я в окно глянула, а во двор уже белый всадник пришел. И навалил столько снега, как будто хотел накрыть с головой все заборы, дома и даже телевышку. Вот и хорошо, зальют каток, и каждое воскресенье я буду кататься на коньках. Зачем я занималась фигурным катанием? Совсем не для рекордов, а для того, чтобы быть примадонной на катке в городском парке. Чтобы девчонки зеленели от зависти, а мальчишки укладывались штабелями прямо на лед. Я этого добилась. Жестокая я. А в седьмом классе я пыталась подбить на это дело Зосю. Но она сказала, что две примадонны на одном катке не уживутся. Отшутилась. Но на самом деле купить фигурные коньки для её мамы было неподъемно. Зосенька, миленькая! Я скучаю по тебе!

Сейчас только понимаю, что у Зоси всё было хуже, чем у других. Летом – сандалии за три рубля и ни на копейку дороже, осенью – растоптанные ботинки, из которых вырос Валерка, а зимой – безразмерные валенки. А платья ей перешивали из того, что первым попадалось под руку. Но ей никогда не приходило в голову жаловаться или обвинять своих родителей в бедности и непутевости, а тем более кому-то завидовать. Зося жила вне этого, она умела приподняться над ситуацией и никогда ничего не просила и даже не любила, когда ей что-нибудь дарили. Подозревала в этом сострадание. Зато сама при всей своей нищете умудрялась делать мне небольшие подарки. Конечно, как каждой девочке, ей тоже хотелось иметь хорошие вещи, но только однажды она призналась мне, что всегда мечтала о красных туфельках.

Сегодня я не пошла на каток. Мама сказала, что хватит валять дурака, надо готовиться к выпускным экзаменам. Не успеешь оглянуться – и весна. И я оглянулась, и посмотрела в календарь – 10 апреля, Зосин день рождения. И в этот день от неё пришло письмо.

Они с Алешей живут в ...овске, впереди можно подставлять что угодно, таких дыр в российской глубинке до фига. Так вот, в ...овске Алеша получил приход. А Зося учится в вечерней школе, чтобы иметь аттестат о среднем образовании. Днем она занимается с детьми в местном клубе, ведет хор и танцы. И сама поет в церковном хоре. Но по секрету и только мне – в бога она не верит. Алеша ни в коем случае не должен об этом знать.

Писала она и о Валерке. Он швартуется где-то в северных морях, чуть ли не у берегов Гренландии, но это не точно, потому что он путает следы ввиду особой секретности своей работы. Вот так! А соседи прочили ему кончину под забором.

Зосино письмо я прижимала к себе и даже нюхала. Мне казалось, что оно пахнет сливочными ирисками. Именно так пахнут её золотые волосы.

9.

Что такое май? Это почти летняя жара. Это прохладная сирень, нежные пионы и школьные экзамены. Вы знаете, как пахнут пионы? Этот запах не могут повторить ни одни духи.

Я буду поступать в автодорожный институт. К чему мне автомобили и дороги, если я люблю вокзалы и поезда? Но в нашей семье логика всегда отсутствовала, и потому нечего нарушать традицию.

В институт я поступила. И перед началом семестра всех новеньких студентов отправили в подшефный колхоз в деревню с антисанитарным названием Грязнуха. Я внимательно и предвзято прошлась взглядом по нашей группе и констатировала, что лиц противоположного пола в ней большинство. И даже вполне ничего, хорошие жеребцы подобрались. Не в моем характере так себя позиционировать и такие мысли в голове держать, я девушка в этом смысле спокойная. Но меня вдруг обуяло любопытство и захотелось на практике опробовать прочтенное и законспектированное.

Сережа Д. понравился больше других, им я и занялась, и оказался он далеко не крепким орешком, а даже наоборот, совсем ручным, сдался без борьбы. Дело было в деревне, и стог сена подвернулся к месту и ко времени. Ну что могу сказать. Чтобы из-за этого разгорались войны и происходили дворцовые перевороты – этого я не понимаю. Сережа поглядывал на меня убитым взглядом, бедолага. Может, он решил, что должен теперь на мне жениться? Боже упаси! Мне такое даже в страшном сне бы не приснилось. Так я ему и сказала, когда он попытался повторить практический урок и таким образом укрепить свои позиции.

С Сережей Д. мы остались в хороших отношениях.

В календарь посмотреть? Или и так понятно, какое время года? Институт давно окончен. Замужем побывала дважды, причем оба раза удачно. Родила двоих прекрасных пацанов. Звать Жора и Гера – шкодные и смешные. Такие рожи, что хоть в кино их снимай. Работаю и неплохо зарабатываю. Есть поклонники с манерами и тугими кошельками. Чем не везение?

От Зоси давно не было вестей, знаю только, что они с Алешей много раз переезжали из одного ...овска в другой. И вот однажды она ко мне заявилась, на ночь глядя. Лицо обветренное, в руках ведерко клюквы и корзинка лесных орехов. Адюша! Зосенька! Я оставила её ночевать. Столько разговоров накопилось, что всё равно не спали. Зося теперь надолго. От Алеши она ушла. «Ушла и всё! И не спрашивай меня ни о чем! Скажу одно, в прошлом году родила мертвого ребенка, девочку, и поняла – это знак! Всё! Закрыли тему!»

Рассказывала она и про Валерку. Он вышел на гражданскую службу и женился на ярко выраженной блондинке с водевильными манерами. Теперь они наживают совместное имущество. Водевильщица продыху Валерке не дает. Только он на балкон покурить выйдет, а она шасть за ним и тянет назад, делом заниматься, имущество наживать.

«Ну а ты как? Как было в Индии?»

О своих мужьях я так небрежно и вскользь упомянула, а ведь это несправедливо, они все-таки отцы моих сыновей и вполне заслуживают большего к себе внимания. Первый брак был

эпизодичным и скорым на логический конец. Мой первый муж Влад задавал дурацкие вопросы и вечно искал свои штаны. Дошло до того, что на вопрос – где мои штаны? – я начинала вздрагивать. Когда он в очередной раз меня об этом спросил, я собрала все его штаны и выставила за дверь вместе с этими штанами.

Мой второй муж Алик вопросов никогда не задавал, он сам всё знал и сам всё решал. Я даже имя нашему общему сыну не могла дать по своему вкусу и усмотрению. Диктаторские замашки были не единственным его недостатком. С ним мы три года прожили в Индии. Он там что-то строил, а я с детьми томилась взаперти. Представьте загороженную территорию, не тюрьма, конечно, но одной выходить не рекомендовалось. Это со стороны кажется – заграница, а одних прививок пришлось сделать такое количество, что все мы потом плохо себя чувствовали. Придешь из города – вещи с себя сбрасывай прямо на пороге – и сразу в стирку. Однажды снимаю блузку, а на рукаве сидит не то ящерица, не то стрекоза. А дети! За ними глаз да глаз, не дай бог, возьмут в рот какую-нибудь дрянь. Все три года в напряжении и бдении, как на вахте. Да ещё и словом не с кем было обмолвиться. Муж с утра до вечера на работе, а между женами наших специалистов происходили дрязги, они делились на группировки и сживали друг друга со свету. Я держала нейтралитет. Плохо, что об Индии только такие воспоминания. Все-таки страна чудес.

Вернулись, навезли барахла, денег заработали, и нас стали приглашать в модные дома, для фактуры, потому что мы нестандартно выглядели и имели интересное прошлое. Мы выполняли роль свадебного генерала. А раньше нас никто не приглашал. И потому цену новым друзьям я хорошо знаю. Другое дело Зося. «Чем собираешься заниматься, подруга?»

Я не рассчитывала получить серьезный ответ. И Зося обозначила план действий: «Надену юбку покороче и сапоги повыше и стану классной дамой! А что ты думала? Что я в оперу петь пойду?»

10.

Жора и Гера уже ходят в школу. У них начался новый учебный год. Да, да, опять сентябрь в календаре. И на город обрушились особенные дожди – с надрывом. Закосили так надолго, что того гляди, размоют весь архитектурный облик, а городской транспорт сольют в водоемы.

Подхожу к зеркалу и вижу у себя седой волос. Но разве это сенсация по сравнению с тем, что рухнула советская власть. Кто мог в это поверить? Кроме Гаврилыча, никто. Кстати, он до сих пор жив.

В стране начался страшный бардак. Улицы утюжат бритые под ноль братки во всем черном и с одинаковыми неподвижными мордами. Их невозможно друг от друга отличить. Они так вырядились в маскировочных целях, чтобы правоохранительные органы не могли их идентифицировать. На них бы наручники надеть, а они взяли и переоделись в малиновые пиджаки, потому что совсем перестали бояться. И тогда совсем худо стало. Жрать стало нечего. То есть купить не на что. Иженеришки, вроде меня, разбежались врассыпную кто куда, кто на базар, кто в эмиграцию, кто на панель. А мне куда? Торговать не умею, для эмиграции авантюризма маловато, для панели стара. Но детей кормить и одевать как-то надо. Благо алименты от бывших ещё получаю, но они уже стонут.

Мама смотрит телевизор и не понимает, что происходит. Не понимает, почему пенсии хватает только на неделю, а все её сбережения превратились в три трамвайных билета. Ведь она копила на похороны. Не понимает, как это коммунисты-номенклатурщики ухитрились так быстро прекраситься в капиталистов, и как раньше не бедствовали, так и теперь как ни в чем не бывало сидят на своих же местах. Мама предполагала справедливую рокировку – места коммунистов должны занять потомки тех, кто бежал из страны после октябрьского переворота. Но окончательно её добили представители творческой интеллигенции типа кобзонов-михалковых и та поспешность, с которой они сменили ориентиры. И потому мама совсем растерялась и даже на улицу перестала выходить.

Звонил Сережа Д., он стал большим бизнесменом и интересовался, не нуждаюсь ли я в чем? Благородно. Может, я в нем чего-то не разглядела? «Ну что ты, Сережа! За заботу спасибо, но я

в полном порядке, и дела мои идут как нельзя лучше, я ещё и тебе помочь могу», – наврала и пожалела. Проклятая гордость.

А что Зося? Сначала устроилась в ночной ларек продавать спиртное, её предупреждали – опасно. И опасения подтвердились, после налета чудом жива осталась. Стоимость похищенного товара вычли из её зарплаты. Потом она перебралась в другой ларек – по обмену валюты. Подсунули фальшивые доллары. Ущерб вычли из зарплаты. Зося в ларьках разочаровалась и подалась в менеджеры по продаже немецких кастрюль. Однажды партия кастрюль куда-то делась, и клиенты предъявили рекламации. Убытки вычли из Зосиной зарплаты, хотя она была здесь совершенно не при чем. Кончилось тем, что Зося пошла к нашей соседке Неле продавать билеты на аттракционы.

Вы про Нелю не забыли? Вот и правильно. Она тоже пребывала в поисках бизнеса и прошлась по местам боевой славы в Парке культуры и отдыха. И приватизировала все качели-карусели, танцплощадку и даже колесо обозрения. А сторожем к этому хозяйству приставила Гаврилыча. Ей сторож не нужен, у неё всё на сигнализации, ей просто жаль старика.

Приезжал Алеша, как с креста снятый. Он живет в очередном ...овске, где будет строиться новая церковь за спонсорские деньги. Иллюзий у него никаких, он понимает, что деньги отмываются. Но что делать... Просил Зосю вернуться. А она ни в какую.

Позвонил Влад. Нарвался на маму, а она возьми и спроси, кто ему теперь ищет его штаны? Влад обиделся и бросил трубку.

Жора и Гера, мои любимые сыночки, так хорошо всё понимают. Ничего не просят, даже мороженого. Я у них спрашиваю, куда бы нам пойти, чтобы не нужно было деньги тратить? А они отвечают: «В библиотеку». Обожаю их!

Влад все-таки до меня дозвонился. Чеканил слова, как молотком, и каждый удар пробивал мне сердце. Он сейчас занимается недвижимостью за границей и себе тоже квартиру в Лондоне прикупил. Вот это да! А почему не на Луне? И когда это он успел? В нем я, наверное, тоже чего-то не разглядела. Хочет забрать к себе Жору. Я затаила дыхание. А Влад продолжал ударять: «Ты не желаешь нашему сыну добра? Ты не хочешь, чтобы он учился в Кембридже? Ты понимаешь, какие перспективы могут для него открыться? Или ты хочешь, чтобы он прозябал в этой проклятой стране? В этом нищенстве и убожестве». Что это на него нашло? Ведь больше двадцати слов подряд он никогда не мог произнести.

«Влад! Хватит напрягать лексику! Ты не силен в разговорном жанре. Я подумаю, то есть Жора подумает, ему уже пятнадцать лет». И Жора подумал и сказал, что такого Лондона, чтобы без нас, ему не надо: «И это мое последнее слово! Мне уже пятнадцать лет! Я скоро стану взрослым и прокормлю вас всех». Я села и разревелась. Антракт.

II.

Какое у нас сейчас действие? И какая погода за окном? Сколько прошло зим, весен, лет и осеней? Или «осеней» не говорят?

Календарь висит на кухне. Отрывной. Между прочим, большой дефицит по теперешним временам. Все уже давно забыли, что это такое. Подходи каждое утро и отрывай по листочку. А чем ещё заниматься женщине с подорванной психикой? Можно телевизор смотреть, что я и делаю. То мексиканский сериал, то Кашпировский втирает населению коллективный гипноз. А мне лень дотянуться до пульта и переключить. Да и зачем?

Звонила Зося, она сейчас придет. Голос мне её не понравился, какой-то инкубаторский, но мне надоело всё время предвидеть плохое. Зося пришла в черном платке. Алешу убили... Он нес деньги, наличными, чтобы расплатиться со строителями. И кто-то, кого никогда не найдут, об этом, вероятно, знал. Нож всадили в спину. Алеша еще недолго жил. Рассказывали, что звал Зосю. Она поедет в ...овск на похороны. И, наверное, задержится там какое-то время. Она должна убедиться, что церковь построена, раз Алеша этого хотел. И уехала. А я осталась. Я опять осталась без Зоси.

Два года она жила в ...овске. За это время я похоронила маму, попала под машину, месяц валялась в больнице, чуть не вышла замуж за Сережу Д., но вовремя опомнилась. Боюсь перемен. Мне

даже странно, что на меня еще есть спрос. Но тут другое – Сережа ностальгирует по несбывшемуся. В итоге он построил себе дом в деревне Грязнуха и бродит там по пустым комнатам, находя это занятие вполне романтичным.

Зося приехала неожиданно и удивила меня переменой к лучшему. Она никогда не была красавицей, но за последние два года проявилась какой-то запоздалой красотой, которая, как правило, бывает очень броской. И если раньше к ней надо было присматриваться, то теперь интерес возникал с первой секунды. Единственное, что осталось от прежней Зоси, это бледные веснушки под глазами.

Зося выпалила: «Всё!» И из одного этого слова я поняла, что мы с ней опять расстаемся. Может быть, навсегда. Она в этой стране не останется ни одного дня! «Знала бы ты, что мне пришлось пережить в ...овске?! Уезжаю. И знаешь куда? В Люксембург! Подписала договор с одной фирмой (проходимцы, конечно) по вербовке дешевой рабочей силы. Представляешь, чем заниматься буду? Драить чужой дом. И, думаю, что этим не ограничится. Но мне уже всё равно, лишь бы отсюда подальше. Валерка вернулся на флот. Угадай, с какой такой радости? Открылась возможность продавать корабли. Продают целыми эскадрами. Это можно выдержать?! И где предел?»

Зосю я провожала рано утром. В аэропорту в зале ожидания я увидела большую семью и сразу поняла, что они уезжают в эмиграцию. Семья разновозрастная от старенького дедушки до грудного младенца. Не то евреи, не то армяне. А может быть, и русские. Нас с Зосей так воспитали, что мы в этом не разбираемся. И такое воспитание я считаю единственно правильным. Мне было интересно наблюдать за этими людьми. Не скажу, чтобы их лица сияли счастьем, но я им позавидовала. И не потому, что они уезжают. А потому, что одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что это семья, в которой любят друг друга. И никто из них не будет одинок.

А Зосю, кроме меня, проводить было некому. Весь её багаж состоял из двух небольших чемоданов, и все формальности она прошла очень быстро. Мы смотрели друг на друга даже тогда, когда Зося перешла таможенную черту и уже находилась в недосягаемой зоне. Пиши мне!

12.

У меня нет календаря. То есть он есть, но в мобильном телефоне, который мне купил Жора на свою первую зарплату, чтобы я выглядела современной женщиной. Теперь все только и делают, что безотрывно смотрят в свои мобильники. Вперились в них точечным взглядом, не иначе как получают шифровки из космоса. А письма теперь посылают по электронной почте. И почерк стал у всех одинаковый, то есть он просто отсутствует, необходимость в нем отпала.

За семь лет в Люксембурге Зося тоже освоила компьютер. И даже вышла замуж за Раймонда, которому сначала убирала дом, мыла посуду, стирала бельё, готовила еду. Здесь остановимся. Когда Зося сварила своему люксембуржцу обыкновенный борщ, он понял, что жизнь прошла зря. Люди в Люксембурге темные, они понятия не имеют, что такое борщ, винегрет, сырники и так далее. Раймонд ел устрицы и черепаховый суп и всегда думал, что это и есть показатель высшего жизненного стандарта. Но когда он вдобавок ко всему узнал о себестоимости борща и подсчитал, сколько он в своей жизни потратил на рестораны, с ним случился легкий шок, перешедший в тяжелый. Ему даже хотелось застрелиться. А потому что никогда не надо сравнивать, как моя бабушка, которая вечно пересчитывала на старые деньги. Это же бесперспективно.

Раймонд погрузился в мрачные раздумья и слегка приболел. Уточнил, когда у Зоси заканчивается контракт, и совсем пригорюнился. Зося сама натолкнула его на мысль о женитьбе, и он за неё ухватился. Зося держала меня в курсе своих дел, и даже выслала фотографию Раймонда. Из фотографии не было понятно, сыплется из него песок или нет, но выглядел старичок вполне куртуазно – смокинг, бабочка, трубку курит. У Раймонда есть двое детей – сын Ксавье, трудный ребенок сорока лет, имеющий нетрадиционную сексуальную ориентацию, по-нашему голубой, и дочь Катрин, трудный ребенок без возраста, имеющая нормальную сексуальную ориентацию,

и даже чересчур. Большую часть жизни она проводит на Сайшелах, где развлекается с любовниками всех цветов и оттенков.

Ксавье навещает отца по субботам вместе со своим мужем (или женой) Антуаном. Они пьют кофе и ведут нудные разговоры о политике. Чашки, из которых пьет эта парочка, Зося не доверяет ни прислуге, ни посудомоечной машине. Она моет их сама в нескольких водах, а потом кипятит. Если бы она могла обдать их хлоркой, она бы это сделала. Но в Люксембурге нет хлорки. Скучно у них.

Появление Зоси, нарушившее привычный ход респектабельной жизни, доставило Ксавье и Катрин вполне объяснимое беспокойство. Но когда они её увидели, то поняли, что силы несопоставимы и катастрофа неизбежна – Раймонд перепишет завещание. Конечно, перепишет. Вы умеете варить борщ? Нет? Разговор окончен!

И все бы ничего, но вот незадача – у Зоси начались видения. И поэтому она часто и нервно мне звонит в неподходящее время. Вчера опять позвонила в пять утра, но это даже хорошо, потому что сплю я, как в дурдоме. Снится, что Церберка и соседская такса это одна та же собака, а Гаврилыч и Авдеев – один и тот же человек, а птичка сорвалась со дна тарелки и улетела в теплые края. Так что у меня тоже видения.

Ну, я и решила – раз Зося меня разбудила, то пойду пройдусь. В пять утра. Улицы пустые, гулкие, и кстати, ни одного выпущенного из вытрезвителя алкаша я не встретила. Может быть, вытрезвители приказали долго жить, как и всё остальное. У меня был сотрудник, грузин Резо, так он когда-то спросил: «Знаешь, почему в Грузии нет вытрезвителей? Потому что грузин грузина в вытрезвитель не потащит никогда!» Я даже немного оскорбилась. Значит, русский русского потащит? На этом патриотическом вопросе я столкнулась с Валеркой.

«Вот тебе на! А я как раз подумала о судьбе военно-морского флота. Ну, со мной понятно, меня твоя сестра разбудила, вот и шляюсь тут без дела. А ты чего? Да еще в такое время. И почему ты в городе? Как идет продажа кораблей? Летучего голландца ещё никому не спихнули?» Подул сильный ветер, и Валерка никак не мог прикурить. И что я такого сказала, чтобы он прослезился?

13.

Я собираюсь к Зосе. Мне надо во многом разобраться, а главное, в её видениях.

В Люксембурге Зося гуляет вдоль Карниза Европы. Есть такое место. Туда всех туристов водят. Смотришь сверху, в эту пропасть, а там внизу сизая речка протекает, и мостик через неё переброшен, и домики тесно жмутся друг к другу, черными крышами сомкнувшись. Монастырский дворик чистенький, квадратиками вымощен, хоть шахматные фигурки на него ставь, и сам монастырь, как из детского конструктора, и всё кажется макетом к сказочному кино. Хочу живьем посмотреть, потому что Зосины видения происходят именно там.

Она встретила меня в аэропорту. Короткая стрижка, мягкая сумка через плечо и... красные туфельки. Её ответ Чемберлену. Зосенька! Адюша!

Ехали в белой машине. В марках я не разбираюсь, но что-то среднее между вездеходом и ракетой. Гобеленовые пейзажи за окном поражали резными контурами и густотой красок. Я попала в непривычную географию с разновысотным рельефом и глубокими долинами, по которым разбросаны особняки, церквушки, садики и виноградники. С такой высоты все это кажется игрушечным, но отлично видно, как дорого и опрятно там живется.

На антураже Зосиного дома рассиживаться не буду. Стиль барокко меня угнетает, а в огромных помещениях я теряю ориентацию и начинаю двигаться возвратно-поступательно, как по минному полю. В гостиной на бархатных подушках лежали два мопса, как булыжники. Меня проигнорировали напрочь, даже не пошевелились. Раймонд моему приезду обрадовался или сделал вид – бонжур мадам, бонжур месье. Вот и всё. А что ещё мы можем друг другу сказать?

По-быстрому поели и гулять пошли. Сначала мы долго бродили по улицам, Зося всё норовила купить мне что-нибудь по запредельной цене, а я отбивалась. Наконец подошли к долгожданному месту. И я ахнула. Ну конечно, на фотографиях всё смотрится плоско. Здесь ощущаешь себя, наверное, так, как кошка на карнизе дома, которая наблюдает за жизнью сверху.

Зосин взгляд все время на чем-то останавливался, и я не узнавала этот взгляд. И, наконец, она заговорила: «Только не перебивай! Вчера была здесь и вижу – Эдик-Отмычка с натянутым на физиономию чулком пытается открыть дверь вон того дома, того крайнего. Не сойти мне с этого места! И не говори, что мне нужен психиатр. А как-то смотрю – из кустов, вон тех, что вдоль речки, Церберка выбегает, села почесаться, а потом снова побежала по своим собачьим делам и прихрамывала. Помнишь, она когда-то на гвоздь наступила? А зимой возле монастыря парочка прогуливалась, друг за друга держатся, как молодожены. Подходят ближе – мать честная! Папаша со своей Гертрудой! Мне даже плюнуть вниз захотелось. И не говори, что я обозналась. Папаша это был! Кто здесь зимой ходит в ушанке и в совковом пальто из вторсырья? А по той улице на днях Неля дефилировала в белом плащике и беретике, и коляску синюю перед собой катила, и всё время оглядывалась, какое она производит впечатление. Чего оглядываться, если улица пустая? Ты не сомневайся и не смотри на меня, как на идиотку. Ты мне просто поверь! Алеша говорил, что верить надо беспрекословно».

Я пыталась поставить под сомнение Зосины наблюдения. Откуда она знает, что это Эдик был, если у него чулок на физиономии? Да и высоко здесь, чтобы отсюда кого-нибудь узнать. И собаки тоже похожие бывают. Но я задумалась о другом, откуда Зося знает, что у Нели была синяя коляска? Ведь к тому моменту, когда Нэля родила, Зося уже переехала на новую квартиру.

«А сейчас ты что-нибудь видишь? Смотри на площадку перед монастырем. Смотри внимательно – классики на ней мелом расчерчены, точно такие, как мы во дворе чертили. И даже цифры кривые. Я всегда так писала. Видишь? А скамейку видишь? На ней позавчера Гаврилыч сидел немного поддатый и орал. Наверное, про советскую власть. Отсюда не слышно. Мне здесь так интересно, как в театре! А тебе? А если бы ты знала, как здесь вечером красиво! И звезды так светят, и так их много. Однажды звезда упала прямо на мостик, и на нем совсем светло стало. И я увидела, что там женщина стоит в белом платье и с ажурным зонтиком. Это бабушка Ядвига. На ней то платье было, в котором она гуляла с выпускником кадетского корпуса под звуки духового оркестра». Зося прижала руки к груди и нащупала свой медальон: «Адюша, это была бабушка! Давай спрыгнем!» «Давай!» – это я для красного словца поддакнула и чтобы соответствовать спектаклю. А сама Зосю за руку схватила и от карниза оттащила. Хватит! Сюрреализма мне и дома хватает. Вот был бы номер, если бы мы вниз сиганули! У нас бы пропали билеты в оперу. А местным газетам было бы, наконец, о чем писать. Сенсация! Два женских трупа в пропасти! И опять эти русские, без них теперь ничего не обходится!

«Этого ты хотела? Нет, нет, ты меня не останавливай! Я совершенно спокойна! Но мне надо уточнить, какого хрена тебе вздумалось кидаться с обрыва?! Тебе в цивилизованной стране надоело? Или ты классической литературы начиталась? Так нам это вредно. В конце концов, у нас есть сила воли и бутылка водки, если уж так невмоготу. Но только учти, я должна быть уверена, что в мое отсутствие ты здесь ничего не устругнешь. Нет, ты мне пообещай! А то я здесь останусь. И вообще я за себя не ручаюсь! А что сегодня? Ты не забыла, что мы в оперу идем?»

Зося смотрела на меня выжидающе. Я действительно слишком длинно раскудахталась. «Ладно, Адюша, ты много всего наговорила, и я всё поняла. Сейчас в ресторан пойдем черепаховый суп есть, а вечером – в оперу».

Мне надо убедиться, что в культурной Европе поиск новых сценических форм приобрел исключительно наглый характер. Так было написано в одной статье. Ломают стереотипы, издеваются над первоисточниками и дурку валяют. Кощунствуют.

В местном театре давали «Пиковую даму». Декораций минимум, но лучше бы их не было совсем. Роль старой графини исполняла негритянка, и кружевной чепчик у неё на голове стоял колом. Но самое неожиданное произошло в конце. Режиссер не рискнул изменить либретто, и потому Лизе предстояло где-то утопиться. В качестве Зимней канавки приспособили огромное

корыто, наполненное до краев. Когда действие достигло кульминации, подмостки возле корыта разошлись, и Лиза провалилась под сцену, слегка зацепившись кринолином за табуретку, на которой в течение всего действия лежали три карты. Когда дали занавес, утопленница вышла на поклоны в махровом халате. Я давно так не смеялась.

14.

Время потеряло систематичность. Его надо контролировать и себя в нем тоже. Потому что иногда уже не понимаешь, когда живешь? Тогда или сейчас? У меня в квартире три календаря. Их количеством я компенсирую мою потерянность во времени. Надо посмотреть, совпадает ли на них месяц? Я изнуряю себя этими сверками, потому что все мои несчастья в последнее время связаны с провалами в памяти. Может, мне ещё и глобус завести? Чтобы сверяться не только со временем, но и с пространством. Или это уже слишком? Спокойно! Я в своей квартире, и июнь сейчас. А весь май я зачеркивала дни во всех трех календарях. Как в тюрьме. Зосю ждала. Она вернулась навсегда! Не может жить в стране, где нет даже приличной оперы. Купила квартиру в хрущевке и теперь снова счастлива. Говорит, что кукурузнику за его вклад в экономичность строительства Нобелевскую премию надо было дать, а его на пенсию спровадили.

Зося так довольна своим новым жильем! Не успеешь входную дверь открыть, уже почти в спальне. Лежишь на диване, и всё рядом, только руку протяни – выключатель, телевизор, расческа, таблетки от давления и, самое главное, стакан воды, потому что подать его некому. Не вставая с дивана, можно посмотреть на себя в зеркало. Хотя на что там уже смотреть? И до двери на кухню можно дотянуться, если чуть-чуть привстать. Ни одного лишнего движения. Чем не комфорт для человека, страдающего артрозом?

Когда у нас с Зосей плохое настроение, мы детство вспоминаем. В нашем возрасте плохо помнится, что было вчера, и даже календари не помогают, хоть обложись ими со всех сторон. Зато хорошо помнится, что было лет пятьдесят тому назад. Особенно нам нравится вырывать слова из контекста эпохи, которая пришлась на нашу молодость. Например: вам с сиропом или без? очередь не занимать! по килограмму в одни руки! передайте на билет! вы здесь не стояли! пропустите женщину с ребенком! в универмаге бюстгальтеры выбросили! Зося, ты помнишь наши бюстгальтеры? А всё остальное? Это же было не бельё, а орудие пыток – давило, натирало, оставляло рубцы и вгоняло в краску.

В середине пятидесятых кому-то из французских шутников пришло в голову устроить выставку советского белья, и не где-нибудь, а в театре «Комеди Франсез». Способ и место для посмешища были выбраны идеально. Французы – люди без комплексов, им и невдомек, что такое оскорбляет и не забывается. Потому что унижение не забывается никогда. Над нами смеялся весь Париж. Ну и черт с ними! Зато какое счастье мы испытали, когда появились колготки! После долгих лет мучений стало вдруг возможным, ни о чем не думая, забросить ногу на ногу. При любой длине юбки! Люди старшего поколения от такого разврата не знали, куда глаза деть.

О чем ещё вспомнить? О нашем дворе. Пустырь за общежитием был вечно завален консервными банками от бычков в томате, помятыми коробками от папирос «Беломор» и предметами интимного характера. Я не понимаю, как «этим» можно было заниматься на пустыре? И куда делись бычки в томате?

Из старых соседей уже почти никого не осталось. Меня на днях Неля в гости зазвала. Её сын давно живет за границей, а она ведь уже совсем старушка и болеет от одиночества. И чтобы заполнить пустоту, завела себе большого красно-зеленого попугая. Тысячу долларов за него отдала! И с ходу заголосила: «Что ты, что ты, это недорого! Он ведь говорящий!»

Да за такие деньги я сама к ней каждое утро могу приходить и что-нибудь говорить. Зося, ты со мной согласна? Зося соглашалась. Тем более вчера, когда лежала с высокой температурой и головной болью, а я её развлекала.

Когда я в детстве болела, мама давала мне для утешения рижские журналы мод. Это были журналы с другой планеты. Инопланетянки в немыслимых нарядах и шляпах являли собой из-

девательство над замученной советской женщиной. Интересно, какое у них было бельё? В студенческие годы за хорошее бельё я переплачивала спекулянткам. В этой связи в памяти нарисовался Сережа Д. Он на днях звонил и приглашал в Грязнуху посмотреть на дом и сад. Я сказала, что приеду непременно, но только в том случае, если в его саду зацветет флердоранж. Сережа взорвался, обозвал меня ведьмой и заявил, что я сломала ему жизнь, а заодно и себе. Он прав. А я обрадовалась – оказывается, я еще могу разозлить мужика. Это так обнадеживает! Паршивый у меня характер, но с Сережей Д. мы все равно остались в хороших отношениях.

Сейчас у меня включен телевизор. Показывают открытие кинофестиваля. Главный режиссер страны нахлобучил на себя фуражку морского офицера. Или милиционера, что ближе к истине. Развеселили меня и актеры – выламываются перед объективами в эффектных позах. Но всё мимо кассы, так как голливудская раскованность у них всегда со знаком минус. И сколько под них красную дорожку не стели, дальше Житомира их все равно никто не знает. И не надо! Плевать на их Запад! Вон Зося оттуда сбежала. В хрущевку.

Переключила на другую программу. Там дела посерьезней. Президент излагает свою позицию по поводу семейной политики и прироста населения. А должностные лица в глаза ему преданно заглядывают и головами угодливо кивают. И перепуганные вусмерть, мне их даже жалко стало. Неужели крепостное право изуродовало нам генетический код на столетия вперед? И зачем тогда нужен прирост такого населения?

Голова забита ерундой, а дело стоит. У меня по календарю сегодня уборка в шкафу. Я нашла ремешок, которым мне в детстве шубу подпоясывали. Его моя бабушка ещё до войны носила. Стройная она была. И как он только сохранился? Ни за что его не выброшу и Зосе покажу. Я к ней сегодня опять собираюсь. У неё не падает температура. Отнесу ей мед, бульон и яблочный пирог. И ещё я купила ей пионы, они уже отцветают – это последние, и потому пахнут особенно изысканно. Зося помнила о моей мечте и привезла мне духи с запахом пионов. Зося всегда помнит о главном.

Когда я вышла из подъезда, то услышала сверху странный шум и подняла голову. На карнизе над третьим этажом сидел рыжий кот. Он смотрел на меня бесцеремонно. Я ему подмигнула.

Виктор ЛИСИН

***

...в окно постучалась птица
говорят плохо это
а я впустил
нам хорошо
единственное что выкинул
новое
радио

зачем мне теперь радио

***

...вода запирается на ключ
я смотрю в глазок
рыбы

***

у тополя рыльце в пуху
но свинки на ветках добрые птицы,
о чем-то поют а лица людей похожи
на лица

а на небе гладят кота
и хрюкает кот от такого блаженства
и мир глядя в себя – возвращается
в детство

***

/рыба шар/

иголки деревьев

***

наушники из ракушек
снизить громкость до уровня
моря

Виктор Лисин родился в 1992 году в Нижнем Новгороде. Публиковался в журналах «Воздух», «Волга», «ЛД Авангард», «Новая Реальность», «Графит», в антигазете «Метромост». Публикации на сайтах «Полутона» и в альманахе «45 параллель». Книга стихотворений «Теплее почвы» (2015). Лонг-лист премии Аркадия Драгомощенко (2014).

***

...ледяной цветок океана

/киты выброшенные на берег/

семена

***

а в голове памятник
а в горле могила

а
все
собаки
отрыты

смотрят
голубыми глазами

и
говорят

мама

***

1.
...мертвые сидят на яблоне
и слушают как плод переворачивается
в животе

2.
...она родилась на яблоне
и древесная птица качающая птенца
с косточкой вместо
сердца

назвала
ее

– Шелестина

3.
...снилась птица с одним крылом
и пламя с птичьим
лицом

(я проснулся на полу от боли в спине
она почернела как на земле яблочко)

4.
– Мама, у меня земля вместо сердца?

5.
косточки
под

кроватью

***

…бабушка и дедушка молятся
качаясь как две
яблони

– седина – это гнездо с ангелами –

в детстве всегда очень любил
лазить по
деревьям

***

и ковчег построили
и встали попарно
и ничего

(спугнули)

***

бросил взгляд
на детской площадке
а после вернулся через столько лет

слепой

и нащупал в этом месте
цветы

***

дожди

(проходимцы)

Александра ПОПОВА

АНГЕЛ НА ПРОСТЫНЕ

Повесть

1. Посылка

Василий сидел в кухне на деревянном стуле и читал газету «Еланская правда». Белая майка с желтым пятном на животе обтягивала его тучное, волосатое тело, которое он за последние годы сильно раскормил. Иногда Василий слегка наклонял голову, поправлял очки с замотанной синей изолентой дужкой и бесшумно шевелил губами.

– Нет, ты смотри, – крикнул он жене, – на Ленина дорогу сделали! А нам когда делать будут? На деньги народные жируют, а народу шиш один! А там кто на этой улице живет? Прокурор, что ли? Да слышишь ты или нет?

– Слышу! – крикнула в ответ Тамара, которая в третий раз пыталась зачесать «петухи» в косу дочери. Уж очень непослушные были Танюшкины волосы. Папанины, даже растут пучком на макушке, как у него. – Откуда я знаю, кто там живет. Они себе коттеджей понастроили с заборами трехметровыми, поди пойми, кто там есть...

– Да че ты понимаешь-то вообще... – пробурчал Василий. – Китайцы завод у нас строить собираются: «Глава района встретился с представителями компании... долгосрочные инвестиции... пополнение бюджета...» А, опять нахапают, и все. Еще китайцы тут расселятся! И так цыгане весь переулок заняли, а теперь еще китайцы будут. Нам самим скоро места не останется!

– Да на кой твоим китайцам наш Еланск сдался? Ни дорог, ни работы нету. Опять вон сокращение обещают... Зарплату оставят такую же, а требовать в два раза больше будут. Страна дураков...

Василий отложил газету. Снял очки, встал, хрустнул коленями и пошел в зал.

– Есть давай. Че ты ей косы эти наплетаешь?

– Чтобы лохмой не была.

– Все, я пошла. Мам, пап, я – к Наташке, – Танюшка внимательно оглядела свою аккуратно заплетенную косу и пошла к двери.

– Что б в девять дома была, – сказала дочери Тамара. – Кофту возьми, ветер.

– Мам, там тепло. Чего я с ней таскаться буду?

– Щас продует, опять сопливиться будешь. Бери, говорю.

Тамара посмотрела на дочь: худенькая, лопатки острые, ножки-палочки. Не девочка, а курёнок. Хочется прижать к себе, согреть. А она, вон, даже кофту надевать не хочет. Она открыла шкаф, достала красную с черными полосками кофту и протянула дочери. Нехотя Танюшка сунула руки в рукава кофты и выскользнула за дверь.

Тамара ушла в кухню. До зарплаты опять дотягивали с трудом. Она села чистить картошку. Жареная картошка с луком и холодец. В воскресенье они с Василием по дешевке купили на рынке две свиные ноги и рульку.

Александра Попова родилась в городе Балашове в 1987 году. Училась в Балашовском филиале Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, работает в Совете муниципального образования Балашова. Публиковалась в сборнике «Новые писатели» (2013), в интернет-журнале «Пролог».

Василий благодушно развалился на диване и ждал, когда его позовут ужинать. Он приподнял штанину трико и посмотрел на ноги: опять отекли. Больницы и врачей он не переносил на дух. Это была особого рода мужская боязнь боли и непонятных процедур, собственного бессилия. Боязнь подчинения, пусть и временного, и ограничений. Надуманная, непонятная женщинам боязнь признания собственной слабости.

В окно постучали. Василий глянул за штору: на крыльце стоял сосед.

– Здорово, Василий!

– Здорово, коль не шутишь.

– Ты видал, сарай твой совсем повалился. На малину мне свалится скоро. Ты давай, или сам делай, или сноси его на хрен. Че у тебя там – хлам всякий лежит и все.

– Сань, а тебе какое дело, чего там лежит? Че надо, то и лежит.

– Ты, Вась, так не разговаривай, я тебе из архитектуры щас приведу специалиста и из администрации приглашу. Ты меня знаешь, я кому угодно из души три души выну. Давай по-хорошему решим.

– Нет, я тебе где денег щас возьму? Никуда он не свалится, там рельс его подпирает. А как будет возможность, так и подобью. И брус купить надо, и железо. У меня щас денег нет.

– Какого дома сидишь? Иди работай, все работают. Вот и денег на сарай наберешь.

– А где здесь работать? За копье батрачить что ли? Да щас им!

– Так, я тебя предупредил? Предупредил. Хошь работай, хошь дома сиди. А сарай делай.

– А ты кто такой, чтоб меня предупреждать? Начальник тоже мне. Когда сделаю, тогда и сделаю. У себя иди смотри, не хрен на чужие участки зырить.

– А, ну тебя, – махнул рукой Саня и, хлопнув калиткой, вышел на улицу.

– Я те хлопну, командир, – погрозил ему вслед Василий. – Нашелся тут, предупреждать он меня будет...

– Я тебе сколько говорила: «Сделай, сделай»! – вспыхнула Тамара. – А теперь соседи уже ходят, страмота!

У нее горели щеки. Больше всего она не любила упреки соседей. Здесь, дома, они жили в своем мире, где ее успокаивало то, что Василий не пьет запоем, как другие мужики, только выпивает редко и становится добрым и шумным, много говорит и улыбается. Пусть и не работает, зато дома хозяин есть. А она и сама справиться может. Он же все равно помогает. Она научилась принимать и ценить маленькие радости жизни: дешевая рулька, которую продавец не хотела везти обратно в деревню, новое платье, купленное в полцены ей поправившейся сослуживицы, хороший урожай клубники, часть из которого получилось продать...

Такие незваные гости, которые учили, тыкали, стыдили, нарушали небольшое равновесие, которое она нашла с реальностью, пусть не такой, как она хотела бы, но все же ее, настоящей жизнью. В этот момент Тамара ненавидела Саню – хорошего мужика и заботливого отца шумного семейства. По-соседски он не раз подвозил ее на работу, спиливал сухие ветки в их саду, давал взаймы.

На глазах у нее выступили слезы. Василий заметил это и разозлился еще больше.

– Ты еще вылезла. Жрать поставила?

– Иди, ешь. Работать не работаешь, и дома дел никаких.

– Какие я тебе дела делать буду? Рубанок братец твой забрал, год вернуть обещает. Пропил уже, наверное. Иди, позвони ему, пусть принесет.

Тамара обиженно глянула на него и ушла в спальню. Через несколько минут мерно застучала швейная машинка.

Василий поужинал в одиночестве, вышел на веранду, закурил. Покосившийся сарай виднелся в конце огорода.

«Хоть бы калым подвернулся какой», – подумал Василий.

Он зашел в дом, сел на диван.

– Том, я тут подумал, а может, тетке твоей позвоним? Деньжат попросим, а там найду что-нибудь.

– Щас, ага, тетке звонить! Да после того как ты ее здесь отчихвостил, она и разговаривать со мной не будет!

– А чего она лезет? Дармоедом меня назвала. Сама-то, торгашка, всю жизнь людей обманывает! Ладно те, не злись. Ну, поцапались маленько, я уж и забыл. Я-то на нее не обижаюсь... Позвони, Том...

– Не-бу-ду! – отчеканила Тамара, и снова под ее пальцами цветастой лентой двинулась ткань.

Василий подошел к ней сзади, прижался животом к подрагивающей спине жены, положил руки на плечи, а потом начал гладить мягкие повисшие груди. Наклонился и прижался губами к ее макушке. Тамара сидела в той же позе, только более глубоким стало ее дыхание.

– Я пришла!

Тамара вскинулась, стукнув головой Василию по носу и губам. Василий тихо матюкнулся и прижал ладонь к лицу.

– Не было, что ли, тренировки? – Тамара пошла к старшей дочери.

А Василий потирал нос и недовольно смотрел в сторону прихожей.

– Ань, руки мой и иди ужинай. Вась, ты че, посуду со стола сгрести не мог? А накрошил-то...

– Уберешь, – рявкнул из зала Василий.

Старшую дочь Тамара любила гораздо больше младшей. Выйдя замуж, она долго не могла забеременеть, а когда, измученная упреками свекрови в бесплодии, родила крепкую, темноглазую девочку, счастью своему не могла нарадоваться.

Во время своих мытарств с мнимым бесплодием она начала тайком ходить в храм и, вытирая слезы, молиться перед иконой Параскевы Пятницы о том, чтобы Бог дал ей ребеночка. Какому святому молятся в этих случаях, Тамара не знала, просто Параскева находилась в уголке у самого амвона. Обычно здесь никого не было, и Тамара шептала молитвы собственного сочинения или повторяла обрывки акафистов, которые читались на богослужении.

После родов у Тамары было много молока и почти до двух лет она кормила дочку, пока Василий не начал ругаться, что пора от титьки девку отучать. Тогда же Тамара начала дружить с теткой, которая, вырастив двоих сыновей, мечтала о внучке. Сыновья не торопились жениться, а тетка отваживала всех девушек, показывающихся в ее доме, да и прочно сумела вбить в голову сыновьям, что женщину надо искать достойную себя, а не какую попало. Но почему-то все, кто когда-либо находился рядом с Мишкой и Димкой, были «какие попало».

Тетка любила Нюрочку как родную внучку, с удовольствием покупала ей наряды и с каждым днем все больше ненавидела Ваську, который, по ее мнению, был плохим примером для девочки. Не стесняясь, Илона Сергеевна называла его «нахлебником», «дармоедом» и «неудачником».

Василия уволили с обанкротившегося кирпичного завода, который не поделили московские хозяева. Еще два года Василий, бывший начальник отдела сбыта, наблюдал, как из заводских цехов начальство вывезло оборудование, на металлолом был сдан зеленый забор, а потом местные умельцы вытащили с территории завода все, что можно было продать или пристроить в хозяйстве. Поначалу Василий калымил, стоял на очереди в Центре занятости, ходил по предпринимателям, а потом просто начал отсиживаться дома, постепенно оплывая, накапливая лень и безразличие, которые теперь управляли его мыслями, стремлениями и желаниями.

Тамара же, наоборот, видя бедственное положение семьи, помимо работы начала шить болоньевые сумки и фартуки, а затем сдавать их перекупщикам.

Периодически тетка уговаривала Тамару бросить мужа. Семью он не кормит, а только на шее у нее висит. Но Тамара отговаривалась, что он хотя бы не пьет. Тетку Илону это злило, потому что собственный ее муж умер от отравления денатуратом, которым они с друзьями в отсутствие самогона похмелялись в гараже. В конце концов она перестала приезжать к упрямой и бестолковой племяннице и ее еще более бестолковому мужу. Только изредка тетка Илона присылала им посылки с детскими платьями и кофточками и какой-нибудь книгой, в корешок которой засовывала деньги, свернутые тонкой трубочкой. Для этих трубочек у Тамары был даже специальный пинцет. Хотя в остальное время пинцет использовался для выщипывания бровей.

О своей второй беременности Тамара узнала в женской консультации, когда пришла к врачу, подозревая, что у нее снова воспалились придатки. Задержки случались и раньше, поэтому про беременность Тамара даже не подумала. Она почему-то решила, что детей Бог ей больше даст. Одну-то еле-еле выпросила. Вместо воспаления врач определил беременность и гипертонус матки. В больницу Тамара не легла – решила, как Бог даст, – если не будет выкидыша, родит второго ребенка. Но Танька благополучно отсидела в материнском животе ровно восемь месяцев, и накануне дня рождения Тамары с громким криком выбралась наружу.

Поужинав, Аня ушла в комнату, которую они с сестрой делили пополам, а Василий снова подсел к Тамаре.

– То-ом, позвони.

– Да ты че, совсем, что ли? За одну минуту разговора возьмут, как за весь месяц.

– А зачем с ней долго разговаривать-то? Ну скажи, совсем плохо, девчонок одевать надо, трусы вон им покупать с кружевами.

Тамара улыбнулась и хлопнула Василия по плечу:

– Дурак!

– Позвони.

– Ну что я ей скажу? Она отправит меня куда подальше.

– Не отправит. Иди.

Тамара нерешительно подошла к телефону.

– Да набирай, чего боишься? Как школьница прям.

Тамара набрала номер, прижала трубку к уху. Лицо ее сначала побледнело, а потом налилось красноватым оттенком, кончики ушей тоже покраснели. Когда в трубке ответили, она крепко сжала ее рукой так, что побелели костяшки пальцев.

– Привет, теть Илон... Да, мы... Спросить, как здоровье... Давно не приезжали... Ага... хорошо. С тренировки пришла, она бегает.... За город кросс бежала.... Первое место заняла... тоже хорошо учится... Таня? К подружке пошла... да, все хорошо....

Василий жестами показывал Тамаре, что она говорит не то: он складывал руки крест-накрест, вертел пальцем у виска, резал себе ладонью горло, а потом зашипел, как старый уж:

– Плохо все, скажи! Долги задушили... в школу надо...

Но Тамара продолжала краснеть и улыбаться, расхваливая дочерей.

Василий крутился около нее, тихо стучал кулаком себе по голове, пытаясь не выдать свое присутствие тетке, на которую он действовал, как красный перец на козу.

Наконец Тамара сдалась:

– Тяжело, конечно, и в школе собирают, то на ремонт, то на экскурсии... Шью, но мало получается, ткань подорожала. Пока нет... он ищет... ну вы сами знаете, как у нас.... Негде работать.... Да.... Помогает, конечно....

Василий слушал ее разговор и медленно багровел.

«Опять мымра старая заладила: не работает, не работает... Много она знает», – думал он.

Василий начал тыкать пальцем в запястье, показывая, что время идет, и тереть друг об друга большой и указательный пальцы, напоминая жене, что надо попросить денег.

– Говори, что совсем денег нет, спать даже девчонкам не на чем, белье постельное покупать надо.

Он знал страсть тетки Илоны к красивым скатертям, постельному белью и пледам, поэтому решил, что на это она точно денег даст.

Тамара лопотала что-то про белье и постели. Наконец она попрощалась с теткой и положила трубку.

Василий, вытирая выступивший на лбу и висках пот, стоял рядом.

– Ну, из тебя переговорщик, блин. Чего сказала?

– Сказала, что поможет.

У Тамары было ощущение, будто ее заставили пробежаться голышом по улице. Она включила телевизор и уставилась в малаховское «Пусть говорят», пытаясь отделаться от неприятного осад-

ка на душе. Единственное, что ее немного радовало – ожидание помощи от тетки. Она надеялась на денежный перевод. Хотя бы пару тысяч рублей. Про сарай Тамара уже не думала, а прокручивала в уме, что важнее купить дочерям: сменную обувь в школу или осенние куртки.

Василий тоже ожидал денег, тысячи три-четыре: можно купить шпон и бэушные шпалы. Но если у жены это была тихая, светлая надежда, то Василия распаляло злобное нетерпение, заставлявшее его каждый день проверять почтовый ящик.

Наконец, в ящике появилась прямоугольная белая бумажка с черным почтовым штемпелем. Василий надел очки и долго шевелили губами, пока не понял-таки, что извещение было не на перевод, а на посылку. Он бросил бумажку на стол, пошел на веранду, закурил. Оставалось только надеяться, что тетка по старинке вложила деньги в корешок какого-нибудь детектива.

Целый день Василий ходил по дому, не зная, чем заняться. Он помыл за собой посуду, что случалось достаточно редко, вставил новое стекло в форточку на веранде. Проводил Таню в музыкальную школу, хлопнул по заднице Аню, которая, по его мнению, накрасилась, как мартышка.

В половину шестого домой пришла Тамара.

– Прислала тетка все-таки, – помахивая извещением, встретил он ее в пороге. – Только опять посылку, с книжкой, наверное. Мы ж некультурные, книжек не читаем.

– Хватит уже! – оборвала его Тамара. – Прислала, и радуйся! Опять целый день шалберничал?

– Чего орешь? Вон форточку тебе вставил.

Они быстро поужинали и пошли на остановку. До закрытия почты оставался всего час.

В почтовом отделении было душно и тихо. Бурлил компрессор в аквариуме. На стеллажах лежали книги, открытки, шоколад и стиральные порошки, внизу – пухлые тюки с одеялами и подушками. На стекле, отгораживающим работника почты от посетителей, аккуратно были приклеены пакетики с семенами огурца «Тарзан» и редьки «Гейша». На полках застекленного шкафчика расположились салфетки, бумажные платочки и рулоны туалетной бумаги «Сюрприз». Тамара заполнила извещение, и Василий взял коробку, обклеенную синим почтовым скотчем.

Дома они стояли вчетвером вокруг стола с посылкой, и Василий оживленно кромсал скотч.

Из коробки он достал четыре комплекта постельного белья, маникюрный набор, женский спортивный костюм, платье и две шоколадки. Также к посылке прилагался перечень вещей и короткая записка от тетки Илоны: «Томочка! Ты говорила, что девочкам спать не на чем, купила вам постельное белье, бязевое. Анечке взяла спортивный костюм импортный. Тане – платье. И по шоколадке обеим. Василию передай, чтобы он, дармоед, шел работать».

Василий, раздувая ноздри, начал громко сопеть. Тамара отложила записку и залилась громким раскатистым смехом.

– Чего, хохочешь, дура? – заорал Василий. – Денег не могла по-человечески попросить?

– Пап, чего ты кричишь? – испуганно спросила Таня. – Посмотри, платье какое бабушка прислала. У нас таких даже на рынке нет.

– И костюм классный, – отозвалась из соседней комнаты Аня.

Хлопнув дверью, Василий ушел курить...

На следующий день Тамара рассказывала о своей «беде» сослуживицам. Шестой год она работала в отделе кадров Еланского водоканала.

– Я, главное, ей и так, и так: мол, денег нету... Даже спать девчонкам не на чем. Она постельное белье прислала, и смех и грех... Я как раз пошила и нам с Васькой, и девчонкам... Солить теперь простыни буду...

– А может, продать? Хорошее белье?

– Ивановская бязь. Нет, пусть лежит. Анька уже невестится, в приданое положу.

– Да хватит, что ль, – отозвалась начальник отдела. – Какое им сейчас приданое? Это раньше телеги с перинами везли, а сейчас им деньги на Египет или квартиру подавай...

– Да откуда у нас на Египет? – вздохнула Тамара. – Я Ваське всю плешь проела, все равно дома сидит. Ну, хоть не пьет...

– А ты сходи к депутатам, попроси материальную помощь. К одному сходишь, к другому, гляди, и наберешь.

– Толку-то от них? Второй год просим контейнер мусорный поставить на улице...

Однако разговор этот заронил в душе у Тамары еще одну надежду. Как истинная женщина, она никогда не падала духом. Каждый раз, когда становилось совсем туго, в ней появлялось изрядное упорство, заставляющее до последнего торговаться с перекупщиками сумок, продавцами на рынке, подшивать, наставлять то, что приносили «девчонки» с Водоканала. Как ивовый прут, Тамара гнулась, но никогда не ломалась. Вот и сейчас она начала разузнавать, где принимают депутаты, и к какому из них надо обращаться...

2. Подарок

В начале рабочего дня Марина обнаружила, что умудрилась где-то подхватить простуду. Сбегать в аптеку она не могла, потому что депутаты, как назло, шли один за другим. Не успевала она вытереть и припудрить покрасневший нос, как тут же над ней нависал очередной народный избранник и требовал или проекты документов, или план капитального ремонта дорог.

Часам к четырем, наконец, стало тихо. Она заварила себе чаю с лимоном. Разболевшееся горло, а заодно и ее нервы несколько успокоились. Ложечкой Марина достала кусочек лимона, посыпала сахаром, положила в рот... и тут в дверь приемной просунулась голова в черной шапке.

От неожиданности она чуть не подавилась лимоном, а от кисло-сладкого сока рот наполнился слюной, так что у нее не сразу получилось поздороваться с возникшим перед столом мужчиной.

– Здравствуйте, – сказала она, с усилием проглотив лимон. – Что вы хотели?

– А что это вы сразу на меня так смотрите? Вы же не знаете, зачем я пришел? – возмутился нежданный посетитель.

Вероятно, лицо Марины во время быстрого разжевывания и проглатывания лимона показалось ему очень неприветливым. В это же время у нее защипало горло, а глаза начали слезиться. Марина быстро отхлебнула чай, забыв о том, что он еще не остыл.

– Нет, почему у нас в стране такое отношение к людям? – не унимался мужчина. – Думаете, я денег клянчить пришел?

– Я на Вас смотрю так же, как и на других посетителей. По какому вы вопросу?

– У меня вопрос жизни и смерти.

– А поточнее?

– Понимаете, я сломал ногу.

Она еще раз посмотрела на гостя.

– Нет, я еще летом сломал ногу.

– А к нам вы почему обратились?

– Я не мог работать, и у меня накопился долг за газ. Если я не оплачу, хозяева обещали меня выгнать. А у меня там, понимаете, какой-никакой скарб. Собака живет. Тузик.

– Вам нужно обратиться в центр социальной поддержки населения.

– Эт там документы нужно собирать, и помощь через три месяца дадут?

– А вы думаете, что вам здесь сразу помощь дадут?

– Понимаете, я ведь не сам ногу сломал. Мне ее сломали. Меня машина сбила. А знаете, почему? Я в прокуратуру написал о том, что здесь творится. И мне смс-ка пришла с угрозами. Из банка смс-ки шлют. Я у них с карты деньги снял, а они теперь смс-ки шлют. Если я сейчас не заплачу, я могу прийти, а на дверях замки новые. Они хозяева – у-у-у какие. Мне главное деньги им отдать.

– Кому?

– Хозяевам.

– Вам же долг за газ нужно оплатить...

– Нет, они сами оплатят. Мне нужно им деньги отдать.

– А если они деньги возьмут, а не оплатят?

Мужчина задумался.

– Может быть.

– Пишите заявление на материальную помощь, прикладывайте копию квитанции с задолженностью. Список остальных документов перед вами.

– А когда деньги дадут?

– А не могу гарантировать, что вам их дадут. Ваше заявление будет рассмотрено в установленные законом сроки. А по поводу решения я ничего вам сказать не могу.

Он посмотрел на Марину водянистыми светло-голубыми глазами шизофреника, уселся за стол, снял шапку, потер руки и принялся писать.

Через полчаса она решила спросить, не нужна ли ему помощь.

Он пыхтел, ругал сам себя, откидывался на стуле, затем снова склонялся над листом бумаги.

– Я сейчас! – вскочил он со стула.

– Вы куда?

–Лист испортил, схожу новый куплю.

Марина посмотрела на часы. Рабочий день заканчивался через десять минут.

– Я дам вам лист.

– А вам что, бумага бесплатно достается?

Она промолчала. По опыту уже знала, что за вопросом последует выпад, что вы, чиновники, зажрались совсем, а народ нищенствует.

– Напишите в свободной форме. Не нужно много подробностей. Просто обоснуйте, для чего вам необходима помощь.

Мужчина продолжал пыхтеть.

– Год 2004 писать? – наконец, спросил он.

– Пишите 2014-й.

Он отдал заявление, развернулся и ушел.

Марина положила заявление в папку. Закрыла глаза. Голова гудела, в приемной стоял резкий запах пота и немытого тела. Она открыла окно, посмотрела на чай и, сморщившись, понесла кружку в маленькую кухню администрации Еланского района.

Ей скорее хотелось домой, переодеться, улечься на диван и посмотреть какую-нибудь американскую комедию. Лучше про семью, вроде «Один дома» или «Оптом дешевле».

Белая пластиковая дверь выпустила ее на улицу. Охранник курил на пороге, спросил, закрыты ли окна, и пошел ставить кабинет на сигнализацию. Август выдался прохладным, но все равно в воздухе было томительное и пронзительное ожидание чего-то хорошего, что обязательно должно случиться. Именно в августе и начале сентября она чувствовала, что ее переполняет это чувство ожидания, как в детстве, перед днем рождения, когда кажется, что внутри все дрожит. Она впервые болела летом, но и простуду ей было гораздо легче переносить, потому что сам воздух казался теплее и слаще, чем в остальные дни. И только легкий оттенок грусти о том, что прошло и уже никогда не вернется, напоминал ей, что жизнь идет своим чередом. Она не могла уже сосредоточиться, как раньше, на работе. Хотелось знакомиться с новыми людьми, вызванивать старых друзей и устраивать вечеринки a la 90-е с песнями «Руки вверх» и Андрея Губина. Именно в это предосеннее время она бежала из своей квартиры на берег Еланки, смотреть, как за излучиной темной воды скрывалось солнце, а маленькие рыбки стайками плавают у самого берега. Купальный сезон заканчивался, и вода к тому времени становилась прозрачной. Иногда на Еланку спускался густой клочковатый туман. Он полз по реке, белой дымкой обвивал деревья, и Марина представляла, как хорошо было бы стать русалкой, сидеть на ветках и быть хозяйкой этой реки, песчаной отмели, леса.

Уже давно ей хотелось иметь семью, каждый день спешить за ребенком в садик, готовить ужин, а поздно вечером засыпать, положив голову на плечо мужа. По выходным Марина придумывала какое-нибудь новое блюдо, плела из бисера фиалки и маленькие деревья, учила английские слова. Она мечтала быть хорошей женой и матерью, гостеприимной хозяйкой. Но пока не получалось. Не находилось того человека, с которым можно было что-то создавать. Каждый

раз Марина пыталась определить, будет ли очередной бойфренд хорошим мужем. И каждый раз именно это обстоятельство разрушало начинающийся роман. Марина зашла в супермаркет «Столичный», купила куриную грудку, бананы, апельсиновый сок. Ей хотелось куриного бульона с сухариками. У кассы она столкнулась с начальником финансового отдела, который вез перед собой полную тележку с продуктами.

– Домой, Мариш?

– Да. Пора уже. А то еще кто-нибудь с жалобой придет.

– А, – засмеялся он. – Привыкла бы уже. Тебе представление из прокуратуры приходило уже?

– Нет.

– Принесешь, как придет. Там опять по тарифам калькуляцию требуют.

– Так мы же не делаем калькуляцию? У нас же тарифы только для домов, которые не выбрали способ управления...

– Это я им уже объяснял. Ладно, фиг с ней, с работой. Ты куда, домой?

– Ага.

– Давай подброшу.

Юрий Михайлович пропустил ее вперед. Расплатившись, она смотрела, как все содержимое его корзины переходит в оранжевые фирменные пакеты гипермаркета.

Они вышли из магазина, сели в его старенькую «тойоту».

– Чем вечером планируешь заниматься? – спросил Юрий Михайлович.

– Лечиться, – улыбнулась она. – Простыла где-то.

– Нечего под кондиционером сидеть. Надо тебе завтра коньячку принести, а?

– Да кто ж мне позволит на работе?

– А кого мы спрашивать будем?

Юрий Михайлович остановил машину.

– Приехали. Так, ты давай лечись. На вот, – он достал коробку конфет. – С коньяком. Конфеты-то тебе можно?

– Можно... Спасибо.

– Давай-давай, завтра увидимся...

Она зашла в квартиру. Маленький подарок поднял ей настроение. С Юрием Михайловичем у нее всегда были хорошие отношения.

На ночь она выпила две таблетки парацетамола и пять аскорбинок – верное средству от простуды, которое давно ставило ее на ноги. Так лечилась мама.

От матери Марине достались жесткие густые волосы, маленький аккуратный подбородок, отличный музыкальный слух, умение вылечиваться от простуды за одну ночь и недоверие банкам. Деньги Марина, по материнскому обычаю, хранила в стопке постельного белья.

Утром она стояла перед зеркалом, красила ресницы, аккуратно наносила румяна на щеки. Сегодня Марине захотелось быть яркой. Она выбрала голубое платье с тонким плетеным поясом и туфли на шпильках.

– Чего опаздываешь? – спросил ее Юрий Михайлович.

– Автобус долго ехал.

– Как самочувствие?

– Намного лучше, спасибо.

– Не, ну если ты после конфет на десять минут опоздала... а если б коньяку налил, ты бы к обеду пришла?

– Я коньяк не пью. Только белое вино.

– Договорились.

– На что?

– На белое вино, – он подмигнул и вышел из кабинета.

Марина, улыбаясь, села за стол и включила компьютер. День шел неторопливо и спокойно: посетителей не было. После обеда она доделала отчеты по обращениям граждан, разложила по местам правовые акты, а затем стала читать новости.

– Работаешь, прямо головы не поднимаешь!

Юрий Михайлович стоял перед столом.

– Документы примешь?

– Давайте.

Марина поставила штампик и расписалась.

– Тихо у тебя сегодня? – спросил он.

– Слава богу. Бумажки свои хотя бы разгребла. У вас там что нового?

– Все тоже.

– Я уже засыпать начала...

– Я б тоже сейчас поспал, – Юрий Михайлович прищурился. – Это у тебя тут диванчик есть... Мне только головой на отчеты за третий квартал прилечь можно.

– А что? Ложитесь, приемная у меня закрывается. Скажем, технический перерыв.

– Одному неинтересно.

Марина промолчала.

– Темно у тебя. Лампу дневного света на стол надо.

– Я говорила шефу. Эта когда аукцион объявлять будут...

Юрий Михайлович вышел, а через полчаса вернулся с серой настольной лампой.

– Так пойдет? – он поворачивал лампу правее и левее.

Марина смотрела на его загорелые руки, дорогие часы, золотой объемный перстень, ухоженные ногти.

– Спасибо, – она улыбнулась.

– На здоровье. Обращайся, помогу, если что.

Марина уже прикинула, получилось бы у нее что-нибудь с Юрием Михайловичем, но сразу же поругала себя за эту мысль. Юрий Михайлович был женат.

3. Купидоны с жопами

Как обычно, за полчаса до начала приема в коридоре начали собираться люди. Марина давно заметила, что чем важнее для самого заявителя была проблема, тем раньше он приходил. К двум часам шум усилился, значит, на приеме у депутата будет много народу, а во время ожидания посетители активно обсуждают жизнь в городе. Кто сегодня принимает? Депутат Семенов, кажется.

Марина выглянула за дверь и попросила, чтобы разговаривали потише. Но через пять минут гомон возобновился.

До начала приема оставалось пять минут, а депутата Семенова еще не было.

– Евгений Петрович, – спрашивала его Марина по телефону. – Вас люди ждут. Вы про прием не забыли?

– Сейчас, сейчас! Уже подъезжаю. Много там их?

– Человек шесть.

– Щас буду.

Семенов зашел в приемную, раскрасневшийся, затянутый в серый костюм.

– Ключи где от кабинета?

– У меня. Там сегодня совещание селекторное проходило.

– Знаю, знаю. Я только из командировки.

Семенов взял ключи. В коридоре стало тихо. Люди ждали своей очереди. Так было всегда: в минуты ожидания они благоговейно сидели в коридоре, надеялись, думали, как лучше им рассказать о своей беде. В дверях это ожидание еще сохранялось, но как только человек оказывался за пределами госучреждения, он начинал тут же ругать власть, которая хапает, но для народа ничего не делает. В чем-то жители Еланска, маленького городишки с дефицитным бюджетом, были правы. Но сколько бы не старалась эта самая власть выправить положение города, она всегда была плохая. Марина знала, что так работает система, и если ты не можешь стать частью системы, то тебя выбросит из нее. Быстрые изменения губительны, а те, которые возможны – не видны.

– Мариш, ты можешь, заявления у граждан принять? Мне срочно на работу ехать надо. А я заеду и заберу. Ок? – не дожидаясь ответа, Семенов выскочил за дверь.

– Давайте заявления.

Посетители начали по очереди подходить к ее столу.

– Девушка, вы мне на копии распишитесь, – говорила дама в огромных размеров шляпе. – Я делопроизводство знаю.

– В получении распишусь, но без штампа. Вы же только к депутату своему обращаетесь, а не в администрацию.

– А вы не знаете, когда щебень привезут? – спрашивала другая, в синем цветастом платье. – А то фундамент размывать начало.

– Я не знаю, звоните Евгению Петровичу.

– А ответ когда придет, вы мне позвоните?

– Девушка, а я вот еще хотела узнать: у меня соседи мусор в овраг сбрасывают, мне куда обращаться?

– А мне сказали, что вы список документов дадите на материальную помощь.

– Телефон запишите свой....

Марина уже не могла определить, от кого именно шел тот или иной вопрос. Она отвечала всем, обращаясь то к одному, то к другому. Все эти люди слились для нее в один образ заявителя. Они перебивали друг друга, спорили, обращались с вопросом уже не конкретно к ней – они обращались к чиновнику – некоему образу, который в данный момент олицетворяла Марина.

Больше всего ей запомнилась женщина в сером вязаном костюме, которая громко возмущалась маленькой зарплатой и закрытием кирпичного завода. У нее были темные каштановые волосы, забранные «крабом» на затылке. Марина подумала, что если бы эта женщина покрасилась в более темный оттенок и выщипала густые брови, то ее лицо имело бы даже благородный вид. У женщины был тонкий с горбинкой нос и небольшие губы. Лицо ее выглядело очень аккуратным, хотя морщинки и темные круги под глазами подчеркивали его изможденность. Глаза блестели неестественно. Она увидела, что Марина пристально на нее смотрит, и подошла ближе:

– Девушка, а на сколько можно рассчитывать?

– Так. Подождите... у вас материальная помощь... Документы собирайте и приносите. А сумму депутат ваш определит.

– Документы я принесу. Но понимаете, у меня очень сложная ситуация. Муж не работает, сами знаете, кирпичный завод закрылся, а людям семьи кормить надо. А он у меня начальником отдела сбыта был. А куда ему сейчас? Молодые и то устроиться не могут. Денег совсем нет, нищета полная. Детям даже спать не на чем. Сарай единственный, и тот повалился. Соседи жалуются, а что мы можем? Я одна работаю. Может, как-нибудь побыстрее, а?

– Я Вас прекрасно понимаю, но лично я вам ничем помочь не могу. Депутату вашему я все передам.

– Девушка, а можно мы подписи соберем? По этому переулку дети в школу ходят, а? – перебил ее пожилой мужчина.

– Так, все, кто заявления оставил, можете быть свободны. Мне нужно работать. Депутат ваши обращения рассмотрит и сообщит вам о результате. Всего доброго.

– До свидания! Спасибо.

– До свидания!

Посетители вышли. Больше всего на этой работе Марина уставала от общения с людьми.

После обеда появился депутат Семенов.

– Ой, Марин, выручила. Так, что там у нас?

– Вот, обращение по щебенке. Дорогу подсыпать нужно. Это на соседей жалоба. Это по освещению. Это ремонт домового ввода. А это на материальную помощь.

– А на что просят? Лечение?

– Я не поняла. Она много говорила что-то: сарай у нее повалился, детям спать не на чем... В связи с тяжелым материальным положением пойдет... Хотя смотря какие справки о доходах принесет... А то тут одна приносила, зарплата больше моей, а туда же.

– Привет, пипл!

В приемную зашел депутат по четвертому избирательному округу Павлов.

– Здравствуйте, Алексей Николаевич, – отчеканила Марина.

– Привет, Марин! Чего хорошего скажешь?

– Обзванивать вас скоро буду на заседание...

– А меня не будет. Я в командировке в Москве до двадцать пятого...

Алексей Николаевич являлся одним из немногих депутатов, кого она искренне не любила. Директор трикотажной фабрики, он был одним из самых жадных людей в городе. Марина предполагала, что он трусит перед избирателями, поэтому минимум раз в месяц меняет номер телефона.

– Здорово, Петрович! Как оно?

– Нормально. Сам как?

– Пипец, вообще. Посоветовали тут специалиста, московский дизайнерский колледж закончил... Заказал ему линию новую... Хотел к 14 февраля запустить... Постельное белье... Сердечки, ангелочки... А он мало того что хрень нарисовал, так еще и отдал в производственный. У меня теперь партия белья постельного вышла... Щас покажу...

Он достал из кейса сложенный кусок ткани.

– Вот. Гляньте-ка!

Марина и Евгений Петрович посмотрели на простыню. На розовом фоне были изображены ангелочки с желтыми кудряшками и маленькими крылышками. Единственным характерным отличием ангелов были непомерно большие зады.

– Это куда такие жопы нарисовал? – ругался Павлов. – Так, уродец этакий, споил мне полсмены. Куда мне теперь этих купидонов толстожопых девать?

– Да, парень, похоже, любит нехилые задницы, – протянул Семенов. – Ты жену его не видел? Мож, с нее списывал?

– Какую, на хрен, жену? Сопляк совсем.

– Вы его уволили? – спросила Марина.

– Уволил? – заорал Павлов. – По морде надавал, да выкинул.

– Так ты не говори никому, что брак – протянул Семенов. – Продавай и все. Купят все равно...

– Пробовали уже. Несколько образцов в магазин выставил, так люди разворачивают, ржут, а брать не хотят!

– Здорово! – в приемную вошел Юрий Михайлович. – Че это у вас за консилиум? О! Вот это жопы! Это чего, постмодерн?

– Убытков это до едрени фени, а не постмодерн. Партию целую забраковал...

Юрий Михайлович подошел ближе к столу и начал рассматривать простыню. Одной рукой он приобнял Марину за талию.

– А сплавить не пробовал? Там больница районная аукцион объявила. А?

– Не думал еще.

– Ну пойдем, подумаем ко мне в кабинет. На рюмку чая.

– Да я за рулем.

– Да я тоже на работе.

– Пока, Марин, – попрощался Павлов.

Он засунул простыню обратно в кейс и пошел вслед за Юрием Михайловичем.

Марине всегда нравилось умение Юрия Михайловича решать все вопросы. К тому же он очень выигрышно выглядел среди растерянных депутатов. А вообще так ему и надо, этому Павлову.

Семенов тоже попрощался и, забрав заявления, уехал. В приемной зазвонил телефон, и минут пятнадцать Марина объясняла какой-то женщине, что дорогу около ее дома асфальтировать в этом году не будут, потому что в бюджете, как обычно, не хватает денег.

– Марин, хочешь презент? – в приемную зашел улыбающийся Павлов.

– Хочу.

– На вот, – он плюхнул ей на стол розовых ангелов и, помахав рукой, вышел.

Марина вздохнула, недобро глянула на подарок и положила его в шкаф. Сгодится на что-нибудь. В коридоре было тихо, и она снова начала рассматривать фотографии турецкой Антальи. Уже три месяца она копила деньги на первую в жизни заграничную поездку.

4. Секрет

Тамара вышла из приемной депутата в приподнятом настроении. В этот раз прибедняться у нее получилось более естественно, чем в разговоре с теткой Илоной. Краснощекий депутат, так она про себя его определила, внимательно ее слушал, даже посочувствовал. Сказал, что может доски привезти для сарая. Про дочек спрашивал, сказал, что у него тоже две дочки есть. А сам сытый какой, как бабушка говорила, кровь с молоком.

И девушка в приемной тоже ее долго рассматривала. Тамаре показалось, что она ее жалела. И костюм серый к делу пришелся, а то уже выбросить собиралась. Юбка-то как растянулась, и пиджак весь в катышках. Когда Тамара увидела свое отражение в зеркале, то чуть не рассмеялась – так она была похожа в этом костюме на старуху Шапокляк.

Но чего для важного дела не сделаешь.

Она шла обратно на работу и снова надеялась, что получит хотя бы какую-нибудь помощь от депутата. Сначала ей было стыдно просить у чужого человека деньги, а потом она настолько разыгралась, что даже немножко гордилась тем, что получилось войти в роль несчастной женщины. Даже выдавила из себя пару слезинок. Кажется, на депутата это подействовало.

Ее снова бросило в жар. Приливы случались все чаще. Ранний климакс не давал покоя: Тамара то раздражалась по любому поводу, то, наоборот, становилась плаксивой и мягкой. Но это должно было когда-нибудь закончиться, а потом можно будет уже не предохраняться и не считать дни. Однако ее беспокоила длительная задержка. Наверное, все-таки придется идти в женскую консультацию. Хотя и не хочется вовсе.

– Климакс замучил, – жаловалась она в обеденный перерыв Наде, диспетчеру и близкой подруге. – То в жар бросает, то тошнит. И задержка две недели. Наверное, все уже, больше не будет.

– А может там не задержка, а?

– Хватит тебе, быть не может. Мне уж в бабки скоро собираться...

– Тебе лет сколько? В бабки она собралась...

Тамара решила подождать еще недельку, а потом сходить к врачу.

На выходных она затеяла генеральную уборку, и подняв дочек пораньше, отправила обеих чистить дорожки и ковер. Василий разбирал веранду. Сама Тамара полезла вытирать пыль на шкафу и карнизах. Но как только она встала на табуретку и потянулась к шкафу, у нее потемнело в глазах, и она едва не свалилась на пол. Затем Тамару вырвало. Она стояла в кухне, размышляя, к чему бы это. Отравиться она ничем не могла. Беременность тоже исключалась. Когда же это было последний раз? Почти месяц назад. Хотя гормоны она уже не пила. Но быть ничего не должно, и врач сказала, что климакс начался.

Подметая пол, Тамара пыталась найти аргументы против беременности. Возраст, климакс, низкая, как ее там, фертильность, что ли...

В окно постучали. От неожиданности Тамара вздрогнула и уронила совок с мусором.

– Вась! К тебе, наверное, – крикнула она в открытую дверь веранды. – В окно стучат.

Василий спустился с крыльца.

– Том, подойди!

«Кого ж там принесло еще?» – подумала со злостью Тамара.

Около калитки вертелся худощавый парень в темных очках.

– Тамара Николаевна? – спросил он.

– Да...

– Помощник депутата Семенова, – представился парень и побежал к черной иномарке, стоящей на обочине.

Парень открыл дверь, и из машины вышел тот самый краснощекий депутат, у которого Тамара была на приеме. Широко улыбаясь, он пошел к Тамаре, а парень быстро достал что-то из багажника и подал ему.

– Здравствуйте! – сказал Семенов, хотя жать руку Василию не стал. – Тамара Николаевна, помощь вам привез. Вот. Возьмите.

Семенов отдал Василию, у которого от удивления вытянулось лицо, несколько сложенных комплектов постельного белья.

– С досками пока помочь не могу. Сами понимаете, обращений много...

В это время парень с разных точек фотографировал депутата, Тамару, Василия с постельным бельем. Тамара прикрывалась от него рукой, но парень то присаживался, то поднимал фотоаппарат выше головы, пытаясь сделать отчетливые снимки.

– Ну, всего доброго, – попрощался Семенов.

– До свидания, спасибо.

Внутри у нее все ухнуло. Ни досок, ни денег. Опять это белье проклятое.

– Том, это кто такой был? – спрашивал Василий.

– Депутат наш. Я на прием ходила, просила помощь материальную, а он привез вот, – от досады Тамара чуть не плакала.

Василий нацепил очки и стал рассматривать комплекты.

– Ты гляди, какие щас рисунки делают. Ангелы вроде, а жопы-то, жопы! Прям безобразие какое-то!

Тамара мельком глянула на белье и зашла обратно в дом.

Вечером она сходила в аптеку и, заперевшись в дворовом туалете, сделала тест на беременность. К ее ужасу, на тесте показались две малиновые полоски. Сначала Тамара решила, что тест врет. Но на следующее утро второй тест показал то же самое.

Василию она ничего не сказала, а только позвонила Наде.

– Вот это подарочек вам на старость! Делать что будешь? – зазвенел в трубке Надеждин голос.

– На аборт записываться, что же еще... Только это секрет. Смотри не сболтни никому.

5. Манька-ручеек

Оставшись дома один, Василий думал, как бы ему заработать. Тамара все реже упрекала его за безделье, но последняя история с постельным бельем заставила Василия почувствовать стыд. За то, что его жене пришлось клянчить деньги у красномордого мужика, а старая мымра опять назвала его дармоедом.

Он смотрел на постельное белье, лежащее на комоде. Подачки. От депутата, тетки... Эх, раньше хоть в комиссионный можно было сдать, а теперь куда его?

На рынке стоять с ним не будешь – мало слишком. Да и за место заплатишь больше, чем оно стоит. Можно попробовать сдать в магазин при трикотажной фабрике. Хотя бы в полцены.

Василий оделся и пошел на остановку.

Магазинчик «Еланский трикотаж» жался к фабрике, как бы извиняясь за свой выгоревший на солнце сайдинг перед массивными кирпичными стенами, возведенными в начале прошлого века. Фабрика была местной достопримечательностью, и Павлов старался держать ее фасад в порядочном виде. Хотя кое-где лепнина утратила растительные элементы, их заменили цементные куски, призванные напоминать о былой красоте. Собственно, Еланск никогда не отличался зажиточностью и архитектурным разнообразием.

Василий зашел в магазин. Огляделся. Стеллажи были забиты тканью, постельным бельем, трусами и майкам, на вешалках висели женские ночные сорочки.

– Показать вам что-нибудь? – услышал он голос продавца.

К Василию подошла женщина небольшого роста в синем фартуке. Такие шила для продавцов его жена.

Василий вспоминал, где видел это лицо с выступающими скулами и серыми глазами, поволчьи пронзительным взглядом и тонкими губами. Лицо это в то же время не было злым, а скорее суровым, от серых глаз в разные стороны рассыпались мелкие морщинки, курносый нос периодически подшмыгивал, а тонкие губы приподнимала едва заметная улыбка. Женщина была примерного одного с ним возраста. Она тоже смотрела на него, пытаясь определить, откуда ей знаком этот толстый мужик с бычьей шеей и слипшимися от пота волосами на висках.

– Васька, ты, што ли? – неуверенно спросила она.

– Ага, – расплылся в улыбке Василий. – Мань, а я думал, ты в поселке так и осталась. Как парнишка-то твой? А здесь чего делаешь?

– Ну, парнишка-то уже жениться собирается. Через месяц свадьбу играть будем. А в поселке чего оставаться? Там одни бабки с дедами, три двора и две собаки... Ты-то как? Раздобрел...

– Да потихоньку. Жена у меня, две девки... Одна спортсменка, места везде занимает... С работой никак пока...

Рядом с Манькой у него вдруг заныло, застучало внутри. Он вспомнил поселок «Солнечный», где вместе с дедом Макаром они ходили с бреднем за раками и пасли коров. Мать выискивала его на лугу и гнала домой, а Васютка, ставший почти бронзовым от солнца, убегал от нее и лежал, уткнувшись лицом в душистую траву, чтобы мать его не нашла.

– А Ивашовы тоже уехали? – спросил он.

– И Ивашовы, и Турчины, и эти, как их, Козленковы... Ивашовы где-то в Оренбургской области, старший Турчинов в Москве на заработках, а Козленковы здесь где-то вроде. Сын у них в училище военное поступил... В прошлом году Маринка Белоусова умерла. Знаешь? Рак горла. Так вот. Живем, Вась, живем. Ты чего пришел-то? Ткань, белье постельное, трикотаж? Сорочки женские есть, халаты.

– Белье постельное почем продаете?

– Тебе какое нужно? Есть комплекты бязевые, есть хлопок. Двухспалки, полуторки. А вот новые, смотри с рисунком.

Манька развернула перед ним пододеяльник с тремя большими тиграми.

Василий хмыкнул.

– И сколько берете за эту красоту?

– Тыща.

Василий постоял секунду, но, наконец, решился. Тем более на его удачу здесь работала Манька.

– Слуш, Мань, дело есть. В общем, комплекты постельного белья продать надо. Я тебе сдавать буду, а ты тридцать процентов себе бери с каждого. За тыщу продашь – триста рублей твои.

– А белье откуда?

– Да какая тебе разница?

– Так, Васька, говори давай: ворованное? Или из дома вытащил?

Василий обиделся.

– Ты чего, меня не знаешь, что ли? Когда это я воровал? Томка, жена моя, нашила на продажу, а не берет никто. И депутат наш помощь привез – постельным бельем. А мне его куда девать? Хоть продам...

Манька пристально на него посмотрела. Она заранее знала, что Василий не врет. Точнее, ей просто очень хотелось верить, что Василий не врет. Ведь из одного поселка.

– Ладно, завтра приноси. Посмотрим, что у тебя там. Только если фуфло какое-нибудь китайское, даже и брать не буду. Мне за такие дела тут голову снимут.

Василий попрощался с Манькой. По дороге он вспоминал прозвище, которым Маньку наградили в поселке. То ли одуванчик, то ли паровозик... Ручеек! Да, раньше ее все звали Манька-ручеек.

В поселок Манька вместе с мужем переехала из какого-то городка под Воронежем. Они поселились в старом доме, который после смерти бабки Матрехи стоял с забитыми окнами. Забор около него давно повалился и открыл на обозрение сельчан заросли дурь-травы и цыганки, в которых копошились куры, стрекотали кузнечики и временами дрыхнул Витька-алкаш.

Через полгода Манькин муж бесследно из поселка исчез, зато у нее самой появился тугой, круглый живот. «Че, Манька, арбуз проглотила? – спрашивали ее соседки при каждой встрече. – Мужик-то твой совсем сбежал, что ли?»

Когда подошел срок родов, боль внизу живота заставила Маньку звонить в «скорую». Иногда она подумывала рожать дома – чтобы не приставали к ней со шприцами, а еще хуже – с расспросами. Но в последний момент Манька испугалась, что погубит ребенка, который был для нее единственным родным существом на целом свете. Стыдно было ей говорить, что мужик ее вернулся обратно к первой жене. Мужем он назывался ровно два месяца, пока она покупала дом с повалившимся забором, пока кормила его, не спрашивая получку, пока не сказала, опустив глаза, что у них будет ребенок.

Она шаталась по комнате взад-вперед, придерживая живот руками. Терла поясницу, заглядывала в баул с вещами. Не хотелось ей в больницу, ох, как не хотелось. Боль становилась сильнее, заставляла останавливаться, хвататься руками за подоконник, спинку кресла, край стола. Манька начала бояться, что «скорая» так и не приедет, и рожать ей придется на единственном диване. Она позвонила поселковому фельдшеру, и через десять минут в доме сидели еще три бабы: фельдшерица и две Манькины соседки. В доме стало неуютно. Но тошно Маньке было оттого, что ей жутко хотелось в туалет. И каждый раз, когда она пыталась пробраться к ведру, стоявшему в сенях, с ней кто-нибудь да собирался идти. Как сказать надоедливым бабам, куда ей надо, Манька никак не могла решить. «Поссать» – слишком грубо, «пописить» – как-то по-детски. В итоге, когда фельдшерица спросила: «Ты чего мечешься? Куда опять-то собралась?», Манька, набравшись, храбрости ответила: «Я пожурчать хочу». Бабы закатились со смеху, а Манька навсегда получила к своему имени приложение «ручеек». Наконец, приехала «скорая». Через шесть с половиной часов Манька-ручеек родила мальчишку на четыре килограмма триста граммов, причем ни разу не порвавшись. Бабы в поселке сразу закрыли рты, почуяв наконец, что Маньку просто так не проймешь.

На следующий день Василий снова пришел в магазин. Манька показывала покупательнице халаты. Василий ходил мимо прилавков, разглядывая разноцветные семейные трусы со слонами и зебрами. Когда покупательница ушла, он вывалил перед Манькой постельное белье.

– Привет, вот. Принес.

Манька начала разглядывать белье.

–Запакованное даже... Это не нашей фабрики. Хорошее, бязевое. Так, а это у тебя откуда? – она показал на розовый комплект с ангелами.

– Я ж тебе говорю, депутат привез. Помощь.

– Эту партию наш директор забраковал. У меня под прилавком таких десяток лежит. Не берет никто. Слушай, здесь торговать им я не буду. Но у меня подруга с мужем по деревням ездят – кастрюли, ведра возят. Согласились и белье постельное продавать. У тебя все или еще есть?

– Жена шить может, если пойдет.

– Я у себя тоже под реализацию взять могу. Так. По восемьсот продаем. Сто рублей с каждого комплекта им, двести мне, а остальное – твое.

Василий прикинул, сколько получится. Маловато. Но хотя бы так.

– Завтра поедут в Семеновку. Телефон мне запиши свой.

Василий написал на бумажке пятизначный номер.

– А сотового нет что ли? Деревня...

Василий посмотрел на Маньку. «Вот баба, нигде не пропадет!»

– Мань, ты только после девяти звони. Пока своим говорить не буду. А то как в анекдоте: «Напали, деньги отобрали. – А ты их в лицо запомнил? – А чего их запоминать? Жена и теща!» А у меня жена и дочки...

Манька улыбнулась.

– Иди уж! Только с ангелами этими не знаю, что делать... Хотя, может, в деревне купит кто...

Довольный Василий пошел домой. У него была уверенность, что дело выгорит. Он думал, как бы уговорить Тамару шить не только сумки, но и постельное белье. Жена ведь после этой истории с теткой и депутатом даже слышать про простыни с пододеяльниками не захочет...

6. Юбилей

В пятницу Елене Викторовне, главному бухгалтеру районной администрации, исполнялось 50 лет. Марина раскладывала на тарелки ветчину и сыр, секретари резали колбасу, укладывали красную рыбу на бутерброды с маслом, протирали рюмки и бокалы. Стол решили накрыть в конференц-зале, чтобы все уместились.

– А меня покормите? – спросил Юрий Михайлович.

Пританцовывая, он подошел к Марине. Она отрезала маленький кусочек ветчины и положила ему в рот.

За столом было тесно.

– Ты у нас белое вино пьешь? – проурчал Юрий Михайлович.

Он налил Марине вина и уселся рядом. После официальной части секретарей отправили за коньяком и водкой, а Юрий Михайлович начал рассказывать анекдоты, поглаживая Марине коленку. После рабочей недели вино долго не имело на нее никакого действия, и только к вечеру Марина почувствовала легкую расслабленность. Рядом с Юрием Михайловичем ей было хорошо, он ей нравился, и она перестала давно бороться с этим чувством. Легкий флирт на работе поднимал ей настроение, а его подарки всегда оказывались кстати.

Сейчас она чувствовала еще и возбуждение, потому что с коленки Юрий Михайлович давно перешел ей под юбку и как бы случайно задевал краешек трусов.

– Товарищ Сорокин, налейте Вы даме водки! Чего она у вас полбокала вина уже полчаса тянет? – закричал им с другого конца стола кадровик.

Марина запротестовала.

– Не-не, я мешать не буду!

– Да хватит тебе, – сказал ей в самое ухо Юрий Михайлович.

Он налил ей водки и на вилке поднес ко рту маринованный шампиньон.

– Ну, за вас, Елена Викторовна, – скомандовал кадровик, и все разом выпили за здоровье и финансовое благополучие главного бухгалтера.

Потом выпили еще раз, и еще.

После водки Марину затошнило, но у нее не было сил даже выйти из-за стола. Как булка, размокшая в молоке, она развалилась на стуле и смотрела сонными глазами на окружающих. Ей было все равно, что все они видят, как Юрий Михайлович целует ей мочку уха и обнимает. Так же безвольно она пошла за ним в его кабинет, где, прижав к столу, он быстро стянул с нее трусы и расстегнул блузку.

Марина пыталась сказать: «Не надо!», помня о том, что он был женат, но язык плохо слушался, а возбуждение совершенно лишило ее силы воли. Она запрокинула голову назад и тут же ее снова начало тошнить. Она подалась вперед, но голова все равно кружилась, а тошнота только усиливалась. Ей было уже все равно, что делает Юрий Михайлович, который до боли сжимал одной рукой ее грудь и сопел: «Ты моя сладкая!»

Как все закончилось, Марина не помнила. Когда ей стало немного легче, Юрий Михайлович уже сажал ее в такси. Головокружение сменилось сильной головной болью. Она ерзала в мокрых трусах на сиденье и пыталась сдержать тошноту. Зайдя в квартиру, она быстро сняла всю одежду и пошла в душ. Ночью ее рвало, а утром она проснулась от того, что сильно хотелось пить. Слава богу, что не нужно было идти на работу.

Весь день она пролежала на диване. Желудок и голова, казалось, разрывались на части. Как отнестись к тому, что случилось, Марина пока не решила. Она боялась позвонить кому-нибудь из

коллег, потому что наверняка все уже обсудили, что она напилась и переспала с «главным фиником». Юрий Михайлович тоже ни разу ей не позвонил, и даже не спросил, как она себя чувствует.

Флирт был приятным дополнением дня, а теперь ему на смену пришли стыд и унижение.

В понедельник Марина быстро прошла в приемную. Все было как обычно, и никто, казалось, ничего не знал. Так оно, собственно, и было. На счастье Марины, во время того, как Юрий Михайлович увел ее из зала, поздравить бухгалтера зашли депутаты, и про них с Сорокиным все быстро забыли. Юрий Михайлович вернулся один, а остальные видели, что Марина уехала на такси домой.

Но все равно Марина заглядывала в лицо каждому вошедшему, пытаясь определись, знает или нет. Все утро она ждала Юрия Михайловича. Но он не заходил, хотя был на работе. Они столкнулись в коридоре в обед.

– Привет, – улыбнулся он. – Нормально доехала? Голова сильно болела?

– Все нормально, – ответила она.

– Отлично, – ответил он. – Ну, унесло тебя... еле до такси дотащил.

Юрий Васильевич язвительно улыбнулся и спустился по лестнице на первый этаж. Марина посмотрела ему вслед. Унижение медленно вползало в нее и отравляло, словно маленький червеобразный паразит на индийском курорте.

«Хватит уже надумывать, – уговаривала себя Марина. – Я одинокая свободная женщина. Сплю, с кем хочу. И какая разница, что он женатик? Эта его жена пусть беспокоится». С Юрием Михайловичем она старалась общаться как можно меньше, хотя видеть его приходилось каждый день. По рабочим вопросам она разговаривала с ним деланным металлическим голосом, а его это, как будто, только веселило, и мерзкое насмешливое выражение не сползало с его лица.

Отвлечься все же получилось, потому что работы прибавилось вдвое: к началу осени активизировать местные жалобщики, а подготовка к отопительному сезону поставила на ноги всю администрацию.

Только в первых числах октября случайно выпавший из ежедневника календарик напомнил ей, что неприятная история с Сорокиным еще не окончена. Марина рассматривала ровные ряды красных крестиков – критические дни она всегда отмечала в календарике, и с ужасом понимала, что сентябрь там никак отмечен не был.

7. Будет сын

Манька-ручеек позвонила Василию уже на следующий день.

– Ну, Васька, ты прям этот, как его, талисман! Белье, которое принес, за день разлетелось! Даже с ангелами расхватали все. У тебя еще есть чего-нибудь?

– Два комплекта осталось.

– Это мало. А жена не нашила пока ничего? А то они послезавтра в Светлое поедут.

Василий замялся. Тамаре он еще ничего не сказал.

– Нет, она на работе сейчас допоздна задерживается. Может к следующей неделе?

– Сам шить умеешь?

– Я?! – конечно, Василий считал шитье делом исключительно женским.

– А чего? Строчить там немного, а оверлок у меня есть. У нас ткани сейчас остатки продают по себестоимости почти. Вот и бизнес с тобой сделаем: я раскрою, а ты сострочишь. Я бы и сама, только глаза уже не те. И тебе заработок, а?

Уверенный голос и деловой тон Маньки заставили Василия задуматься.

– Ты че там, умер что ли? – услышал он в трубке. – Шить будешь или нет?

– Мань, я шить-то не умею.

– А, беда какая! – засмеялась Манька. – Научу. Деньги забери.

Василий попрощался и пообещал прийти за деньгами после обеда. Шить ему не хотелось, но быстрый и легкий заработок ненадолго вернул ему желание действовать.

Тамаре и дочерям он решил пока ничего не говорить. Деньги положил в заначку.

– Чего это ты сегодня такой довольный? – спросила жена, которая сама в последнее время раздражалась по мелочам.

– Тамар, тебя не поймешь: злой – плохо, довольный – тоже...

Тамара бросила полотенце на стол и ушла в спальню.

«Злится на что-то», – думал Василий.

Он лег уже за полночь: все прикидывал, пойдет дело или нет, и сможет ли он освоить шитье. Что да как, он хорошо представлял, потому что не раз чинил Тамарину швейную машинку. Но все-таки на продажу...

Полная луна стояла над крышей их дома. Окно в спальне не было занавешено до конца, и Василий разглядывал жену, лежащую к нему спиной. Тамара практически не поправилась, только более плавной стала линия округлившихся бедер. Василий разделся и лег рядом.

– Том, спишь? – шепотом спросил он.

Тамара не ответила. Он поцеловал ее в плечо, а затем потянул край сорочки вверх.

Жена повернулась к нему.

– Мне вставать рано. Отстань!

– Том, ты чего рычишь всю неделю? – обиделся Василий. – Это не так, то не сяк.

– Беременная я, понял?

– Как это беременная? А что, еще можем, да?

– Можем, можем... В следующий четверг на аборт записываться пойду.

– Том, а может не надо?

– Чего не надо? Чего не надо? И так с копейки на копейку перебиваемся. Сколько без работы сидишь? Рот еще один не потянем.

Тамара отвернулась от него и бесшумно заплакала. Василий лег на спину, заложил руки за голову. От утреннего благодушия у него не осталось и следа. Радость заработка сменилось горькой досадой на себя, жену и их неспокойную жизнь.

Тамара плакала от безысходности. Она прекрасно понимала, что содержать третьего ребенка они не смогут. Последняя история с постельным бельем сильно пошатнула ее уверенность в себе. Было стыдно, что пришлось просить. Раньше она никогда не опускалась до этого. Зарабатывала, отказывала себе в чем-то, но не просила. Незачем было ходить к депутату, звонить тетке. Уж лучше бы, как есть. Она привыкла обходиться без бальзамов для волос, поездок с коллегами на турбазу, без шубы и дорогой обуви... Но аборт был не просто жестокой необходимостью. Если бы дело касалось только ее самой, она перенесла бы любые ограничения. Но внутри нее жил ребенок, от которого необходимо было избавиться.

Утром Василий позвонил Маньке и договорился, что придет к ней ближе к трем.

– Пришел? – обрадовалась Манька. – У меня заказ на следующую неделю, так что, хошь не хошь, а белье давай.

Она провела его в подсобку, где стояла старенькая ножная машинка.

– Такая у тебя стоит?

– Не, у нас электрическая. Тома быстро шьет – вжик, и готово.

– Вот и ты давай, вжик, и готово!

– Куда тут вжик? – Василий постучал по столу большими толстыми пальцами.

– Ниче, ниче, – ухмылялась Манька. – Я тоже думала, торговать не смогу, а сейчас вон – лучший продавец магазина «Еланский трикотаж».

Всю неделю Манька учила Василия строчить. Он удивлялся ее терпению и упорству, с которым она стояла над ним и повторяла, что дело выгорит. Еще одна партия постельного белья разошлась чуть медленнее, но все равно заначка Василия значительно пополнилась. К этим деньгам он относился с особой заботой. Это была не просто получка, это были особые деньги на особую цель – Василий решил уговорить жену оставить ребенка. Он знал, что если Тамара на что-то решилась, то все, уже не отступит. За это качество он ее уважал, хотя никогда об этом не говорил.

Кроме того, он начал разбирать повалившийся сарай. Оказалось, что сосед Саня, с которым Василий не разговаривал с того самого разговора, был прав. Хлама в сарае накопилось немало.

Старые учебники, тетради, сломанное радио, магнитофонные кассеты, сумки, крышки, шубы и пальто годами пылились и набирали дождевой влаги, потому что стены и крыши деревянного сооружения давно утратили свою защитную функцию. Некоторые доски Василий отложил для будущего строительства, все остальное сжег за два дня.

Он стоял на месте бывшего сарая и тяжело дышал. Оранжевое солнце опускалось на крыши домов, и сам воздух, казалось, был золотистым. Стайка воробьев уселась на вишню, и то и дело перелетала с ее веток на яблоню. В дальнем конце огорода на желтых листьях лежали три огромных пузатых огурца. Фиолетовыми каплями свисали баклажаны, цвел базилик, помидоры красными и желтыми фонариками выглядывали из зеленой, но уже потускневшей листвы. Василий давно так не уставал, но усталость будила в нем жизненные силы, заставляла радоваться переменам. У них с Тамарой будет сын. Он знал это наверняка.

8. Товарищ секретарь!

Марина вышла из автобуса, на ходу начала застегивать воротник пальто. Сама не понимая, от чего больше дрожит: от холодного утреннего ветра или от страха перед встречей с Сорокиным. Она ежилась и быстро шла к администрации.

В здании было тихо, только где-то на втором этаже швабра уборщицы возила мутную воду по полу и позвякивала дужка ведра.

– Марин, ты чего дома не ночевала, что ли? – улыбнулся ей охранник, забирая назад ключи о приемной. – На работу так рано пришла?

– Дел сегодня много.

На самом деле Марина надеялась встретиться с Юрием Михайловичем до начала рабочего дня. Он приходил где-то без двадцати восемь, поэтому можно было спокойно поговорить без лишних ушей. В конце концов, ему нужно было сказать про беременность, оба взрослые люди все-таки.

Марина ходила по приемной и ждала, когда же он придет. И чем ближе приближалась стрелка к цифре восемь, тем сильнее у нее колотилось внутри. Чтобы справиться с волнением, она начала придумывать имена, которыми можно называть Юрия Михайловича. Юрик, Юрка, Егор. Говорят, что Юрий – это то же самое, что Георгий. Гора или Жора. Прямо, как в «Москва слезам не верит».

Наконец, Марина услышала его голос. Она подошла к зеркалу, поправила юбку, убрала назад волосы, выдохнула...

– Ты чего себе позволяешь? – заорал в открытую дверь приемной Юрий Михайлович. – Тебя кто просил Филимонову звонить?

От неожиданности Марина застыла на месте, не зная, что сказать в ответ.

– Ты вообще понимаешь, куда лезешь? Пришла эта бабка, и хрен с ней! Ее барак давно сносить надо было, там все квартиры выкупили, одна эта старая беда не свалит оттуда никак! Я тебе сколько раз говорил не лезть не в свое дело? Так бы она в дом престарелых съехала и халупу бы свою продала, а теперь ей проводку поменяют и колонку поставят. И что? Еще десять лет ждать, пока она помирать соберется! – Юрия Михайлович хлопнул дверью и вышел.

Марина села за стол. Слезы, смешиваясь с тушью, стекали черными разводами по ее щекам, капали на белый лацкан пиджака. Она поняла, о чем он говорил. Точнее, орал.

На прошлой неделе к ней в приемную приходила очередная бабушка. Маленькая, в розовом платочке, из-под которого торчали белые волосы. Вытянувшаяся коричневая кофта с вязаными цветами прикрывала темно-красное платье. Бабушка все время извинялась: «Вы уж простите, товарищ секретарь, я много времени не займу...»

Десять лет назад Зинаида Петровна поселилась в этом бараке вместе с сыном, который, вернувшись с московских заработков, запил. Через полгода, отравившись водкой, он «пожелтел». Тогда от токсического гепатита в Еланске умерло пять человек, а несколько десятков остались ин-

валидами. Через три месяца Зинаида Петровна похоронила сына и осталась совсем одна в разрушающемся бараке без газового отопления и канализации. Зимой лопнула водопроводная труба, и сотрудники водоканала перекрыли ей воду. Месяц назад начала искрить проводка.

– Мне бы только проводку поменять, – говорила бабушка. – В кухне-то свет горит, а в зальчике света нету. У меня ж комнатки-то маленькие. Помогите, товарищ секретарь! Вы вот сами приехали бы ко мне и посмотрели. Я одна живу.

– Приехать – не приеду. А все, что возможно, постараюсь сделать. Телефона у вас нет?

– Какой там! – улыбнулась бабушка.

– А у соседей, родственников?..

– В соседнем доме есть, но они со мной не разговаривают.

К удивлению Марины, в помощи маленькой пожилой женщине было отказано. Бабушка приходила еще раз и плакала, рассказывая о сыне. Тогда Марина сама позвонила одному из депутатов и попросила помочь. Филимонова она знала давно, и он был один из немногих, кто не заглядывал в рот начальству. Уже три года Иван Анатольевич был на пенсии, поэтому потерять рабочее место не боялся, да и небольшую лодочную станцию у него тоже отобрать было невозможно, потому что владел он ею пополам с зампредом областного правительства.

Филимонов согласился помочь, и в тот же день в зальчике Зинаиды Петровны загорелся свет. Но только не знали ни Марина, ни Филимонов, что на месте этого барака давно было решено построить автомойку и заправочную станцию, вот только бабка никак не выживалась от туда.

«Ах, вы ж уроды!» – подумала Марина. Слезы сменило злорадство: хотя бы чуть-чуть ей удалось помешать этому мерзкому делу. В обед она вызвала такси и поехала домой. Достала из холодильника банку сгущенки, шпроты, апельсины, коробку перепелиных яиц (куриных не оказалось), сложила в пакет, туда же бросила нераспакованную пачку мыла, порошок. Марина осматривала квартиру в поисках того, что могло бы пригодиться Зинаиде Петровне. «А, белье!» – она вспомнила про комплект с ангелами, щедро подаренный ей депутатом Павловым. Марина вытащила его из шкафа и, сунув под мышку, выбежала из подъезда.

Такси ждало ее у входа. Она назвала адрес. Барак гордо стоял среди заросшего травой пустыря и выпячивал всем на обозрение пустые оконные глазницы и отвалившуюся штукатурку. Серое крыльцо, покосившееся и жалкое, заскрипело пересохшим деревом. Марина вошла в темный коридор, пытаясь определить, где же живет Зинаида Петровна.

– Кто там? – услышала она тихий голос и пошла на полоску света, выскользнувшую из приоткрытой двери.

– Господи, как же вы здесь живете? – с порога спросила она.

– Так и живу... Приехали все-таки, товарищ секретарь?

– Я на минуту. Вот, возьмите, это вам.

Марина поставила на пол пакет и сверху положила комплект постельного белья.

– Ангелочки! – умилилась бабушка. – Спасибо!

– Это помощь Вам. Чуть позже еще привезу.

Бабушка виновато улыбнулась и скомканным платочком вытерла правый глаз.

– Дай вам Бог здоровья, что старуху не забываете...

Марина попрощалась и села в такси.

Утренний страх сменился уверенностью. Ни о каком разговоре по душам речи и быть не могло. Марина, наконец, решилась на аборт.

9. Ребятёнок

...Тамара остановилась на крыльце, чтобы сдержать подступившую к горлу тошноту. Надо скорее идти на аборт. Первая и вторая беременность проходили практически без токсикоза, только с Аней ее иногда подташнивало по утрам, а Танюшка вообще сидела тихо и спокойно – вероятно, боялась, как бы Тамара не решилась-таки беременность прервать.

А тут и тошнота, и слабость. Наверное, сказывался возраст, а может болячки всякие. Интересно, а кто там – девочка или мальчик? Тамара старалась не думать о ребенке. Ее беременность была большой проблемой, требующей срочного решения.

На секунду у нее потемнело в глазах, Тамара ухватилась за перила, чтобы не упасть. Все вокруг стало черно-белым, а потом краски постепенно вернулись. Застучало в ушах. И неожиданно сквозь шелестящий ухающий шум она расслышала еще что-то. Сначала ей показалось, что она слышит биение чьего-то сердца. Прислушавшись, Тамара поняла, что это за стук. Стучала ее швейная машинка.

Она поднялась на веранду, открыла дверь и с нехорошим предчувствием вошла в дом. За ее швейной машинкой сидел Василий и строчил розовую ткань с теми самыми ангелами. Занятие это давалось ему с большим трудом: едва умещаясь на ее стуле, вжавшись животом в край стола, он придерживал ткань, то и дело наклоняясь к иголке. Тамара в изумлении застыла в дверях. От напряжения Василий даже не заметил ее, и продолжал скрюченными пальцами прижимать ткань к столу.

– Ты зачем... это... шьешь? – выдавила Тамара.

Василий вздрогнул.

– А, пришла... Да, Том, я тут подумал. Раз ребятенок будет, надо деньжат собирать. Мы с Манькой делом занялись. Манька-ручеек, в поселке одном жили...

Тамара нахмурилась.

– Да не, ты ниче такого не подумай. Мы белье постельное шьем, а у нее подруга с мужем продают по деревням. Она раскроила, а я строчу вот. Приноровился почти. Ты смотри, я сегодня две тыщи заработал. А? – он достал из кармана трико две смятые тысячерублевые бумажки.

– А еще в заначке у меня. Вот. – Василий достал жестяной коробок, в котором аккуратно были сложены деньги. – На первое время хватит. Питаться тебе надо хорошо, витамины, мясо есть... И, слышь, я шпон и доски для сарая заказал. Думаю, не сарай делать, а кухню летнюю. Ты чего думаешь? И ребятенку будет где играть, а то на огороде и ткнуться некуда – то помидоры, то капуста...

Тамара посмотрела на Василия, деньги, машинку и зарыдала.

– Том, Том! – растерялся Василий. – Ты на операцию не ходи. А вдруг сын будет? А денег мы соберем, я вот приноровлюсь только... Пальцы-то не слушаются... А мы еще не старые совсем... И ребятенок будет маленький... Вырастим, поднимем... А чего? Аброськин вон в пятьдесят родил, а мне до пятидесяти еще ого–го... Том, ну че ты ревешь-то? Ты че сходила уже, что ли?

Тамара всхлипывала и качала головой. Сказать ничего она не могла, только вздрагивала, хватала ртом воздух. Слезы находили снова и снова. Она оплакивала все дни, которые запрещала себе думать о ребенке, уговаривала, что аборт надо сделать скорее; постоянное безденежье, тоску и бабью зависть к обеспеченным подругам. Со слезами уходили обида и усталость. Она успокаивалась. Слезы сменила полная апатия.

Василий повел ее в кухню и умыл, как ребенка. Тамара медленно прошла в зал, не переодевшись, легла на диван.

– Том, ты поспи пока. А я ужин сварганю. Тебе ж надо сейчас отдыхать. А про деньги не думай, заработаю. Я там яблок кило купил. Хочешь? А, ну потом.

Василий укрыл жену одеялом и пошел в кухню.

Через час с тренировки вернулась Аня.

– Чего дверью хлопаешь, мать спит, – прошипел Василий из кухни.

– Не хлопаю я. Привет. – Аня заглянула ему через плечо в кастрюлю. – Готовишь, что ли?

– А че, не видно?

– А мама почему так рано улеглась? Заболела?

– Чего? Чего? Чевочка с молочком. Пристала! Ребятенок у нас будет скоро, поняла? Так что к матери не приставай теперь. И по дому давайте сами – а то выросли лошади, а мать на вас и стирает, и моет. Ей отдыхать надо.

Аня обиженно посмотрела на отца и пошла в их с Танюшкой спальню, на ощупь пробираясь к темному залу. Она пыталась осознать новость: впервые ей было стыдно за маму – беременными

она видела молодых женщин, а мама уже с морщинками и веснушками на спине. Будет ходить с большим животом и сидеть в очереди с девчонками, а потом кормить грудью ребенка. Она видела в этой беременности что-то неприличное, что будет обращать на себя внимание соседей. Тем более что им с Танюшкой постоянно отказывают в новой одежде. А теперь придется делиться еще с братом или сестрой. По ее мнению, родители должны были ходить на рынок, в школу на собрания, возиться на огороде, но никак не ухаживать за маленьким ребенком. Если бы это был их внук, то да. Так делают все.

Совершенно противоположное мнение было у Танюшки. Она скакала вокруг матери, расспрашивая, можно ли будет самой качать братишку (полная уверенность Василия, что жена родит сына, передалась всей семье), брать его на речку, кормить. Аня же испытывала к родителям раздражение вперемешку с брезгливостью. Тамара чувствовала это и пыталась разными способами угодить дочери: ласково с ней разговаривала, старалась не ругать, купила ей дорогие колготки. Но это еще больше злило Аню, которая уважала мать за ее выносливость и стойкость. А теперь Тамара напоминала ей побирушку, которая заглядывает в глаза прохожим.

Впрочем, и сама Тамара, немного успокоившись и свыкшись с мыслью, что снова станет матерью, прекратила все попытки выманить у дочери одобрение. «Ревнует, – решила Тамара. – Ничего, пройдет. Танюшку она тоже не хотела, а потом нянчилась с ней, не отберешь...»

10. Жеваный крот

Почти месяц Марина не решалась идти в женскую консультацию. Она читала все, что попадалось на тему абортов, задавала вопросы на всевозможных форумах и онлайн консультациях. В итоге на ее странице в социальной сети развернулась настоящая борьба тех, кто уговаривал ее оставить ребенка, пугая Страшным судом и бесплодием, с теми, кто вопил, что аборт надо делать быстрее, чтобы потом не мучиться с нелюбимым ребенком.

«...во время аборта ребенок испытывает жуткую боль...»

«...глупая мать даже не понимает, что у нее внутри ребенок, а не эмбрион...»

«...тело твое, как считаешь нужным, так им и распоряжайся...»

«...Марина, Вы понимаете, что хотите убить ребенка?..»

«...Перед смертью ребенок открывает рот в безмолвном крике...»

«...Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?..»

«В большинстве своём женщины после аборта становятся апатичными, боязливыми, напряжёнными, впечатлительными и усталыми. Часто впадают в депрессию...»

«...Зачем тебе эта обуза? У меня соседи наплодили нищеты, теперь по детским домам распихивают...»

«...моя мать хотела сделать аборт. Было это после войны, она купила утку, чтобы отдать ее врачу, и повесила на ночь в сумке за окно, на мороз. Утром утку украли, и ей нечем было заплатить врачу. Поэтому я жив и никогда не ем уток...»

«...хватит нагнетать страстей... нет там еще ребенка, зародыш только... поэтому аборт до 12 недель делают...»

«... муж сказал: или аборт, или развод... А я ответила: ну и вали, козел вонючий!..»

«...Марина, первый аборт опасен бесплодием. Вы уверены, что хотите пойти на такой риск?»

«...жизнь человека начинается с момента зачатия...»

«...Я родила ребенка от мужчины, которого знала всего один день... какая разница, кто биологический отец. Мы обе счастливы)»

«Душевные и психические расстройства у женщин после аборта особенно возросли в наше время...»

Марина удалила свой аккаунт, позвонила знакомой медсестре и записалась на прием к гинекологу.

На следующий день она медленно шла в женскую консультацию по припорошенному снегом асфальту. То здесь, то там ей встречались темные островки льда, раскатанные еланской ребятней, по которым то и дело с разбега катились мальчишки и девчонки с портфелями. Первая смена разбегалась по домам.

Марина открыла входную дверь и прошла к гардеробу, на ходу отогревая замерзшие руки – разволновавшись, она забыла дома перчатки, а теперь еще вспоминала, есть ли у нее с собой бахилы.

Перед кабинетом врача, как обычно, была очередь. Марина набрала номер Оксаны, своей участковой медсестры и бывшей одноклассницы, и через несколько минут ее пригласили на прием.

– Че, воспаление? – тихо спрашивала ее Оксанка, заполнявшая тем временем чью-то карту.

– Нет, на аборт.

– Сколько недель?

– Тринадцать вроде.

– Ты чего ж дотянула? Аборт только до двенадцати недель делают. Подожди, что там еще УЗИ покажет.

– Здравствуйте, – в кабинет зашел врач, и сев за стол, повернулся к Марине. – Слушаю вас.

– Здравствуйте, я на аборт.

– Так, подождите. Карточка где?

Медсестра подала ему тонкую карточку Марины.

– Беременность по вашим подсчетам сколько недель?

– Одиннадцать. – Марина посмотрела на медсестру, которая, покачав головой, молча продолжила заполнять карты.

– А почему на аборт? Срок у вас уже приличный.

– Это мое дело.

– Ясно. Кстати, я даже ваш тест на беременность не видел.

– У меня с собой.

– Где?

– В телефоне.

– Это как? – не понял врач.

– Я сфотографировала. – Марина достала телефон и показала врачу фотографию, которую сделала для того, чтобы сравнить с примерами положительного теста в интернете. Все-таки она надеялась, что «пронесет».

– Ух, я уж думал в телефонах новая функция появилась... Вот что, барышня, проходите в смотровой. На УЗИ пиши ей направление, и анализы пусть сдает.

После осмотра Марина уселась на кушетку и стала смотреть, как врач усердно что-то вписывает ей в карточку.

– После УЗИ придете ко мне.

Марина вышла из кабинета и спустилась на первый этаж. Она снова боялась. Неужели уже ничего нельзя сделать? Она заранее знала, что УЗИ покажет реальный срок, потому что могла точно назвать дату зачатия.

«Беременность, тринадцать недель», – было отмечено в результатах обследования.

Она снова вернулась в кабинет врача.

– Ну, и какой вам аборт? – нахмурился гинеколог. – Прерывание беременности мы делаем только до двенадцати недель.

– Но мне очень надо... – Марина заплакала.

– Вы раньше где были? Если сомневались, пришли бы к нашему психологу. А сейчас что я могу сделать? Сохраняйте беременность, рожайте здорового ребенка. До свидания!

Марина вышла из кабинета, за ней выскользнула Оксана.

– Ну че, совсем никак? – успокаивала она Марину. – Может, родишь все-таки?

Марина только качала головой.

– Но хоть что-нибудь сделать можно? Слушай, – она зашептала. – Я заплачу. Договорись с врачом.

– Да ты че... нет... ладно, жди здесь. Я попробую.

Оксана зашла в какой-то кабинет и минут двадцать оттуда не выходила. Затем взяла Марину под локоть и отвела в туалет.

– Так, слушай. Завтра принесешь двадцать тысяч. Подойдешь после пяти, мне позвонишь. С работы дня на два отпросись. Поняла?

–Ладно.

Она почти вытолкнула Марину за двери и юркнула в свой кабинет.

Марина побрела на остановку, думая, где бы ей взять деньги. Как раз столько у нее было накоплено на поездку в Турцию, но отдавать их за операцию было жалко. Она так надеялась на следующий год уехать в отпуск заграницу... Но, судя по обстоятельствам, поездка откладывалась на неопределенный срок. На стоянке она уселась в полупустой автобус, размышляя, что же ей делать.

Вслед за ней на заднюю площадку зашел парень в клетчатой рубахе и рваных джинсах. С довольным видом он плюхнулся на сиденье. Не замечая никого вокруг, парень громко разговаривал по телефону:

–...Сам офигел! Вот, жеваный крот! Покурить три раза сходил... Я папой буду, прикинь, чувак! Слышь, у тебя, пердак что ли бомбанул совсем? Такие вопросы задаешь! Я не рад? Да я офигенски рад!

Парень орал на весь автобус, потом положил телефон в карман и откинулся на сиденье. Марина повернулась к стеклу и стала рассматривать дома, деревья, проезжающие машины, полные мусорные контейнеры. Рядом с этим худым, всклокоченным и безумно счастливым человеком ей вдруг захотелось умереть, чтобы раз и навсегда избавиться от проблем, сплетников, абортов и врачей...

Уже в квартире она, забравшись с ногами на диван, продолжила взвешивать и прикидывать, находить варианты и отказываться от них. Делать было нечего. Марина подошла к шкафу и сунула руку в стопку постельного белья. Но денег там не было. Мамина привычка настолько въелась в ее сознание, что деньги она находила не глядя – просто просунув ладонь между нужными пододеяльниками и простынями. Но денег не было. Она вытряхнула все белье с полки и начала его перебирать. Денег не было. Обокрасть ее не могли, потому что в квартиру за последнее время никто не входил.

«Бабка!» – Марина поняла, куда девались турецкие двадцать тысяч рублей: за день до своей благотворительной поездки она пересчитывала их и добавляла тысячу, которую сэкономила в этом месяце, и, судя по всему, сунула в тот злополучный комплект с ангелами...

«Жеваный крот!» – стукнула она кулаком по полу и захохотала.

На следующий день она написала Оксане смс-ку всего с одним предложением: «Извини, я не приду!»

11. Ангелочки

За время беременности Марина скупила все журналы и книги о внутриутробном развитии ребенка и родах, продающиеся в Еланске.

Как надо дышать, как тужиться, как подкладывать под поясницу кулаки, чтобы было не так больно, она знала почти наизусть по пунктам. Но как только интервал между схватками уменьшился до пяти минут, все прочитанное и услышанное она тут же забыла. Сначала кричать ей было стыдно, она стонала, сжимала кулаки, плакала. Из родильной все куда-то ушли. Боль находила волнами, уже не отпуская ни на секунду. И с каждой потугой Марина выпускала ее из себя. Она посмотрела вокруг: врачей и акушерок не было. Испугалась, что к ней так никто и не подойдет, и что было силы заорала:

«Кто-нибудь! У меня ребенок лезет!»

Тут же откуда-то прибежали две акушерки и врач. Сколько прошло времени, Марина не знала. Она поднимала голову, пытаясь увидеть ребенка. Но его закрывала спина акушерки, которая что-то с ним делала на столе. На секунду ей удалось увидеть красноватое тельце с длинной кишкой, тянущейся из живота. Марина никогда не видела новорожденных, тем более с необрезанной пуповиной. Наконец, к ней поднесли младенца. На руке акушерки умещалось маленькое тельце, завернутое с головой в пеленку. Марина разглядела только красноватое личико с опухшими глазами-щелочками.

– Так, мамочка, у вас мальчик. Вес – два восемьсот, рост – пятьдесят один сантиметр. Нравится?

– Ага.

Ребенка унесли. Раньше Марина была уверена, что все новорожденные очень красивые, как ангелочки. Так, по крайней мере, было в фильмах. А ей показали какого-то сморщенного человечка, похожего больше на инопланетянина...

На каталке ее повезли по коридору, в лифте подняли на второй этаж.

– Шесть часов не вставать! – сказала ей акушерка.

Марина кивнула и почти сразу же уснула.

...Родов Тамара не боялась. В третий раз быстро будет. Она ехала в машине «скорой помощи» и подсчитывала детское приданое. Конверт, пеленки, распашонки и шапочки она сшила еще два месяца назад. Одеяло купил Василий, кроватку привез брат. Коляску обещала отдать Надюшка. Тамара хотела навязать пинеток, но не успела. Жалко, от Танюшки никаких вещей не осталось: ползуночки тетка Илона импортные присылала, шапочки кружевные были, целый мешок. И костюмчики вязаные, один с корабликом, а другой с помпончиками желтыми. Она в нем на цыпленка еще была похожа. Все раздали. Тамара и подумать не могла даже, что почти в сорок лет решится рожать. Если бы не Вася, то... А все-таки он молодец! Это надо же, чтобы мужик постельное белье шил! Зато деньги зарабатывает. Тамара сморщилась от боли, а потом улыбнулась. Уже скоро.

Схватки становились чаще, и Тамара радовалась, что, наконец, увидит ребеночка. Должен быть мальчик, потому что ей так хочется обрадовать Васеньку. Он же так старается. После родов Тамара сама снова сможет шить, помогать по дому девчонкам. Как их Василий выдрессировал! Никогда даже крошек на столе не оставят. Тамара не любила болеть, не могла находиться без дела. Последнюю неделю она все время лежала, у нее кружилась голова. Как будто ее телу стало тяжело носить ребенка, уже нечего было ему отдать.

Наконец, она услышала слабенький хриплый писк.

– Мальчик! – сказала акушерка.

Тамара лежала на кушетке и смотрела в потолок, слезы стекали по лицу ей за уши, от чего было щекотно. Мальчик. Как хорошо, что родился мальчик! Теперь все будет по-другому. Теперь они будут многодетной семьей, нужно сказать Василию, чтобы оформил пособие и выплату на третьего ребенка. А еще субсидию.

...В Еланске наступал вечер. Желтыми глазами загорались окна, машины отъезжали от супермаркета и увозили в своих багажниках пузатые пакеты. Люди торопились домой, обсуждали управляющие компании и строительство нового моста, включали телевизоры и ставили на плиты чайники. Рядом со зданием администрации топтался человек в черной куртке и грязных темных джинсах, заглядывал в лица прохожих, словно ожидая кого-то, и почти непрерывно бормотал: «Мне бы только газ оплатить... Да-да, а то соседи, у-у!» Затем замолкал, долго смотрел вдаль, начинал грозить кому-то кулаком, а потом улыбался и снова начинал бормотать: «Листик бесплатно дала. Рубль не взяла даже!»

Мимо него прошла женщина, оглянулась и недовольно шмыгнула носом. Он заметил это, насупился, но потом вдруг лицо его приняло страдальческий вид, и он тихо выдохнул ей вслед: «Ангела вам!»

Татьяна РИЗДВЕНКО

ЕЩЁ ОДИН ГОД

***

Так заливает землю светом,
так в марте день тягуч и длинн.
Что сжарить мне на масле этом?
Куда мне этот маргарин?

Одной яичницы на небе –
одной достаточно вполне,
и масла желтого на хлебе,
златого жира на губе.

Но этот вкрадчивый и нежный
всесильный нисходящий жар
ползет, спускается все ниже,
уже по коже побежал.

Весна. Как мало в этом звуке.
Не собираюсь, не люблю.
Я шелушащиеся руки
в карманы глубже углублю.

...Еще одну весну в подшивку.
Но снова буду, не усну,
заглатывать ее наживку,
ее трезубую блесну.

***

Когда мы режем винегрет,
простой, полезный, ясный,
он получается в ответ
хрустящий, вкусный, красный.
Когда едим мы винегрет,
заправив постным маслом,

Татьяна Риздвенко – поэт, эссеист. Закончила художественно-графический факультет Московского педагогического университета. Работала художником по росписи фарфора, преподавателем живописи, журналистом, копирайтером, в настоящее время трудится в сфере арт-коммуникаций и руководит детской литературной студией в Доме Щепкина. Живёт в Москве. Стихи, эссе и рецензии печатались в журналах «Знамя», «Октябрь». «Дружба народов», «Орион», в вестнике современного искусства «Цирк "Олимп"», поэтических антологиях. Автор трёх поэтических сборников. Участник российских и международных поэтических фестивалей.

никто из нас такой обед
не назовёт напрасным.
Едим его, не торопясь,
мы с бородинским хлебом.
Спокойно, вдумчиво и всласть,
между землёй и небом.

***

Игла, мы помним все, в яйце,
и – ни морщинки на лице.
Яйцо, не помню, в волке, в утке,
в устах же – жемчуга и шутки.
А утка где? На верхотуре,
в российской сказочной культуре.
...Я не могу поверить, что
– он, стройный, в твидовом пальто, –
приятельства невольный пленник, –
ровесник наш и современник.
Не верю собственным глазам,
но верю в утку и сезам,
где никакая не иголка, –
любовь,
одна любовь, и только.

Военная песенка

Приказ рассчитаться на свой и чужой,
огнём распахать города,
и черную землю засеять враждой,
отсюдова – и навсегда.
...С картошки в мундире снимаю мундир,
сколупываю ордена.
У нас-то пока относительный мир,
а рядом, под боком, война...
Военный картофель кидаю в салат,
порезав на много частей...
Слыхали? – туда отправляют ребят
из наших военных частей...
Всё, некому больше – убит командир –
окучивать и убирать.
Картошка, картошка, солдатский мундир,
коричневая рать.

***

Как велика литература.
Как тёмный лес...

Вон сойка синькой полыхнула,
кого-то ест.
Здесь всякой живности живётся –
мурашке, комару,
какой-нибудь кривой берёзке,
торчащей на юру.
Имеет место и лишайник,
растущий тыщу лет,
чтоб нежный, кружевной, тишайший
оставить след.

***

Он бородач был и толстяк.
А стал шикарный холостяк.
Хоть из его ребра была,
жена – влюбилась и ушла.
Он сына вырастил, заметьте.
Растут теперь у сына дети...
Прошло сто лет. Пятнадцать. Осень.
Мы в ЦДЛ. Ноябрь. Восемь.
Внезапной радости накал.
Четыре стопки и бокал.
...Так половина взрослой жизни
идет одним куском под cut.
Ты выше стал. Не изменилась.
Как ты. А ты. Я очень рад.
Воспоминаний том – смотрите! –
издал. Полтинник разменял.
А в середине первой трети
три милых строчки про меня.

***

Февраль, февраль.
Фарфор-хрусталь.
Плюс снега соль
да неба сталь.
Остатки по сусекам, малость,
неделю чудом наскрести...
И стискивать его осколки
до посинения в горсти.
И не раскокать, что осталось,
в комиссионку не снести.

Анаит ГРИГОРЯН

ДОЛГОЕ ЛЕТО

Рассказы

Девочки

Деревня располагается в низине и с четырех сторон окружена сильно заболоченным лесом. В середине лета в этом лесу появляются грибы: дряблые, осклизлые подберезовики на тонких ножках. Бабушка называет их «шляпаками» и отправляет меня и сестру их собирать. Сестра берется за ножку гриба двумя пальцами, брезгливо вытягивает его из мха. Жареные с картошкой, эти шляпаки необыкновенно вкусны, но набрать их достаточно удается редко: червяки и слизни поспевают раньше нас. Резиновые сапоги с высокими голенищами едва доходят сестре до колен.

– Комар! – она больно шлепает раскрытой ладонью мне по лбу, размазывая красное пятнышко.

– Звала, что ли?

Из густого ельника выставляется остренькое личико. Нос усыпан веснушками. Реденькая белесая челка.

– Н-ну, звала, что ли?

– Комара прибила.

– Мы тута, если че.

Комаровых две сестры: Катя и Лена. Всего их, Комаровых сестер и братьев, семеро, но мы дружим с двоими. Остальные, – вечно голодные, нечесаные, немытые, – растут как трава в поле. Катя – старшая из них, пасет двух коз и с утра до вечера стирает белье, которое тотчас, как будто никогда не было чистым, грязнится. В прошлом году отец оторвал Кате мочку левого уха за то, что она съела то ли сосиску, то ли кусок колбасы, который он оставил себе на вечер. Из Катиных воплей и причитаний ничего нельзя было разобрать. Прибежала среди ночи и заколотила руками и ногами в дверь. Переночевала и под утро ушла, зачесав сестриной расческой белесые волосы на левую сторону. Мы заглянули к Комаровым через пару дней. Катя стирала белье в тазу, Лена прыгала по двору со скакалкой.

– Чего вам?

– Дружиться пришли.

– Надо пройти испытание.

Встали посреди двора. У Комаровых двор – настоящий пустырь, только чертополох растет из-под покосившегося забора. Катя взяла у Лены скакалку и больно, изо всей силы отхлестала нас по голым ногам.

– Прошли испытание? – сестра открыла зажмуренные до того глаза.

– Нет, – старшая Комарова отдала младшей скакалку, ухмыльнулась углом рта.

Анаит Григорян родилась в 1983 году в Ленинграде. Окончила биолого-почвенный и филологический факультеты СПбГУ. Кандидат биологических наук. Живёт и работает в Санкт-Петербурге. Автор книг «Механическая кошка» (2011) и «Из глины и песка» (2012). Стихи и статьи публиковались в журналах «Зинзивер», «Волга», «Знамя», «Вопросы литературы», «Новый мир».

– Так мы ж молчали и не двигались.

– А надо было. Вас бьют – а вы стоите. Дуры. С дурами не дружим.

Через неделю прибежала младшая Комарова, встала под окнами и заорала на всю улицу:

– Городски-и-и-е! Городски-и-и-е! Помоги-и-те!

Вышли; потащила, крепко вцепившись в запястья. Сестре ее макушка не доставала до плеча. Вся костлявая, тоненькая – в чем душа держится. Комар – он и есть комар.

– Комар – ты и есть комар. И сестрица твоя – комарица.

– А ты – злыдня.

– А вы не злыдни – людей скакалкой бить?

У младшей Комаровой покраснела даже полоска пробора среди белых волос.

У них есть собака Лорд – среднее между овчаркой и волкодавом. Обыкновенно Лорд сидит на цепи подле небольшой крепко сколоченной, не в пример хозяйскому дому, конуры. В саму конуру зайти боится: в дальнем углу комаровская кошка Дина устроила гнездо и вывела восемь штук котят. Сегодня Лорд печальнее обычного: его косматая голова опущена низко – вот-вот коснется земли. Время от времени он заходится в надрывном кашле.

Катя выпрямляется, встряхивает руками над тазом. Разлетаются мыльные брызги. Кожа Катиных ладоней и пальцев – красная, растрескавшаяся, как будто старая.

– Наша собака помирает.

Подходим. Лорд доверчиво вытягивает шею, подставляет нам громадную голову. Из конуры высовывается злая физиономия Дины. Сестра обхватывает голову Лорда руками, приподнимает; мы смотрим в его раскрытую пасть, в большие умные глаза, в стоящие торчком уши. Он терпит, только иногда вздыхает и сдержанно покашливает. Наконец заглядываем в его правую ноздрю – в розовой мякоти носа что-то поблескивает.

– Комарица, ты иголку не теряла?

Катя отвечает так, что позавидовали бы все деревенские мальчишки.

Иглу вытащили рейсфедером, нашедшимся в Катином пенале: Лорд перенес операцию безропотно; когда его наконец отпустили, попятился задом, забыв о Дине. Дина тотчас вцепилась в его шкуру всеми когтями и зубами.

Старшая Комарова подошла, глянула исподлобья, взяла покрытую спекшейся кровью иглу, повертела в пальцах.

– А бабка ваша, говорят, проститутка.

– Ведьма, говорят, – поправляет младшая.

Сестра мгновенно вспыхивает.

– А ваш батя – вообще алкаш. Вчера упал посреди дороги прямо под нашими окнами. Орал, что он – президент всея деревни. Какая деревня, такой и...

Лица обеих Комаровых синхронно искажаются плачем.

– Подберите сопли, – горячится сестра. – Пигалицы, от горшка два вершка, а туда же!

– Дылда! – вопит старшая Комарова, утирает нос кулаком и бросается на сестру.

Потом пили чай с сушками на захламленной комаровской кухне, под рукомойником оттирали расцарапанные лица, стаскивали запыленную одежду, и Катя долго стучала по нашим футболкам и шортам мухобойкой.

– Мы ездили в город, – угрюмо рассказывает старшая Комарова. – Видели Витебский вокзал, театр, церковь и ваши дома. Ни за что бы не переехали в город, вы там друг другу на головы гадите.

– Это она про канализацию в многоэтажках, – догадалась сестра. – Вот ведь дура!

– Сама такая, – Комарова вяло отмахнулась мухобойкой. – Все вы, городские, малахольные. Малахольные и зазнайки. Носом еще облака не задеваешь, дылда?

– А вы все – алкоголики! И батя твой помрет от цирроза печени!

Сестра замахала на меня руками, но поздно, слова уже были сказаны. Комаровы снова разнюнились, и мы ушли. Дома бабушка долго причитала и охала над нашим потрепанным видом;

на следующий день ранним утром повезла в Вырицу – в общественные бани. Этих бань мы боялись как огня: длинное серое здание, похожее на тюрьму или больницу, серые, покрытые чем-то склизким шайки, голые женские тела, осторожно перемещающиеся в душном полумраке. В бане мы всегда старались двигаться поменьше; обычно я вставала на цыпочки где-нибудь в тихом месте, а сестра обливала меня из шайки горячей водой, потом мы менялись. Самое мучение было с моими косами, доходившими мне до колен: бабушка считала, что сушить их после мытья – слишком долго, потому обматывала мои волосы махровым полотенцем, устраивала на моей голове огромный тюрбан и тащила по жарким пыльным улицам на станцию. Я обливалась по́том, пыль покрывала меня с головы до ног.

У Комаровых была собственная баня: крохотная, вросшая в землю избушка. После бань в Вырице мы тайком от бабушки мылись в этой избушке, и Катя сидела на траве у ее порога, потому что «городские дуры угорят – а нас засудят». После бани шли на речку: ледяная вода, колышутся длинные пряди водорослей. Старшая Комарова толкает младшую в самую их гущу, младшая визжит, прядает в сторону, поскальзывается на гладких камнях, белая макушка скрывается под водой.

– Плавать не умеет, плавать не умеет! – кричит Катя, бросается за ней, мы бухаемся следом, ловим ее за руки, за брыкающиеся ноги, с розоватых цветов стрелолиста поднимаются в воздух радужные стрекозы, и мы, облепленные мягкой тиной, выбираемся на берег.

– Закончу школу и уеду отсюда, – Катя закидывает руки за голову, ложится на горячую землю.

– В город поедешь?

– Вот еще! Подальше куда-нибудь, в лес. Буду жить в шалаше.

– Зачем для этого школу заканчивать?

– Так... надо выполнить долг перед обществом.

– Вот чудачка! – сестра, смеясь, присаживается подле нее, снимает с ее белых волос зеленую ниточку тины.

– Сама такая!

Младшая Комарова равнодушно ковыряет мизинцем в носу.

– Будем с Катькой жить в шалаше.

– Вот еще! Тебя не возьму, обойдусь без сопливых!

Лена принимается плакать, не вынимая мизинца из носа.

– А мы хотим сделать плот и спуститься вниз по реке.

– Если сделать хороший, можно доплыть до первого плёса.

– Мы до третьего хотим.

– Ну, врешь, до третьего не доплывешь, дылда! – старшая Комарова приподнимается с земли, смотрит на сестру зло. – Потонете.

Утром следующего дня вчетвером оторвали заднюю стенку от конуры Лорда, наделали бутербродов с сыром, взяли несколько бутылок воды и затонули в метре от берега. Младшая Комарова с перепугу опять разревелась, старшая страшно ругалась. Стенку высушили и приколотили обратно: Дина путалась под ногами, несколько раз укусила меня и сестру за щиколотки.

– Вот так-то, – неопределенно замечает старшая Комарова, заваривая чай с сушеной мятой. – Так-то вот...

– Сама-то...

На склоне у реки Комаровы сделали тарзанку: к толстой ветке высокой ивы привязали веревку с горизонтальной палкой-перекладиной. Катя ухватилась за перекладину, разбежалась, прыгнула, сорвалась и покатилась кубарем по склону.

– До плёса можно и пешком дойти, там в поле дорога.

– Там коровы.

– А че тебе коровы?

Сестра боится коров: несколько лет назад за ней погнался, угрожающе наклонив рогатую голову, маленький пегий бычок. Сестра спаслась, пробежав пол- громадного луга и кубарем скатив-

шись в овраг: бычок потоптался у края оврага, забыл, на что злился, и побрел обратно к своему стаду.

– Че, кусаются, что ли, коровы?

Комаровы смеются; сестра, насупившись, жует сушку. Комаровский дом стоит на самом краю деревни: темнеет, и слышно, как шумит лес, а в лесу что-то потрескивает и поскрипывает, и какая-то птица то ли кричит, то ли плачет. Старшая Комарова зажигает две свечи, ставит их на стол: два огонька дергаются из стороны в сторону, тени прыгают по отстающим от стен обоям, как будто силясь убежать. Старшая Комарова вдруг ударяется в слезы, роняет голову на стол, вцепляется взрослыми руками в давно не мытые волосы.

– Комарица, ты что это?

В июле, в самую жару, Комаровы заболели ветрянкой. Катя вымазала отчаянно чесавшихся братьев и сестер зеленкой, сама, покрытая с ног до головы сыпью, как обычно, пасла утром и вечером коз, стирала во дворе белье. Мы, к тому времени ветрянкой уже переболевшие, покупали для Комаровых продукты.

– Слушайте, у вас в городе – театры, музеи, да?

Катя дотрагивается пальцами до щеки, сжимает их в кулак.

– И театры, и музеи.

– И много их у вас?

– Очень много! – сестра вскакивает со ступеней Комаровского крыльца, раскидывает руки в стороны. – В Петербурге много, и у нас в Москве – тоже много, и Эрмитаж, и Кремль, Мариинский театр, и Третьяковская галерея, и...

Она перечисляет все вперемежку, как будто мы живем в одном городе. Солнце освещает ее красивое лицо.

– Ну-ну, а я ни в один бы не пошла. Скука потому что смертная.

– И ничего не скука, – обижается сестра. – Это с вами тут скука: разболелись посреди каникул. Ну вас совсем.

Отец Комаровых – не из деревенских; когда-то давно он приехал из Петербурга, женился на местной девушке и остался, но не вынес размеренности деревенской жизни и жестоко запил. Жена, родившая ему практически подряд четырех девочек и троих мальчиков, в конце концов, по выражению сестер Комаровых, «умерла от усталости», и материнские заботы легли на плечи тогда десятилетней Кати. Сестры и братья, исключая Лену, старшую не любили и боялись: она кричала на них и била по ногам хворостиной.

Мороженое в вафельном стаканчике стоит пять рублей, если стаканчик помят – два рубля пятьдесят копеек. Комаровы ходят до Вырицы пешком по асфальтовой дороге, ведущей мимо садоводств. Есть и другая дорога – через лес, но старшая Комарова боится цыган. Телега с цыганами проезжает по дороге дважды в день: утром и вечером. Цыгане сидят утром на досках, вечером на копне сена; распевают веселые песни, увидев нас, кричат, что украдут и продадут в заморские страны, где небо из серебра, а на серебряном небе – солнце и звезды из золота, и нет смены ночи и дня, и всегда праздник.

– Украдите! Продайте!

Мы бежим за телегой, цыгане смеются, протягивают к нам руки, делая вид, что пытаются поймать.

– Вот, украдут тебя в один прекрасный день по-настоящему и сделают цыганкой.

Сестра пожимает плечами, крутит пальцем у виска.

– Че, не веришь? Нарядят в юбку и цветной платок, научат гадать на картах – будешь знать!

– Что плохого-то?

– Гадать потому что – грех. Потому что попадешь в ад, и черти тебя за язык на крюк подвесят над адским пламенем.

– Средневековая ты, Комарова.

– Сама такая! Дылда!

Два года назад старшая Комарова отдала цыганке деньги, скопленные на мороженое, и та, поводив длинным алым ногтем по ее ладони, пообещала жениха и счастье. С тех пор Катя цыган невзлюбила: когда молодая цыганка приласкала Лену и подарила ей бусы из блестящих стекляшек, Катя сестру побила, а бусы выбросила.

– География – вранье. Рассказывают про то, чего нет.

– Швейцарии, что ли, нет, или Англии?

– Англия, может, и есть, а Швейцарии – точно нет.

– А Америка, Америка-то есть, комарица?

– Во-первых, не обзывайся, во-вторых, нет и никакой Америки.

Старшая Комарова обрывает с кустов черную смородину, вытирает пальцы о подол. Младшая, встав на цыпочки и вытянув шею, заглядывает в ржавую бочку с водой для полива. В бочке живет жук-плавунец величиной с большой палец. Когда он всплывает, чтобы глотнуть воздуха, Лена радостно вскрикивает. К началу осени бочка опустеет, на дне ее мы найдем высохшего жука.

Тонкой веточкой Катя пытается вытолкнуть ручейника из его домика.

– Поселю его в банке с водой, накидаю ему бисера, он сделает мне браслет.

Бабушка не разрешает есть ягоды с куста, делает из них варенье. Сахар нужно обязательно проверять: в нем попадаются щепки, а однажды сестра нашла большой кованый гвоздь, приведший младшую Комарову в восторг. Продавщица в магазине не продает нам сахар, если сначала мы не купим пару синюшных цыплят. Цыплят съедает Лорд. Мы увозим банки с вареньем в город, через месяц-два оно покрывается плесенью, и мы его выбрасываем.

Луна плывет в густом вечернем небе. Мы сидим на крыльце комаровского дома. Дина лежит, подобрав под себя лапы, на нижней ступеньке, изредка зыркает на нас первобытными желтыми глазами. Где-то далеко ворочается в небе гром. Старшая Комарова ловко сворачивает козьи ножки из газетной бумаги, вместо табака сыплет сухие листья малины, щурится в темноту.

– Прошлым летом мужика молнией убило.

– Ничего его не убило. Он в поле пьяный уснул под старым вязом, молния ударила в вяз. Вяз раскололся и сгорел, а мужик наутро проснулся и пошел домой.

– Да я сама видела.

Катя закуривает, сплевывает на землю.

– Видела она, как же... врать-то, врать-то...

– У вас в городе, если гроза, прячутся?

Болотная вода не отражает небо. Сестра осторожно переступает с кочки на кочку: у нее длинные, по-детски худые ноги. Бабушка говорит, что сестра похожа на жеребенка. Она наклоняется, близоруко щурясь, поднимает с земли прошлогодний лист, отбрасывает его в сторону. Слышно, как за лесом грохочет товарный поезд.

– Вот длинный! Вагонов триста!

– Тыща, комарица, тыща!

Катя тянется к сестре, поскальзывается и падает в чавкающий мох. Стайка прозрачных насекомых поднимается из него и рассеивается в воздухе. Мы заблудились и вышли из леса, когда день сменился мутными июльскими сумерками. Лена плачет от усталости и виснет на Катиной руке. Та молчит, сжав зубы, вода хлюпает в ее сапогах. Отец встречает их на крыльце неожиданно трезвый и злой. Лена шмыгает в дом. Катю он ловит за волосы, молча несколько раз ударяет ее голову о дверной косяк. Сестра тянет меня за руку, мы идем по дороге: в сумерках не видно, как взлетает из-под наших шагов легкая, как пудра, глиняная пыль.

У старшей Комаровой есть теория: будто бы царь приказал собрать всех самых плохих людей и сослать в эти леса, и огородить высоким забором, чтобы плохие люди не разбежались. Но плохие люди растащили забор на доски и построили из них свои дома. На вопросы о том, что был за царь, Комарова хитро щурит глаза, ухмыляется углом рта и ничего не отвечает. Когда с огорода Марии Терентьевны потаскали свеклу, сестер Комаровых побили для профилактики.

Катя прихорашивается: скрепляет белесую прядь заколкой со стеклянным изумрудом. Заколку обронила цыганка – это Катина тайна. В нашей деревне три дороги: одна центральная и две окружные, по которым можно пройти только пешком. Сестра всегда ходит со мной за руку, Комаровы суют руки в карманы или размахивают ими в такт ходьбе. Никто не обращает внимания на Катину изумрудную заколку, она стягивает ее с волос, морщится, прячет в карман. Дятел стучит по стволу дерева; Лена несколько раз спрашивает, почему не падает с его головы красная шапочка, Катя вместо ответа дает ей подзатыльник.

– Комарица, закончите школу, переезжайте к нам в город.

– Что там у вас делать?

– В университет поступите.

Старшая Комарова сплевывает в пыль.

– Не возьмут нас.

Под вечер наконец начинается гроза, и молнии ползут по зачерневшему небу.

Сестра сидит у окна неподвижно, смотрит, как колышется на улице ветка громадной липы, растущей в нашем дворе. На столе перед ней лежит раскрытая книга: сестра читает из нее в день по две-три страницы и волнуется, что не успеет прочесть все заданное на лето по литературе. Единственная лампочка, на длинном проводе свисающая с потолка, мерцает с тихим электрическим потрескиванием. Если она погаснет, придется зажигать свечи, а бабушка не любит, когда мы жжем свечи, так как от свечей может начаться пожар. По улице прокатываются громовые раскаты, и в окно ударяются первые крупные капли дождя. Сестра тяжело вздыхает, перелистывает, не читая, страницы книги.

– Комарица говорит, шаровую молнию в прошлом году видела. Говорит, эта молния к ним прямо в комнату влетела.

– Да ну?

– Говорит, страшно очень. Шар такой электрический, переливается всеми цветами радуги. И двигаться при нем ни в коем случае нельзя, чуть пошевелишься – сразу сожжет.

Она пересаживается ко мне на кровать, поджимает ноги, обхватывает руками колени, и тень от ее угловатой фигуры вытягивается на полу.

– Надо на днях в лес пойти за шляпаками. Их после такого дождя много повылезает.

Лена плачет громко, навзрыд, время от времени останавливается, делает глубокий вдох и снова плачет. Катя сидит на табуретке, подобрав под себя ноги, обхватив колени руками. Плотно сжатые сухие губы кажутся при свечах синеватыми. Сестра наконец решается, трогает ее за плечо.

– Ну... ну, комарица...

Катя разлепляет губы, отвечает шепотом:

– Как я с ними теперь? Куда нас теперь?

Сестра пододвигает к ней пару стульев, мы садимся рядом. За окнами глухо шумит лес, Лорд гавкает пару раз на проезжающую телегу с цыганами. Комарова покачивается на своей табуретке, как неживая.

Подводные течения

– Городски-и-и-е! Городски-и-и-е! Выходи-и-те! Батя ондатру поймал!

Рассвет еще только занимается. Младшая Комарова стоит под окнами, запрокинув голову, размахивает руками и подпрыгивает от нетерпения.

Ондатра сидит в старой переносной клетке для цыплят, забившись в угол, похожая на большой неживой меховой ком. Сестра с опаской трогает пальцем ее бок, меховой ком чуть вздрагивает.

– Он ее как?

– Да голыми руками! Она его знаешь, как покусала?

Катя ухмыляется углом рта, тычет нам в лица указательным пальцем.

– У ней зубы – во какие! Во!

Мы тащим клетку к реке через запущенный комаровский огород. Стебли малины цепляются за одежду, больно царапают руки. Ондатра долго не хочет выходить из клетки, мы стучим по металлическим прутьям ладонями, подталкиваем ее веточкой, наконец догадываемся отойти в сторону. Вскоре меховой ком разворачивается, и зверек, опасливо принюхиваясь, высовывает мордочку из клетки и затем стремительно бросается в воду.

– Плыви, крыска, – шепчет младшая Комарова над моим ухом.

Вечером отец лупит всех сестер и братьев Комаровых, каких ему удается поймать. Старшая вскарабкивается на крытую рубероидом крышу их полуразвалившегося дома, отрывает куски растущего из щелей мха, швыряет в отца.

– Чтоб ты сдох! Чтоб ты подох, сволочь!

– Вот и расти их, и расти их на свою голову... черти белобрысые.

Наша соседка баба Женя – Комаровы дразнят ее «ведьмой» – слушает Катины крики, тяжело опершись на забор. Увидев нас, сердито плюет на землю.

– Еще черти! Черт рыжий и черт черный!

Сестра показывает бабе Жене язык.

По вечерам поле похоже на море.

– Я моря не видала, – Комарова бросает в травяные волны округлый камешек, делает вид, что прислушивается. Трава шелестит, и стрекочет где-то одинокий кузнечик.

– Оно какое вообще?

– Большое, красивое и соленое.

– И крыски там тоже водятся? – вставляет мелкая.

– Ну ты че?! – старшая Комарова щиплет Лену за плечо, та ойкает. – Тебе сказали же, что соленое! Соленую воду пьют только киты. Знаешь, кто такой кит? Кит плавает, опустив голову в воду, а на спине носит целую деревню вроде нашей, а если его разозлить, он может весь уйти под воду, тогда все погибнут.

– Пошла врать...

– Ниче я не вру! Я сама видела!

– Ты же сказала, что и моря не видела!

Комарова молчит, ковыряет носком туфли землю.

– Киты не только в море. В Оредеже, к примеру, тоже есть.

Сестра вздыхает, тянет меня за руку. Мы идем по дороге через поле: земля мягко пружинит у нас под ногами, какие-то мелкие зверьки выскакивают из травы и быстро, прежде чем мы успеваем их рассмотреть, прыскают обратно. Комарова, энергично жестикулируя, рассказывает, что видела кита там, где Оредеж разливается и становится шириной с настоящее море, и что сама она забиралась киту на спину, бродила по расположенной на его спине деревне и даже подружилась там с одним мальчиком.

Сестра срывает травинку, жует сладковатый стебель, вдруг спрашивает:

– Симпатичный он?

– Кто?

– Ну, мальчик твой.

– Ниче так.

– А что не придет?

– Ну... – Комарова задумывается. – Ему нельзя.

Некоторое время мы шагаем молча, сестра срывает одну за другой травинки, жует их, отбрасывает резким движением в сторону.

– Комарица, я слышала, они умеют во всяких водяных животных превращаться. Ему так только нельзя, в виде человека. А в виде животного можно.

Нет ничего вкуснее печеной картошки и поджаренного на углях хлеба. Старшая Комарова осторожно переворачивает украденные в садоводстве небольшие клубни, закапывает их в горя-

чую золу. В воздухе пахнет дымом, скошенной травой, от реки тянет свежестью. Где-то в деревне лает собака, ей отвечает другая, потом к ним присоединяется еще одна; они перекликаются в прохладных сумерках, и тишина от этого собачьего разговора как будто сгущается: говорить не хочется, мы молчим, жуем хлеб, откапываем из золы картошку, очищаем ее кончиками пальцев. В реке раздается плеск, Комарова подскакивает, роняет уже очищенную картофелину в золу.

– А, чтоб тебя!

– Испугалась?

– Сама ты испугалась, длинная!

– А ты – козявка! Комар!

Сестра протягивает Комаровой свою картофелину, Комарова ударяет сестру по руке, и вторая картофелина падает в золу рядом с первой.

Мы идем по тропинке вдоль реки, то и дело оступаясь и хватаясь друг за друга. Катя тихо ругается сквозь сжатые зубы. Наконец тропинка упирается в ручей, мы осторожно перебираемся через него и оказываемся в поле. Старшая Комарова, раскинув руки в стороны, убегает от нас, и мы бежим за ней следом, кричим ей, но она как будто не слышит. Наконец мы ловим ее и все вместе падаем во влажную траву. Кузнечик спрыгивает со стебля тимофеевки.

– Слушайте, городские... а вы когда вырастете, будете к нам приезжать?

– Будем обязательно.

– Врешь!

Комарова рывком садится; сидит, уставившись в мерцающее звездами небо. Одна звезда срывается, падает. Комарова беззвучно шевелит губами.

– Комарыч...

– Не трожь!

Мы выбираемся на дорогу: Комарова идет впереди – маленькая одинокая фигурка среди травяных волн. Младшая идет с нами: держится за наши руки, смотрит под ноги и изредка взглядывает на сестру.

– Катька хорошая.

– Злая твоя Катька.

Лена бросает нас, догоняет Катю, берет ее за руку, оборачивается и корчит нам рожу.

– Мы будем к вам приезжать! Обязательно будем! – кричит Комаровым сестра.

Вечером в пятницу Комаровы вызывают на кухне духов. Старшая зажигает свечи, рисует на клочках бумаги причудливые закорючки, торжественно раскладывает бумагу на кривом блюде с синей каймой, кладет поверх яблоко.

– Комарова, Пушкина вызови!

– Нельзя. Пушкина все вызывают, он устал. Бабка Женька вызывала Пушкина, он ее матом послал.

– Ну, тогда Гоголя!

– Гоголя тоже нельзя. Его живым похоронили, потом, когда гроб открыли, он встал и сказал: «Зачем вы меня, великого писателя, живым закопали в землю?»

Сестра смеется, берет яблоко и надкусывает его.

– Ну, все испортила! Сегодня уже никто не придет!

– Комар, а кого ты раньше вызывала?

Старшая Комарова угрюмо молчит, младшая вдруг заявляет:

– Катька Достоевского вызывала. Я сама видела: высокий такой старик, с бородой до полу.

– Ну, уж и до пола!

– Я те говорю! Он нас обнял, сказал: «Не горюйте, девочки». Он всех жалел, нам в школе рассказывали.

Старшая Комарова задувает свечи, открывает окна, и прохладный вечерний воздух наполняет кухню. На подоконник тихо, как тень, вспрыгивает Дина.

– Слушай...

Сестра сосредоточенно жует стебель тимофеевки.

– ...ты как думаешь, баба Женя – правда ведьма?

– Комарова...

– Так то – Комарова...

– Комарова видела, как она ночью вылетала из печной трубы. И еще, говорит, к ней черт ходил свататься.

Сестра отбрасывает тимофеевку, раздраженно сплевывает. На щеках ее загораются красные пятна.

Мы долго стучим в дверь, выкрашенную темно-зеленой краской, наконец баба Женя нам открывает. Из светлой прихожей пахнет чистотой и березовыми вениками. У ног бабы Жени вертятся две пестрые кошки, Машка и Дашка. Сестра протягивает ей пакет овсяного печенья, мы переминаемся с ноги на ногу, не зная, что сказать. Баба Женя пропускает нас в прихожую, ведет в комнату, бóльшая часть которой занята русской печью. Обе кошки вспрыгивают на печь и сворачиваются в два пушистых шара. Мы озираемся: на стенах висят иконы и черно-белые фотографии в простых рамках, на окнах – горшки с геранью. Чистый дощатый пол, цветастые половики на полу, круглый столик, накрытый желтой клеенчатой скатертью, два стула и кресло, в кресле лежит вязание.

– Ну-у? – говорит баба Женя.

Мы пожимаем плечами; баба Женя медленно, вразвалку уходит на кухню, возится там некоторое время, возвращается с подносом, на котором стоит чайник и три большие фарфоровые кружки, расставляет все на столе, выбирает себе кружку с отбитым краешком, разливает чай, снова уходит и возвращается с алюминиевой миской, полной свежей малины.

– Баб Жень... – сестра обхватывает горячую кружку ладонями, глубоко вдыхает пар. – Ты правда, ну...

– Ну-у?

– Ведьма?!

Сестра пихает меня под столом коленом, отчаянно краснеет, хватает из миски пригоршню малины и запихивает в рот. Баба Женя тихо охает, крестится, потом вдруг усмехается, вокруг глаз ее собираются морщинки.

– Ведьма, деточка.

– И к тебе правда черт ходил свататься?

– Ходил, деточка...

Кошки возятся на печи. Баба Женя вздыхает.

– ...но это по молодости, молодая я красивая была.

– Да ну вас совсем! Вы-то зачем врете, взрослый же человек!

Сестра, уже совсем пунцовая то ли от гнева, то ли от смущения, ерзает на стуле, бросает взгляды на дверной проем.

– Ведьма, ведьма, – повторяет баба Женя. – У меня и метла стоит в прихожей – приметили?

Мы расспрашиваем бабу Женю о китах, которые носят на спинах целые деревни, баба Женя на все кивает, говорит, что и такое тоже случается, и чего только не случается на этом свете, а в ее молодости случалось еще и не такое, вот только память в последнее время стала ей отказывать, да и ноги уже не те: не то что в молодости. Вечером мы помогаем ей поливать огород, перетаскиваем от грядки к грядке тяжелую жестяную лейку.

Катя сосредоточенно ворошит в костре угли.

– Я этого Гаврилу знала.

– Который утонул?

– Он не утонул. Его под второе дно затянули.

Младшая Комарова нетерпеливо ерзает, сестра раздраженно пожимает плечами:

– Кто затянул-то?

– Известно, кто... известно, кто затягивает...

Комарова многозначительно молчит, поджав губы, смотрит, как костер медленно разгорается, подкладывает в него толстые сухие ветки.

– Он все к реке по ночам ходил, с девушкой там встречался. Вот у того самого обрыва-то и встречался.

– Ну?!

– Что ты мне нукаешь? Известно, что за девушка-то...

– Комарыч, да не тяни ты!

– Известно, какие девушки в реке-то живут.

В зарослях поет какая-то птица, выводит длинную заунывную трель, которая вдруг резко обрывается в тишину. Мы прислушиваемся, вглядываемся в темноту, но видны только длинные ветви ив, раскачивающиеся над водой, кажущейся очень глубокой.

– Ее тоже понять можно, – продолжает Комарова. – Она, может, хотела его только себе оставить. Он-то в реку никогда не заходил, все боялся. А тут поспорил с пацанами, ну и стал прыгать с обрыва. Она-то его только на третий раз и утопила.

– Баба Женя говорит, твоего мальчика видела. Он о тебе спрашивал.

Комарова смотрит на сестру пристально, потом отворачивается.

– Он раз в месяц выходит, бродит по обрыву. Тоскует, небось. А она там сидит, сторожит его, чтобы не ушел. Хвост у нее...

Комарова всхлипывает, несколько раз глубоко вздыхает и умолкает. Сестра, заметив, что костер начинает гаснуть, подбрасывает в него хворост.

В отвесной стене из красной глины, изрытой выемками и уступами, рост сестры укладывается примерно раз шесть. Мы спускаемся вслепую, стараясь как можно теснее прижаться к земле: руки и ноги у нас дрожат от напряжения, лицо сестры покрыто глиняной пылью, капельки пота прочертили по ней извилистые бороздки. Слепни гудят в воздухе, садятся нам на плечи; сестра молчит, только поджимает губы, когда ее кусают. В левой руке она сжимает моток веревки с привязанным на конце камнем.

Почти одновременно мы спрыгиваем в воду: сестре оказывается по пояс, я поскальзываюсь на обросших водорослями камнях, хватаюсь за глиняную стену. Внизу река кажется темнее и глубже, чем если глядеть на нее сверху.

– Вон оно...

В середине реки вода как будто немного проваливается, завиваясь небольшим водоворотом.

– Надо поближе подойти, отсюда не закинуть.

В двух шагах от берега течение становится сильнее; мы держимся за руки, боясь оступиться, сестра тянет меня за собой.

– Может, лучше ну его?

– Сдрейфила?

– Может, Комарова правду говорит?

Сестра не отвечает, с трудом замахивается, камень попадает точно в водоворот, веревка в руке сестры резко дергается, начинает разматываться.

– Городски-и-и-е! Вы че там забы-ы-ли?!

Белобрысые головы Комаровых показываются на противоположном берегу. Сестра от неожиданности отпускает веревку: конец веревки исчезает под водой.

– Утащила! – восхищенно выкрикивает младшая Комарова. – Щас вас утащит!

Сестра не ответила, встряхнула головой. Взявшись за руки, мы с трудом бредем к пологому берегу. Под ногами – мелкий песок: он мешает идти, мы проваливаемся в него по щиколотку и кажется, будто кто-то и вправду хватает нас за ноги. Рука сестры – горячая, влажная, – чуть дрожит.

Старшая Комарова неожиданно издает испуганный визг, сестра теряет равновесие, падает, ее голова скрывается под водой.

– Вон оно! К вам плывет, спасайтесь! – наперебой орут Комаровы, размахивая руками. Их растрепанные белые волосы полощутся на ветру.

Сестра выныривает: ее лицо облеплено тиной. Ондатра, деловито загребая короткими лапами, плывет против течения вдоль берега. Сестра сплевывает в воду.

Комарова внимательно разглядывает дергающееся из стороны в сторону пламя свечи. Летом время то ли сжимается, то ли растягивается – не разберешь.

– Ну, только попробуй, только скажи что-нибудь...

– Я че? Я ниче. Молчу.

– Вот и молчи.

– Вот и молчу.

Лена заваривает чай, нарезает большими кусками купленный в магазине подсохший корж. Старшая густо намазывает его сгущенкой, откусывает, подчеркнуто тщательно пережевывает.

– А в городе нет такой сгущенки.

– Ее в городе делают. На банке посмотри.

Комарова берет банку, подносит к свече, медленно поворачивает, щурится:

– Вранье.

– А твои...

Сестра замолкает на полуслове, откусывает от своего куска коржа, запивает слишком горячим чаем и закашливается.

– У меня специальные очки были, чтобы под водой смотреть. Я их потеряла. Или, может, украли.

– Привезти тебе из города?

– В городе таких нет.

Катя вздыхает, кладет корж со сгущенкой на тарелку, отодвигает в сторону.

– Ну, давай, говори уже.

– Сама же сказала, «молчи».

Комарова ухмыляется углом рта.

– Сама сказала, «молчи», – я и молчу.

– Говори уже давай!

Сестра вспыхивает, младшая Комарова забирается с ногами на продавленную тахту, неизвестно зачем стоящую в углу комаровской кухни, обхватывает колени руками, смотрит широко распахнутыми глазами на старшую.

– Волшебные очки были. Через них можно было подводную жизнь наблюдать. Там у них почти так же, как у нас все устроено, только чисто: дома у них красивые, и перед каждым домом – сад, огород с яблоками и сливами, и дорожки ракушками выложены и цветными камушками. Пашут они и ездят на маленьких китах. А в самом глубоком омуте... – Комарова задумывается, делает несколько глотков чая, – в самом глубоком омуте живет ихний царь. У ихнего царя пять хвостов, во как.

– Это ты приврала.

– Ниче я не приврала! – у Комаровой от обиды кривятся губы. – Если б у меня Босой очки волшебные не отнял, я б те показала!

– Приврала! – настаивает сестра. – Три хвоста – это куда ни шло, но пять – это ты приврала.

– Твоя младшая – хорошая. – Комарова разгребает кочергой горячую золу от костра, закапывает в нее мелкую картошку. – Попроси ее приезжать к нам, когда мы вырастем.

– Мы будем вдвоем к вам приезжать.

Катя пожимает плечами.

Ветер раскачивает старые ивы, и кажется, будто на их ветвях сидят женские фигуры с длинными волосами, склоняются к самой воде и полощут в ней волосы. Катя сидит у потухшего костра, подперев кулаком подбородок, и выглядит еще более худой и маленькой, чем обычно. Сестра вместе с младшей Комаровой убежала домой – за хлебом и спичками.

– Вот я так сяду на берегу и буду сидеть и ждать. Если надо будет, сто лет просижу тут и прожду.

Она глубоко вздыхает, вскакивает на ноги, сбегает к реке, и слышно, как она зачерпывает ладонями воду и подбрасывает ее вверх, и вода падает с громким плеском, и что-то испуганно шуршит и возится в камышах.

После дождя

– Слышишь?

– Что?

– Будто бы поют.

Сестра поводит худыми плечами, склоняет голову набок.

– Это электрички.

В упругом воздухе гудят оводы. Как-то раз, отмахиваясь от них ивовым прутом, сестра рассекла одного ровно надвое, и две еще живые половинки упали в пыль и долго корчились в ней, а сестра смотрела, округлив рот и глаза, пока наконец не догадалась раздавить их ногой.

– А знаешь...

За полем виднеется низкая поросль плакучей ивы, скрывающей заболоченные берега реки. Из зарослей то показываются, то вновь в них скрываются две крошечные фигурки: та, что повыше, размахивает руками, грозит кулаком размером с булавочную головку. Другая, едва не теряющаяся из виду за мельтешением травы, отрицательно мотает головой.

– Это комарица пытается загнать мелкую в воду.

Сестра срывает стебелек тимофеевки, складывает пополам, прикусывает зубами, наклоняется к моему лицу и угрожающе шевелит тимофеевыми «усами».

– Я жужжжелица! Жжжж!

В самом начале лета старшая Комарова пыталась научить Лену плавать: та села на деревянный мосток, крепко ухватилась за колышек, который служил мостку одновременно и опорой, и перилами, перекрестилась, скользнула в воду и рассмеялась.

– Тут матрас, как будто!

Все еще держась за колышек, она подпрыгнула высоко, как если бы вода реки выталкивала ее. Старшая рассердилась.

– Плыви давай! Что ты там дурью маешься?!

Мелкая показала язык, побрызгала на сестру водой и подпрыгнула еще выше. Ругаясь, как сапожник, Катя скинула поношенное платье и нырнула солдатиком с мостка. Через мгновение она вынырнула: в руке ее было зажато что-то, похожее то ли на ком черной тины, то ли на обрывок мокрой шубы. Лена завизжала, пулей выскочила из воды, проползла на четвереньках по мостку, рассадив в кровь оба локтя, поднялась на ноги и пустилась наутек.

– Теперь ни за что не загонит. Мелкой теперь в каждой луже будут утопленники мерещиться.

Старшая Комарова заметила нас и помахала рукой.

Сестра мечтает стать художником. По вечерам она заставляет меня позировать, третье лето подряд подправляя один и тот же портрет, на котором изображена девушка в кринолине и с высокой прической – принцесса.

– Это Офелия, знаменитая балерина! – воскликнула младшая Комарова и ткнула пальцем в портрет. На щеке принцессы появилась веснушка.

Комаровы прячутся: несколько дней назад их собаку Лорда мальчишки из компании Босого задушили металлической проволокой. В отместку Катя обмотала такой же проволокой, в изобилии валяющейся вдоль железнодорожной насыпи, калитку Босого. Утром в ловушку попался его отец, тут же озверел и задал сыну страшную таску. Давясь слезами, Босой клялся передушить всех Комаровых сестер и братьев, и сестра, возвращавшаяся от Марии Терентьевны с бидоном молока, слышала его «Убью! Убью!», раздававшееся из-за глухого забора.

В детстве лето кажется очень долгим, а человек – очень легким. Мы кормим Вербу хлебом: она берет его с наших ладоней мягкими губами, фыркает, встряхивает давно не чесаной гривой.

Сестра обнимает ее за шею, наклоняется, заглядывает лошади под рыжее брюхо, вскрикивает шепотом:

– Это не Верба! Это же Верный!

Мы бежим по дороге, подпрыгивая, перегоняя друг друга, ромашка наполняет воздух запахом аптеки. Верный жует брошенную перед ним буханку, удивленно смотрит нам вслед, переступает натруженными ногами с распухшими суставами.

Река тащит разный сор: опавшие листья и сухие палочки, пустые спиральки раковин прудовиков. В самой середине ее есть небольшой обвитый водорослями остров, до которого можно добраться только вплавь. Старшая Комарова утверждает, что на острове зарыто сокровище, и в конце концов мы втроем добираемся до него. Лена сидит на берегу, поджав под себя ноги, все в комариных укусах. Остров оказывается зарослями тростника: мы проваливаемся по пояс в ил, старшая Комарова забирается дальше всех, увязает по грудь в черно-коричневой жиже. Сестра хватает ее за руки, тянет, Комарова упирается, мотает белобрысой головой.

– Ой, не могу я с ней, до чего упрямая!

– Дылда! Не тяни! Не видишь, меня за ноги держит?!

– Кто тебя там держит, комарица?

– Водяной, водяной схватил, держит!

Комарова корчит рожи, закатывает глаза и пытается опрокинуться на спину. Лена бросает расчесывать коленку, мечется вдоль берега, мельтешит руками, но в воду зайти не решается.

– Ааа, спасите! Ооой, помогите!

Катя с неожиданной силой тащит меня и сестру в самую гущу тростника. Сестра краснеет от гнева, пытается ущипнуть Комарову за тощее предплечье, та уворачивается, кусает сестру за палец.

На солнце грязь застывает в сероватую корку. Комарова спорит с сестрой, как лучше поступить: дождаться, когда корка засохнет, чтобы потом сколупать ее ногтями, или помыться в реке.

– Ты мне скажи, Катька, откуда такие, как ты, вообще берутся?

– Не нравится – не ешь.

Сестра пожимает плечами, трет переносицу, замечает, что палец тоже вымазан в грязи, и спускается к реке. Я иду за ней. Комарова подскакивает, зло кричит нам вслед:

– А я подожду, когда засохнет и само отвалится! А вы – городские мокрые курицы!

По вечерам в деревне часто нет электричества, и мы сидим при свечах: сестра рисует карандашами в блокноте, я читаю. По столу, накрытому истертой клеенкой, ползет, осторожно переставляя ноги, крупный черный жук. Дойдя до края пульсирующего кругляша света, жук замирает.

– Слушай, там правда был утопленник?

– Комарица говорит, был.

– Ну, то комарица...

Сестра подталкивает жука карандашом, тот с сухим щелчком переворачивается на спину и притворяется мертвым.

Во сне сестра стонет, вертится, наконец падает с кровати. Бабушка поднимает ее, сидит над ней всю ночь, поминутно наклоняется, прислушивается к ее дыханию, трогает ей лоб, что-то тихо шепчет.

Младшая Комарова с утра стоит под окнами: руки по швам, голова запрокинута, нос в веснушках, нечесаные белые пряди.

– Городски-и-и-е! А-уу! Городски-и-и-е! Че не выхо-о-дите?!

– Сестра болеет, температура у нее!

Комарова задумывается, потом снова запрокидывает голову и с видимым удовольствием выкрикивает витиеватое ругательство.

– Ну и дура!

Я захлопываю окно, через две минуты Комарова уже колотит в дверь, взбегает по крутой лестнице на наш второй этаж, лезет в коробку с игрушками, вытаскивает из нее за ухо красного шерстяного кота.

– Подари!

– Обойдешься!

Комарова прижимает кота к груди.

– А ты чем болеешь?

– Так просто...

Сестра отворачивается к стене, ковыряет пальцем дыру в обоях. Комарова молчит, мнет в руках шерстяного кота, теребит грязный подол.

– А Катька дала Босому козьих катышков. Сказала, как будто изюм в шоколаде.

– И он ел?

– Ел! Он ел и Стас ел!

– Мелкая, они теперь вас точно убьют.

– Точно убьют, – соглашается Комарова.

Сестра наклоняется с мостка, снимает с его нижней поверхности крупного прудовика. На воздухе прудовик прячется в раковину, закрывает вход плотной створкой. Сестра пытается осторожно подцепить край створки ногтем, снова опускает прудовика в воду, держит так некоторое время, но раковина не открывается, и сестра разжимает пальцы. Река, полноводная после двух недель проливного дождя, плавно перекатывается через большие гранитные валуны, на которых мы любим сидеть, свесив в воду босые ноги, в засушливое время.

Мы идем вдоль реки, сестра старается делать шаги поменьше, но все равно то и дело меня обгоняет. Земля под ногами вздыблена древесными корнями.

– А как думаешь...

– Что?

– Да так...

Сестра поднимает с земли ивовую веточку, вертит ее в руках и со вздохом отбрасывает. Опять начинает накрапывать дождь.

Лена сидит, скрестив ноги, на полу; Катя, низко склонившись над столом, шьет платье для ее шерстяного кота. Сосредоточенно вытягивает нитку, от ее усердия у старой иглы отламывается ушко. Комарова выбрасывает иглу в окно, долго копается в картонной коробке, полной спутанных ниток и пуговиц от давно истлевшей одежды, несколько раз чем-то колется, с торжествующим возгласом достает из коробки новую иглу.

– Комарова!

– Че?!

– Да ниче! Ты о технике безопасности слышала?

– Это у вас в городе – техника...

Сестра выбирает из коробки обрывок кружева, повязывает коту на хвост, Лена вскрикивает от восторга.

– Комарица, ну переезжайте к нам в город после школы! Переедете?

– Опять заладила!

Комарова хочет сказать что-то еще, но рот ее вдруг кривится, она закусывает губу, с размаху загоняет иглу под ноготь и заливается слезами.

За окнами проезжает телега: Верба везет своего пьяного хозяина домой. Лена вскакивает, выглядывает в окно:

– Накоплю денег и выкуплю у него лошадку.

– Верба старая, он ее скоро на колбасу сдаст.

– Ну и злыдня же ты, комарица!

– И ничего не злыдня, а честная. Что вы, городские, вообще о жизни знаете?

– Ты зато много знаешь!

Комарова в ответ показывает сестре язык, и мы снова ссоримся.

Дождь шелестит по крытым толем крышам, прибивает к земле глиняную пыль, переливается из придорожных канав в огороды. В колодец уже не приходится опускать ведро на длинной грохо-

чущей цепи: чтобы зачерпнуть воду, хватает длины руки. Мы гуляем под зонтиками, и Комаровы дразнят нас «бледными городскими поганками».

– Бабушка говорит, раньше дождевую воду пили.

– Вот еще! Всю жизнь живу в деревне, никогда мы дождевую воду не пили!

– Так сто лет назад! Тебя еще на свете-то не было.

– Ниче не знаю, твоей бабушки тоже тогда на свете не было.

Лена прячется под мой зонт, Катя демонстративно шлепает калошами по лужам: мокрые белые волосы облепили ее лоб и плечи, она похожа на русалку.

Ондатра высовывает нос из приречных зарослей, таращится на нас маслянистыми бусинами глаз. Лена бросает ей взятые из дома сушки:

– Кушай, крыска!

Зверек нюхает сушки, недоуменно шевелит усами, отворачивается, бесшумно заходит в воду и плывет к другому берегу: в сгущающихся сумерках видно, как сильно его сносит течением. Катя встает с влажной от прошедшего дождя земли, прохаживается вдоль берега, вглядывается в черноту реки, приставив ладонь ко лбу «козырьком», вытягивает тощую шею.

Сестра сосредоточенно водит длинным пальцем по карте. Наша река берет начало из большого верхового болота далеко на западе и течет в основном по безлюдным болотистым местам, петляет между лесами и дикими полями, жмется между берегов из красной глины.

– Говорят, тут метров шесть-семь, – сестра показывает на один из изгибов реки недалеко от железной дороги, где расположен высокий обрыв, который деревенские называют «Гаврилкой». Комарова рассказывала, что название произошло от имени парня Гаврилы, который на спор трижды прыгал с обрыва: два раза вынырнул, а на третий раз утонул. Гаврилу искали всем миром, но так и не нашли.

– ...потому что, – Катя округляет глаза и поднимает вверх указательный палец, – Гаврилу затянуло под второе дно, и он до сих пор там лежит, а в полнолуние...

– Комарица, хорош врать! – сестра сердится, на скулах ее загораются алые пятна.

– Да ниче я не вру! – кипятится Комарова. – Где это я вру? Ты сама вот сходи к обрыву в лунную ночь, увидишь!

– Да что я там увижу?

– Да ниче! Вот ниче! Вот и не говори, если не знаешь!

Комаровы остаются у нас, ужинают с нами гречневой кашей с молоком. Сестра откладывает ложку в сторону, пристально смотрит на старшую Комарову, та делает вид, что не замечает.

– Комар комарыч комаровский.

Комарова хохочет, зажимая рот ладонью, из носа ее брызжет молоко, вылетает пара зернышек гречи, мы смеемся вместе с ней, сначала сдерживаясь, потом во весь голос. Из комнаты прибегает бабушка, качает головой, всплескивает руками:

– Поесть спокойно не могут, оглашенные! Ну, еще подавитесь, еще подавитесь мне!

Слабой старческой рукой она дает сестре подзатыльник, и мы смеемся уже до изнеможения, пока из наших глаз не выступают слезы и в головах не начинает звенеть.

Сестра чему-то улыбается во сне, беспокойно ворочается с боку на бок, вдруг принимается плакать.

– Ты чего? Что тебе приснилось?

Она смотрит непонимающими глазами, часто моргает.

– Не помню, вроде ничего и не снилось.

Мы сидим рядышком и переговариваемся шепотом. Сестра дышит тяжело, как будто только что бежала.

– Ох ты, вспомнила... утопленник снился.

– Надо Комаровой утром все высказать. Она мелкую вообще запугала.

– Да она не нарочно.

Сестра думает, нервно кусает ноготь, повторяет неуверенно:

– Не нарочно она. Так просто... сдуру...

Комаровы таскают на стройке в садоводстве керамзит, набивают им полные карманы, идут на берег реки.

– Если мой камень поплывет, исполнится мое желание!

– А ваши камни все тонут, городские!

– Комар комарыч, где вы такие берете?

– Так я тебе и сказала, дылда! Это волшебные камни, вот!

Катя замирает, несколько кусочков керамзита крошатся в ее кулаке. Босой и компания – все семеро – спускаются с пригорка и не торопясь идут к нам; Босой ухмыляется во весь рот.

– Ну что, твари, попались?

Старшая Комарова широко размахнулась, швырнула в него россыпь керамзита, схватила Лену за шиворот и потянула к реке. Младшая завизжала, повалилась плашмя на землю, вцепилась пальцами в траву. Мальчишки на мгновение растерялись, потом захохотали, принялись показывать на нас пальцами. Лена лягнула старшую сестру в грудь, потом в голову, освободилась и поползла на четвереньках прочь от берега. Мы бросились в реку, поплыли, не оборачиваясь. Сестра ударилась ногой о скрытый под водой камень.

Ветер раскачивает длинные ветви старой ивы, полощет их в воде.

– Это старые русалки, между прочим.

Комарова вскарабкивается по стволу, растущему почти параллельно земле, устраивается на одной из толстых веток, свешивает вниз грязные босые ноги.

– Выбираются на берег, врастают ногами в землю и превращаются в деревья.

– Ну, началось...

Сестра отрывает пару серебристых листьев, пускает их плыть по воде, но они кружатся у самого берега и застревают в зарослях тростника.

– Ты хоть ври, но не завирайся. Какие у русалок ноги?

Комарова подпрыгивает на своей ветке.

– Че?! Я вру?! Ты вот не видела, так сама бы молчала!

– А ты, значит, видела?

– Видела! Все видела!

– Русалок ты видела? С ногами?

Сестра становится пунцовой от гнева, Комарова раскачивает ветку все сильнее, наконец та не выдерживает, надламывается, с шуршанием и плеском падает в реку, мы бросаемся вытаскивать Комарову, с ног до головы облепленную илом и ряской.

– Доврались?

– А ну тебя!

По вечерам электрички ходят через каждые десять минут. Мы нашли Лену на железнодорожной насыпи. Сестра и старшая Комарова распутали проволоку.

– Слушай, комарица...

Катя только махнула рукой и отвернулась. По путям прогрохотала электричка.

– И вовсе не похоже, чтобы они пели.

– Че?

– Да я так...

Мы побрели вчетвером через лес. Лена идет, низко опустив голову, и тихонько всхлипывает. Накрапывает мелкий дождь.

Топь

Летом луна похожа на большой сырой блин, прилипший к небу. Белая ночь – никакая не белая, и темная громада леса колышется на фоне грязновато-розового неба, и в этой громаде что-то

поскрипывает, вздыхает, и печально вскрикивает время от времени ночная птица. Старшая Комарова говорит, эта птица трижды кричит к несчастью и семь раз – к смерти. Сестра пристально вглядывается в колышущееся в синеватой дымке поле, надвое разрезанное дорогой, в темноту леса, громадным полукругом огибающую поле, указывает рукой куда-то вдаль: там из леса выпрастывается широкая лента тумана, опускается к земле и рассеивается над травами.

– Топь парит, – многозначительно произносит сестра.

Мы заходим в поле; дорогой идти не хочется, густая некошеная трава нам выше пояса, острые травинки колют голые руки, и мы поднимаем руки высоко над головами и ступаем медленно и осторожно. Над полем взлетает пара потревоженных чибисов; они вьются над нами, выкрикивая свое плаксиво-вопросительное: «Чьи?! Чьи?!»

– На гнездо бы не наступить.

– Не наступим. А в топь кто-нибудь ходил?

– Комарица ходила. Говорит, там посреди топи – остров.

– Ей Костик цветок подарил.

Костик старше нас лет на пять. Он всегда ездит на велосипеде, волосы у него светлые, но не такие, как у Комаровых, а лицом он похож на сказочного принца. Лена нашла его портрет в одной из моих книжек, потихоньку выдрала страницу и утащила в подарок Кате, но старшая Комарова рассердилась, оттаскала младшую за волосы и вернула вырванную страницу нам.

Сестра пожимает плечами, не опуская рук, и выходит смешно.

– Он из компании Босого.

– Может, он хороший.

Сестра снова пожимает плечами и протягивает нараспев:

– На болоте – жаба, в огороде – баба, чур меня, чур!

– Ей цыганка принца нагадала. Будешь в leapfrog?

Сестра резким движением опускает руки, ее рыжеватая макушка скрывается во влажной траве; я упираюсь ладонями в ее плечи, перепрыгиваю, трава облепляет все лицо намокшей пыльцой; приземляюсь, сгибаюсь в три погибели, сестра едва касается сильными пальцами моей спины, легко перепрыгивает, поле наполняется недовольным стрекотом потревоженных насекомых. Что-то большое, страшное поднимается из травы перед нами и бросается в сторону леса.

Мы смеемся, размахиваем руками, сестра пытается свистеть, но из-за смеха у нее ничего не получается, и это смешит нас еще сильнее, пока кто-то из нас не выговаривает: «Бабушка нас прибьет», и мы разом замолкаем, вспомнив о бабушке, которая будет укоризненно качать головой, увидев наши промокшие насквозь джинсы и футболки, и грозить, что больше никогда не отпустит нас гулять вечером.

– Скажем, что лося видели, лось на дорогу вышел, мы от него побежали в поле.

Едва успокоившись, мы снова принимаемся смеяться из последних сил; помогая друг другу, выбираемся на дорогу. Когда мы возвращаемся домой, бабушка уже спит, и мы, тихо стащив с себя мокрую перепачканную одежду, укладываемся в постели и сразу засыпаем.

– Ты до самой топи хотела дойти?

– Топь далеко. Не дойти.

– Комарова...

– Врет Комарова.

Сестра лежит, вытянувшись и заложив руки за голову, на крытой толем крыше сарая. По закатному небу медленно плывут облака.

– Городски-и-и-е!

– Ну, чего тебе?

Сестры Комаровы стоят во дворе, запрокинув белобрысые головы.

– Костер жечь идете? У нас хлеб и картошка.

– Небось с колхозного поля?

– Много будешь знать, скоро состаришься.

Катя нанизывает на прутик куски черного хлеба, кладет на горячие с красными прожилками угли, осторожно поворачивает.

– У нашей соседки корова ушла на той неделе и не вернулась.

– В топь зашла, наверное.

– Если в топь, то с концами.

Некоторое время мы сидим молча, смотрим на медленно чернеющие угли и думаем о топи: какая она и как до нее добраться. Говорят, в окружающих деревню лесах полным-полно глубоких болот, а Комарова говорит, что если зайти в эти болота, выйти обратно уже нельзя, обязательно затянет, потому что на болоте растет особая ядовитая трава, от запаха которой человек теряет память и зрение. Топь начинается там, где растет пушица – «заячьи лапки», и бабушка чуть не каждый день повторяет, чтобы мы, если гуляем по лесу и увидим заросли пушицы, немедленно поворачивали обратно.

– У нас есть какие-то родственники в городе. Одна приезжала такая, тетка, вроде...

Хлеб сваливается с прутика, Катя ругается, пытается достать его пальцем, обжигается, сует серый от пепла палец в рот.

– Комарова, сплюнь, отравишься!

– Я говорю, тетка приезжала, два дня прожила, а на третий батя напился и ну ее таскать за волосы по двору. Смешно было.

Младшая Комарова смеется, сестра презрительно фыркает.

– Очень смешно, комарица.

– А че? Он ее таскает, а она визжит, – нет, чтобы кусить. Я б кусила.

Комарова наконец вытаскивает из углей почерневший кусочек хлеба, жует его с хрустом; Лена достает из золы мелкую, как горох, картошку.

– Там в топи есть остров. Камень торчит из воды – большой, как остров. На этом камне, говорят, давным-давно жил отшельник. Святой человек. Он на камне перед смертью написал заклинание. Если его прочесть, все желания исполнятся, и жить будешь долго.

– Ты ж говорила, была там. Чего не прочитала?

Комарова молчит, сосредоточенно скручивает козью ножку из обрывка газеты, набивает ее сухими малиновыми и черничными листьями, закуривает.

– Ну, была. Так там не по-нашему написано.

– Комарица, тебе правда Костик цветок подарил?

– Ну, подарил.

– Ты же не ходила на топь. Там, может, и нет никакой топи, одни разговоры только.

– А чего есть?

Сестра тоже скручивает козью ножку – медленно, не так ловко, как Комарова, и козья ножка выходит у нее не плотным конусом, а вся какая-то рыхлая и растрепанная.

Босой с компанией однажды загнал нас с сестрой в заросшую кувшинками старицу. Мы были во фланелевых халатах: сестра – в красном, я – в синем, и с неба сыпала осенняя морось, хотя лето было еще в самом разгаре. Мальчишки стояли на берегу, ухмылялись, сплевывали на землю, но, так и не придумав, что с нами делать, ушли. Подождав некоторое время, мы выбрались из старицы, с ног до головы перемазанные густым вонючим илом.

Сестра курит, смотрит на Комарову сквозь струйку ароматного дыма.

– А он там был...

Комарова открывает рот, хочет что-то сказать, но вместо этого качает головой и молча отворачивается. Младшая скручивает еще две козьих ножки, одну отдает мне. В лесу раздается печальный, прерывистый крик ночной птицы. В деревне ей отвечает разбуженная собака. Когда птица смолкает, Комарова деловито спрашивает:

– Ну, че, сколько раз кричала?

– Трижды кричала.

– Нет, у ней перерыв был еще один, – спорит Комарова, – она так крикнула: гуу-гуу, а потом еще раз так же, четыре раза, значит, крикнула.

Сестра тушит почти догоревшую самокрутку о землю.

– Ничего не так, она так кричала: гууу-гууу-гууу, точно трижды кричала, это к несчастью.

– Я те говорю, четыре раза крикнула, это ничего не значит, когда четыре раза кричит, надо, чтобы три раза или семь раз крикнула, тогда это значит, а если четыре, то ничего не значит!

Комарова бледнеет, на скулах у сестры появляются красные пятна. Наконец сестра медленно произносит:

– Может, это вообще не та птица кричала.

– Может, и не та, – быстро соглашается Комарова. – Та иначе кричит, протяжнее. А эта коротко кричала.

– Точно коротко кричала, так: гуу-гуу.

– Так я так и говорила!

– Нет, ты не так говорила, ты иначе говорила...

В лесу снова кричит птица: долго, заунывно, как будто оплакивает кого-то. Младшая Комарова шмыгает носом.

– А холодает. В августе все уже, считай, осень.

– Птица эта – цыганка, – говорит старшая Комарова, сгребая в потухший костер сухие ветки и чиркая спичкой.

– Какая цыганка, комарица? Ты совсем уже!

– А такая, самая обыкновенная цыганка, – гнет свое Комарова. – Тут табор стоял недалеко, у самой железной дороги. В таборе была молодая цыганка – красивая-прекрасивая. Звали ее Зора. И один парень из деревни ее полюбил, его Андреем звали, он через два дома от нас жил. Так этот Андрей все за ней ходил, как привязанный, а она ему все никак не давалась. А он ей и подарки разные покупал, и в табор приходил по хозяйству помогать. Ну, наконец Зора не выдержала и тоже в него влюбилась. Они стали вместе жить, он ее из табора к себе забрал.

Комарова замолчала, поворошила палкой медленно разгоравшийся костер.

– Ну?

– Чего тебе?

– Дальше-то что было?

– А чего, – задумчиво протягивает Комарова, – чего дальше-то бывает. Ну, родились у них дети, а она ему надоела потихоньку, он выпивать стал, и с батей моим часто пил, а потом домой приходит, Зора ну его ругать, такой ты, мол, растакой, погубил мою молодость, хозяйство, мол, разваливается, дети все оборванные, плачут. Он как-то раз ее и побил. Раз побил, другой, а потом пристрастился. Зора ходит по деревне: то под одним глазом фонарь, то под другим. А куда ей деваться? Никого родственников у нее нет, табор с места снялся и ушел, друзей тоже нет. Ну и, в общем, зазвала она своего Андрея под каким-то предлогом в лес, там его задушила, а сама превратилась в ночную птицу и улетела в самую чащу, и теперь плачет там о своей загубленной молодости.

Мы прислушиваемся, но птица больше не кричит. В костре сильно потрескивает: Комарова по недосмотру нагребла туда сосновых шишек.

– А что тетка ваша?

– А чего она?

– Приезжала-то зачем?

– А... так... – Комарова пожимает плечами, – так просто... в гости.

– Она нас в город забрать хотела, – вставляет мелкая. Старшая отбирает у нее козью ножку, бросает в огонь.

– Тебе курить рано еще.

Лена садится спиной к костру и принимается сосредоточенно ковырять в носу мизинцем.

– У меня сыр есть. Сыр кто-нибудь будет?

Корова Милка, возвращаясь с поля, по ошибке забрела в наш двор и встала, загородив задом калитку и растерянно поводя из стороны в сторону большой рогатой головой. Сестра, увидев

ее, взвизгнула, убежала в дом, высунулась из окна и крикнула ждавшим на дороге Комаровым, что мимо коровы не пойдет. Старшая Комарова выругалась, протиснулась в калитку, оттолкнув худыми руками коровий зад, подошла к корове спереди и внимательно посмотрела в ее влажные, чуть навыкате глаза.

– С куста ветку сорви и по морде ей, – подсказала из окна сестра.

Комарова не ответила, вдруг прижалась лицом к мягкому розовому коровьему носу, обхватила корову за шею и вздрогнула тощей спиной. Милка мыкнула, тихо звякнула колокольчиком и, сообразив, что зашла не туда, попятилась и задом вышла на дорогу.

– Ты их совсем не боишься, комарица?

– Быков боюсь. К быку лучше вообще не подходить. И к барану. И к козлу. А к корове, к козе и овце можно. Я корову и козу и доить умею.

Комарова показывает, как нужно доить корову и козу:

– У коровы сосок во какой: короткий и скользкий, а у козы во какой: длинный, сухой и ухватистый.

– А у овцы?

– У овцы не знаю. У овцы там шерсть одна.

У пруда дорога раздваивается: налево еще недолго продолжается деревня, за ней – поле; направо сразу начинается лес. Мальчишки расчистили опушку леса, так что получилась круглая полянка, поставили с двух ее сторон ворота, каждые из трех толстых жердей, назвали полянку «футбольным полем» и с утра до вечера гоняют по ней мяч. Старшая Комарова, идущая впереди, на развилке сворачивает направо, ускоряет шаг, проходя мимо «футбольного поля», и украдкой бросает взгляд на Костика: он в белой футболке и шортах, и кажется стройнее и выше своих товарищей.

Младшая Комарова вдруг хватает сестру за руку и встает, как вкопанная.

– Чего ты?

– Этой дорогой цыгане ездят.

– Чего тебе цыгане?

Лена вдруг принимается реветь в четыре ручья, размазывая слезы по щекам и громко шмыгая носом, мы наперебой успокаиваем ее, в лесу отчетливо, трижды кричит ночная птица, и кажется, будто она кричит совсем рядом. Младшая Комарова затихает, закрывает голову руками, валится на колени, вся сжимается, часто-часто всхлипывает.

– Что это она днем кричит? Днем не считается.

– Точно не считается. Она только если ночью кричит... слышь, Ленка?

Младшая не двигается, и мы втроем силой поднимаем ее на ноги. Дорога, по обе стороны которой тянется лес, теряется за горизонтом, и длинный треугольник неба над ней такого цвета, что кажется, будто вместо неба кто-то растянул только что выстиранную светло-голубую материю.

– Слышь, комарица...

– Чего тебе еще?

– А с детьми Зоры-цыганки что стало?

– А чего... – Комарова кладет на горячий, только что снятый с углей кусок хлеба ломтик сыра. – Зора, она как в птицу-то превратилась, начала плакать в лесу и детей своих звать: они ночью просыпаются и слышат, что мама их из леса зовет, ну, встали, причесались, умылись, оделись и пошли к ней в лес, а она их в топь-то и заманила. Они в топь-то зашли, а выйти не могут, ну, заблудились все и увязли.

– Вы тут что забыли?

Мальчишки выстроились в ряд, загородив нам путь обратно в деревню. Босой ухмыльнулся.

– Ну, что?

Сестра, схватив меня и младшую Комарову за руки, потянула нас в лес. Катя шагнула вперед, уставилась немигающими глазами на Костика. Из-за яркого солнца ее глаза показались такими же светлыми, как волосы.

– Ты мне цветок подарил.

Костик смущенно хихикнул, передернул плечами, оглянулся на остальных.

Комарова наклонилась, подобрала с земли камень и молча бросила Костику в лицо. Он вскрикнул, закрыл лицо ладонями.

Босой попытался схватить Комарову, она вывернулась, и через мгновение мы все, перепрыгнув придорожную канаву, помчались в лес, и испуганная ночная птица кричала совсем рядом, так что невозможно было понять, сколько раз она кричит; влажная лесная земля чавкала, хватала за ноги, и нам казалось, что сейчас нас поймают, мальчишки кричали, смеялись, гнались за нами, зная, что нам от них ни за что не убежать, и их веселые крики смешивались с протяжными и печальными криками ночной птицы, а потом позади вдруг раздался страшный рев и треск, как будто кто-то огромный продирался через подлесок и ревел от злости или от голода, а мы все бежали, пока не упали в нагретый солнцем мох, из которого то тут, то там торчали тонкие стебельки «заячьих лапок».

– Все, – выдохнула Катя и долго не могла сказать больше ни слова, только тяжело дышала, и мы тоже пытались и все не могли отдышаться, и сплевывали в мох густую слюну с металлическим привкусом.

– Все, – повторила Комарова, – там дальше топь.

В лесу было тихо, как будто никто только что не бежал и не кричала среди бела дня ночная птица. В тени тонко звенели комары, и что-то потрескивало и поскрипывало, затем в подлеске снова что-то громко затрещало, Лена скорчилась, обхватив колени руками, всхлипнула:

– Идут!

Кусты раздвинулись, и из них, осторожно ступая копытами по мху, вышла корова. Увидев нас, она остановилась, качнула головой, и колокольчик на ее шее глухо звякнул.

– Это ж Милка! – взвизгнула Комарова, вскочила на ноги и бросилась к корове. – Милочка! Нашлась!

За железнодорожным переездом деревня заканчивается, и на многие километры безлюдная дорога тянется через лес; изредка по ней проезжают сильно пылящие машины, от которых приходится спрыгивать в глубокие придорожные канавы, на дне которых копится черная болотистая влага. Мальчишки по этой дороге не гуляют: им лень перетаскивать через переезд свои велосипеды. Комарова говорит, если долго идти по этой дороге, можно дойти до перекрестка: направо будет уходить проезжая часть, а налево – лесная просека, и если свернуть на просеку, то она приведет прямиком в топь, которая почти сплошным кольцом окружает деревню.

– Они когда просеку-то делали, хотели на Сусанино выйти или на Семрино, а уперлись в болото, два трактора там утопили, ну и бросили это дело.

Комарова идет, сильно размахивая при ходьбе худыми руками и время от времени пиная попадающиеся под ноги камни.

– Топь и осушить пытались, и чего только с ней не делали, а все без толку.

– Все-то ты, Катька, знаешь.

– А чего не знает, то выдумывает.

Комарова хмурится, но ничего не отвечает.

– Слышьте, городские... – вдруг начинает она, запинается, раздраженно сплевывает в пыль.

– Слышьте... а если я этой тетке-то городской позвоню, как думаете? Ну, той, которая приезжала...

– А что? Позвонить можно, почему не позвонить? На фельдшерском пункте телефон есть, можно завтра с утра...

– Да я без тебя знаю! – обрывает сестру Комарова. – Вчера приехали, уже думают, лучше всех все знают!

Она выхватывает из кармана спички и пару самокруток, поджигает их, одну отдает Лене, закуривает и ускоряет шаг. Сестра тоже достает из кармана спички и самокрутку, слюнит отошедший краешек бумаги, аккуратно его прилаживает; несколько раз чиркнув спичкой, закуривает, смотрит Комаровой вслед, щурясь от яркого июльского солнца.

Комарова

Сестра поймала большого пятнистого тритона с красным гребнем вдоль спины и красными перепонками на лапах, посадила его в наполненную водой трехлитровую банку, набросала в банку водорослей. Комаровы, не отрываясь, глазеют на медленно плавающего в банке тритона.

– Красивый. Это дракон?

– Тритон, сказали же тебе.

– Тритон – это ребенок дракона?

Сестра молчит. Младшая Комарова тянет ее за рукав.

– Ну?

– Ну, вроде да.

Катя недоверчиво стучит ногтем по стеклу. Вечером мы выпустили тритона обратно в пруд.

Когда отец Комаровых буйствует и принимается колотить их чем ни попадя, старшая Комарова сгоняет мелких в сарай, запирает сарай на замок, сама забирается на крышу и оттуда швыряет в отца кусочками толя и щепками. Отец Комаровых тупо колотит в двери сарая кулаками и грозится его поджечь.

– И подожгет. И сожгет. – Комарова плюет в костер, прислушивается к слабому шипению испаряющейся с поленьев слюны. – Ему че?

– Сволочь он, – поддакивает младшая, и Катя дает ей звонкий подзатыльник.

– Не ругайся.

– Тебе можно, а мне нельзя?

– У меня вон че, видала? – старшая Комарова вытягивает перед костром свои длинные худые руки с широкими ладонями, покрытые шишечками мозолей.

– Это я огненную траву собирала.

– Началось, – сестра поднялась с земли, отряхнула шорты, – я до дому, сыра принесу.

– У огненной травы листья острые и твердые, как ножи, – продолжает Комарова, тыча в нос младшей растопыренными пальцами, – и растет она по берегу огненного озера, в котором живут огненные драконы. А у тебя че?

Она сжимает Ленино запястье, подтягивает к пламени, та взвизгивает.

Сестра возвращается с четырьмя наспех сделанными бутербродами, старшая Комарова хватает сразу три и два отдает Лене.

– Ты как с голодного острова...

– А ты – жопа.

Сестра пожимает плечами, разламывает оставшийся бутерброд пополам и отдает мне половину.

– Так ты их видела, комарица?

– Кого? – с набитым ртом спрашивает Комарова.

– Ну, драконов.

– Видала. Они у нас кур таскали и курятник сожгли.

Сестра покатывается со смеха, Комарова злится.

– Че, не веришь?

– Да верю я, верю, это я так... – сестра толкает меня локтем в бок. – Ты комарице веришь?

– Ты же говорила, ваш батя по пьяни курятник-то...

Комарова не торопясь дожевывает бутерброд и многозначительно отвечает:

– Правду не всегда можно сразу сказать, могут не поверить.

Она больше не сердится и садится чуть поодаль от костра, вытянув к огню ноги, упершись ладонями в землю и запрокинув голову. Не заплетенные в косу белесые волосы, раскиданные по плечам, чуть шевелятся от вечернего ветра.

– В городе, говорят, люди могут в одном доме жить и друг друга не знать. Вот бы нашего батю не знать.

– Не вышло бы. Вы же семья.

– Тогда дрянь ваш город, – задумчиво говорит Комарова, – и нет в нем ничего хорошего.

– Что ты понимаешь?

– Ты зато много понимаешь.

Комарова вытягивается на земле, закидывает руки за голову и прикрывает глаза. Из кустов высовывается злая физиономия Дины, зыркает на нас желтыми глазами и снова скрывается в кромешных сумерках, до которых не достает свет костра. В деревне не так много дачников: кроме нас, еще одна мама с худеньким застенчивым мальчиком (кажется, его зовут Тёмой), и несколько бабушек с внучками, которые не дружат с нами из-за Комаровых. Одной, которая отказалась дать младшей Комаровой поносить браслетик из бисера, Катя забросала окна веранды конским навозом. Вызвали даже участкового, но он, посмотрев на комаровское творчество, только хмыкнул и пожал плечами. «Дети, что с них взять?»

Сестра колет дрова умело, как будто в своей Москве только этим и занималась. Стоя неподвижно, размахивается сильными руками, опускает тяжелый топор, и две аккуратные чурочки разлетаются в разные стороны. Я сижу на высоком крыльце, чтобы не задело: сестра не скоро устанет и отдаст топор мне, и я буду мучиться, сбивая полено с увязшего в нем лезвия.

– Ты в комаровском сарае была? – спрашивает сестра и, не дожидаясь ответа, продолжает:

– У них там все... грабли, косы, вилы, все ржавое и в кучах, а света нет. Как она их там запирает?

Я пожимаю плечами: откуда мне знать.

– Вот и я думаю. Ну лучше, конечно, чем их батя... его бы туда загнать. Вон кошка их.

Дина проскальзывает в приоткрытую калитку; прижав уши, наискось перебегает двор, вспрыгивает на крыльцо и раздраженно мявкает.

– Жрать просит. Комарова покормить забыла.

– Комар ее мышами кормит. Диночка, хочешь сосиску?

Говорят, есть страны, в которых круглый год лето, а у нас на севере лето такое короткое, что не успеешь о нем подумать, как оно уже кончилось. Как комарица справляется с хозяйством осенью, когда их двор превращается в жидкую грязь, или зимой, когда снега наметает выше первого этажа? Дина, урча, заглатывает пару сосисок, третью хватает зубами за середину, спрыгивает с крыльца – и только ее и видели.

– Котятам потащила.

– Может, хватит уже?

– Не, я еще поколю. Не устала.

Сестра замахивается; рубашка на ней совсем мокрая от пота. Ветер раскачивает заросли ольхи за домом, и они издают громкий шелест, похожий на звук приближающегося ливня.

– Давным-давно наш батя был хозяином этих мест. Он был не такой, как сейчас, у него был большой хороший дом и конь, и он на коне объезжал всю округу, и везде ему кланялись.

Комарова говорит, неотрывно глядя на костер, как будто высматривая в нем что-то.

– Брови спалишь, Кать.

– А потом... – Комарова хмурится, трет переносицу.

– Забыла что-то?

– Ага... позабыла... Ты вот, длинная, кем хочешь стать, когда вырастешь?

– Художником, наверное.

– Вон оно как... – Комарова говорит медленно, как будто каждое слово ей приходится вспоминать, – а мелкая хочет стать балериной.

– А ты?

– Чего я?

– Ты-то кем?

– Я-то? Да никем не хочу!

Она вдруг сердится, вытаскивает из кармана козью ножку и закуривает.

Несколько дней мы не видимся с Комаровыми: у них много дел по хозяйству, и, проходя мимо их двора, мы слышим, как старшая кричит на сбившуюся с ног Лену:

– Куда потащила?! Сюда, сюда ставь! Балда! Стой, кому говорят!

Сестра сосредоточенно выдергивает растущие по обочине стебельки тимофеевки.

– Как думаешь... – начинает она и не заканчивает вопроса.

– А что тут думать? – говорю я, делая вид, будто ее поняла. У сестры есть привычка обрывать фразу на полуслове, как будто ее мысль вдруг погружается на большую глубину.

– Комарова говорит, если надолго задержать дыхание и нырнуть в пруд, можно вынырнуть с другой стороны Земли в огненной стране. Там, говорит, люди огненную траву собирают, пьют пламя и вместо домашних животных держат драконов. Как думаешь, врет?

Лето особенно хорошо, когда наступает вечер, становится прохладно, и теплые испарения поднимаются от влажной почвы. Воздух такой плотный, что его, кажется, можно нарезать ножом и положить на хлеб. Сестра выпрямляется, взмахивает руками и подается вперед, как будто действительно хочет нырнуть.

За весь вечер никто не встречается нам на пути, кроме участкового. Он проходит мимо, потом останавливается, окликает нас и спрашивает, знают ли взрослые, что мы гуляем так поздно.

– Так лето же, – отвечает на его вопрос сестра, и он, махнув рукой, уходит своей дорогой.

Неожиданно Комаровы заявляются к нам под вечер и влезают на крышу нашего сарая – смотреть закат.

– Катька открыла, что Солнце – это вода, – доверительно сообщает мелкая, указывая пальцем на красноватый солнечный диск, – поэтому в космосе оно собирается в шарик. Ей в школе двойку поставили.

Катя стукает ее костяшками пальцев по лбу, но не сильно: Лена только слегка отклоняется и в ответ легонько пихает старшую сестру в плечо.

– А че, не вода? Вон, сейчас до горизонта дойдет и начнет растекаться. У нас медленно растекается, а на юге – быстро.

– А ты была на юге, комарица?

– А че я там забыла? – уклончиво отвечает Комарова. – Там люди вверх ногами ходят.

– С чего это они вверх ногами-то ходят?

– С того, что на юге земля горячее, – сердится Комарова, – с того же, что Солнце у них быстрее по горизонту растекается. Жарче у них потому что!

– Да поняли, поняли, вот раскипятилась... – примирительно говорит сестра и добавляет:

– Разве ж кто спорит?

Комарова сидит, нахохлившись, и отковыривает пальцем кусочки толя от крыши. Солнце касается горизонта, мы сощуриваемся так, что на глазах выступают слезы, и нам кажется, будто краешек его и вправду вскипает мелкими пузырьками, начинает плавиться и медленно, капля за каплей, утекает за горизонт.

Когда на окраине деревни разом сгорели три дома, бабушка возила нас в Вырицу в баню. Комаровы вместе с другими таскали ведрами воду и песок, но дома все одно сгорели, и на их месте остались торчать обугленные бревна и черные печные трубы.

– Дотла! – говорит старшая Комарова значительно. – Такой огонь воды и песку не боится, а ветер – любит.

– А люди как же?

Комарова пожимает плечами:

– По родственникам пока пересидят. Деревня ж, все всем родственники. В городе, небось, не так.

– У нас в городе люди вверх ногами ходят.

– С ней серьезно, а она издевается! – сразу обижается Комарова. – Тут три дома сгорело, понимать надо. Расследование будут теперь проводить.

– Что тут расследовать? Родственники твои по пьяни подожгли. Каждое лето – одно и то же.

Комарова обижается окончательно и идет некоторое время молча, пиная попадающиеся под ноги мелкие камешки.

– Я, может, такое видела, чего ты в жизни не видела.

– И что ты такое видела?

– А вот все и видела, – бубнит себе под нос Комарова, – нечего потому что в баню каждый вторник таскаться. У вас в городе, небось, грязища страшная, если вы так часто моетесь.

Гадают Комаровы на всем, что под руку попадется: на желудях, на кофейной гуще, на пламени свечи и на пчелином воске, на блюдечке с голубой каемочкой, на полете птиц и насекомых и на форме облаков. Комарова бросает в костер травинки и веточки, внимательно наблюдает за тем, как они съеживаются от жара и вспыхивают, хмурится, цыкает зубом и качает головой: то одобрительно, то разочарованно.

– Что там у тебя, комарица?

– Мальчишки, кстати, бросают в костер всякую живую мелюзгу, лягушек и полевых мышей.

– Едят они их?

– Чего? – Комарова отрывается от созерцания своих травинок. – Какой едят? Смотрят просто.

Из-за вырубки леса болота расширились так, что на месте деревни образовалось большое топкое озеро, из которого то тут, то там выглядывают изъеденные влагой остовы домов. Если бросить камень в черную от гуминовых кислот и мутную от ила воду, то раздастся глухой плеск, и по гладкой поверхности медленно, как бы нехотя разойдется несколько кругов. Часть домов на высоком берегу реки уцелела, правда, большинство людей разъехалось: те, что помоложе и покрепче, подались в город, и в деревне осталось доживать свой век только несколько стариков. Мы долго ищем нужный дом, стучим в дверь, на которой сохранились еще остатки темно-зеленой краски. Баба Женя открывает не сразу, и сначала мы слышим ее неторопливое шарканье в прихожей. Наконец раздается ворочанье тяжелой щеколды.

– Ну-у, черт рыжий и черт черный! – увидев нас, баба Женя всплескивает руками.

У ее ног трутся две большие пестрые кошки.

– Это что же, Машка с Дашкой?

– Да это уж внучки ихние.

Баба Женя улыбается, и все лицо ее, как будто никогда не бывшее молодым, собирается в морщинки. Сестра с порога сует ей в руки большой пакет печенья, баба Женя приглашает нас в дом, и мы идем по чистенькой прихожей, заходим в комнату, где та же русская печь, иконы и фотографии на стенах, только герань пропала с подоконников. Мы садимся за круглый столик, накрытый желтой клеенчатой скатертью, и баба Женя уходит медленно, сильно шаркая ногами в стоптанных тапках, на кухню. Сестра вскакивает, идет за ней и скоро возвращается с подносом, на котором – чайник и три фарфоровые кружки; я сижу и гадаю – те самые или не те самые, пока баба Женя не выбирает себе ту, у которой чуть отбит краешек.

– А малины нет. Весь огород залило.

– Вот оно что...

Мы вздыхаем, отхлебываем горячий чай, грызем печенье и не знаем, с чего начать разговор.

– А если вода ещё поднимется? – наконец находится сестра.

Баба Женя молчит, качает головой, гладит свернувшуюся на ее коленях кошку. Пальцы ее – совсем тонкие, с большими опухшими суставами, – мелко дрожат.

Я делаю большой глоток чая и закашливаюсь.

– Баба Женя... а ты тогда-то ведь все видела?

– Ну-у? – улыбается баба Женя.

– Так что же не рассказала все... участковому-то?

– Ничего я не видела, деточка. Глаза у меня совсем слабые стали.

Мы по очереди ныряем в пруд: вода в нем теплая, как парное молоко, и кисловато пахнет тиной. Берег топкий и скользкий, и мы с Комаровой с трудом вытаскиваем из воды сердито отплевывающуюся сестру. Выбравшись на твердую землю, она долго протирает ладонями залепленное

ряской лицо, выжимает волосы, топает босыми ногами по дерну, подскакивает к Комаровой и сует ей под нос кукиш.

– Я на середине до дна ногами достаю, поняла, нет?

– Это тебе показалось, – невозмутимо отвечает Комарова, – еще попробуй.

– Мне показалось! Это мне показалось! – сестра краснеет до корней волос. – Сама ныряй в эту вонючку!

От сильного ветра деревья на опушке леса колышутся и шелестят листвой. Комарова склоняет голову чуть набок, говорит неодобрительно:

– Ну, зашептались...

Она рассказывает, что в ветреные августовские ночи можно увидеть, как в лесу с одного дерева на другое легко перепрыгивают длинные извилистые огоньки, и иногда, если такой огонек задержится на ветке чуть дольше, чем следует, от дерева поднимается тонкая струйка сизого дыма, едва различимая на фоне ночного неба. Падая в болото, огоньки не гаснут, а тихо, без шипения и брызг уходят на дно.

– Вон оно как, – Комарова делает большие глаза и поджимает губы, – такие вот дела... А если на крышу дома сядет – совсем беда.

Она вдруг умолкает, сестра подходит к ней, заглядывает в лицо.

– Комар, ты что это?

– Ничего, соринка в глаз попала.

Порыв ветра срывает с одуванчиков невесомый пух семян, кружит его в воздухе. Комаровы бросаются ловить семена, чтобы загадать желание, но пушинки не даются в руки, проскальзывают между пальцами. Сестра наклоняется, срывает сразу несколько одуванчиков, протягивает Комаровой, но та отворачивается.

– Так нечестно.

Мы смеемся, дуем на пепельно-белые шарики, они рассыпаются: семян теперь так много, что они сами садятся нам на рукава, путаются в волосах.

– Я хочу стать художником!

– Я хочу стать балериной!

– Про себя надо загадывать, – сердится Комарова, – про себя, иначе ничего не сбудется.

Она ловит несколько пушинок, застывает неподвижно, зажмурив глаза и плотно сжав губы.

– Наш батя и к царю даже ездил на своем коне, – сообщает Комарова, – и царь ему дал особую похвальную грамоту.

– Какой царь, комарица? Сейчас нет никакого царя.

– Я же тебе не про сейчас говорю. Это же давно было.

Комарова подбрасывает в костер сухие ветки.

– Не хочешь слушать, не буду ничего рассказывать.

Сестра отвечает что-то примирительное, я тоже, Комарова смягчается и продолжает:

– Вот, значит... это до того было, как большой пожар случился. Полдеревни тогда выгорело, а то и больше. Может, кто из тех, кто у пруда-то дежурил, не уследил...

– Ну, Катька... ты уж совсем.

– Чего это я-то?! – Комарова вскакивает так быстро, что от костра разлетаются в разные стороны искры. – Я тебе говорю, после этого царь-то на батю рассердился и все у него отобрал. А батя с горя и запил. Вон, мелкая подтвердит.

Лена энергично кивает:

– Так и было, а Катька никогда не врет, всегда говорит только правду.

Сестра бросает в темную воду пруда камни и считает круги, расходящиеся по его поверхности.

– Пять. Теперь семь. Девять. Это от размеров камня или от чего зависит?

Не зная, что ответить, я подбираю с дороги несколько камешков и один за другим бросаю их в пруд.

– Так неправильно, нужно по одному! Как теперь посчитать?

Электричка от деревни до города идет примерно полтора часа, а когда останавливается только в Павловске и Пушкине, то не больше часа. Сестра прижимается лбом к прохладному оконному стеклу, смотрит на мелькающие за окном деревья: до Павловска дорога идет через лес, в котором изредка попадаются небольшие станции и полустанки. «Выход из первых двух вагонов». Полная женщина в голубом ситцевом платье идет между рядами сидений:

– Мороженое! Мороженое! Кому мороженое?

Мы покупаем два вафельных стаканчика по двадцать пять рублей.

– А помятых нет? – спрашивает сестра.

Женщина удивленно улыбается, качает головой, ее крашеные хной и завитые мелкими колечками волосы светятся в косых лучах солнца.

– Быстро как лето пролетело. Как будто его и не было.

Электричка стучит колесами, плавно раскачивается: скоро лес сменится полями, а потом потянутся однообразные новостройки городских окраин.

– Ты как думаешь... – начинает сестра, по обыкновению умолкает, но тотчас возвращается к едва не упущенной мысли:

– Как думаешь, поверил тогда Катьке-комарице участковый?

Я отрицательно качаю головой: конечно, не поверил, да и как мог взрослый человек поверить, просто пожалел, и остальные тоже пожалели, потому что оставить семерых детей без отца, даже без такого отца, который был у них, – на это невозможно было решиться.

– Вот и я так думаю, – соглашается сестра. – Она сказала, что это огненный змей вылетел из пруда и поджег их сарай. Они в окно успели вылезти и пересидели у бабы Жени, а батя их туда не полез, потому что бабу Женю боялся: Катька его запугала тем, что баба Женя – ведьма и что черт к ней через печную трубу каждую ночь ходит.

Поезд медленно подползает к вокзалу, и кажется, будто все было так далеко и так давно, что было правдой: длинный извитой огонек случайно сел на крышу комаровского сарая, и запылали старые доски и слежавшееся сено.

Старшая Комарова сидит на корточках на берегу пруда, осторожно раздвигает растопыренными пальцами ряску, вглядывается, сощурившись, в темную, почти черную воду.

– Тритона хочешь поймать, что ли?

Комарова отрицательно мотает головой, подается вперед, чуть не падая в пруд, зачерпывает рукой воду: на красноватой ладони на мгновение показывается тритон и тотчас соскальзывает обратно.

– Вот ведь... ушел...

– На что он тебе, комарица?

– Так... – Катя встает и не торопясь отряхивает запыленную юбку. – Так... в банку посадить. Ленка хочет из него дракона вырастить.

– Опять ты наплела ей с три короба.

– А че сразу я-то? – Комарова с вызовом смотрит на сестру, ее белесые ресницы чуть подрагивают, потом отворачивается и снова наклоняется над прудом. Мы присаживаемся рядом с ней, смотрим, как она водит руками в воде, пока солнце за нашими спинами не уходит полностью за горизонт и не наступает прохладная и тихая августовская ночь.

Сергей БОРОВИКОВ

В РУССКОМ ЖАНРЕ–51

Мастеръ Гамбсъ этимъ полукресломъ
начинаетъ новую партію мебели.

***

Вячеслав Огрызко в «Литературной России» делает благое дело, напоминая о забытых или полузабытых советских литераторах. Пишет многословно, небрежно, почти всегда поверхностно, и все же благое дело, полезное. Недавно предложил долгое изложение биографии Дымшица, чья, скажем так, охранительная позиция известна, но интересен весь его нестандартный путь в литературную власть. Правда, меня удивило утверждение о немалом вкладе, который якобы внес Александр Львович в науку.

Думаю, редактор ЛР перенес административные таланты одиозного критика на литературные. Сейчас я просто процитирую одно из предисловий, за которые без всяких на то профессиональных оснований брался Дымшиц. А то, что именно ему поручалось предварять издания сомнительных с точки зрения идеологии писателей, естественно – требовалось «правильно» ориентировать девственного советского читателя. И вот что у него из этого выходило...

Цитаты из предисловия к тому пьес Леонида Андреева в серии «Библиотека драматурга» – Москва, «Искусство», 1959.

«...пришел к драматургии... его вступление в литературу... содействуя его вхождению в литературу... пошел навстречу... путь Л.Андреева к литературе был нелегким... Леонид Андреев вошел в литературу... открыли дорогу... привели его к активному сотрудничеству... проявились идейно-художественные колебания... ущербные тенденции не приняли еще угрожающего характера... в творческих шатаниях, сопутствующих Леониду Андрееву... В ту пору Андреев смело возвышал свой голос против самодержавия... Однако такие настроения у Андреева никогда не шли дальше стихийности. До сознательной последовательной революционности он сам никогда не поднимался... сочеталось у Андреева с частыми отклонениями в сторону... Он отходит от среды демократов... Переход Леонида Андреева в лагерь реакции вырыл идейную пропасть между ним и Горьким... Дальнейший путь... если раньше Андреев, будучи художником критического реализма, нередко отклонялся от его принципов и традиций, то теперь... Отступив от реализма... Симпатия к социал-демократам помогла Андрееву правдиво выписать образ рабочего... враждебная настроенность к кадетам выразилась... но приязненные чувства к эсерам не замедлили сказаться... сближали Андреева с театральным декадансом, расцветавшим пышным цветом... он выходил отчасти за пределы символистской драматургии... он не понимал, что свобода личности может быть обеспечена только слиянием личных интересов с интересами общественными... Ошибочность "философских" тенденций, характерных для многих пьес Леонида Андреева, повергла всю его драматургию в Лету забвения... Андреев резко сузил возможности своего таланта тем, что отошел от народа и его освободительной борьбы».

Я не могу принять утверждаемый тон благодушия к временам, когда в литературе задавали тон А. Дымшиц и ему подобные. Страшно делается, когда видишь, как все более питательной становится среда их обитания и возможность их торжества.

***

Удивительно, но в хоре хвалебных рецензентов «Белой березы» были и К. Рудницкий («Возмужание героя») и В. Саппак («Воспитание мужества») и Д. Данин («Роман о долге и верности»), и А. Рыбаков («Роман о мужестве и стойкости советского народа»), и В. Огнев («Народ победить нельзя»).

***

«...девиз “Нового времени” – неуклонно идти вперед, но через задний проход» (Щедрин – Некрасову, 11\23 мая 1876).

***

«...вот кабы в Думу избрали, пошёл бы, не отказался бы... Уж очень, голова, – послушаешь вон, в ведомостях читают – этим самым епутатам жизнь хороша... Красная в зубы на харчи каждодневно... Подумать надо, а? А каки дела-то? Пришел поутру в Думу, промялся по улице... сел в кресло – и сиди... любота! Слушай, как господа промеж себя грызутся... один так лает, другой эдак... тепло, чисто... посиживай в кресле-то, аки граф, а денежка тёчет... красную как-никак, а отдай за работу... На что уж лучше!.. Пошёл бы, ей-Богу, с большой охотой!» (С.Подъячев. Разлад).

***

Спорить о художественных достоинствах фильма Никиты Михалкова «Солнечный удар» не стану – дело вкуса. А задам вопрос, который в многочисленных рецензиях и комментариях мне не встретился.

Режиссер признается в страстной любви к прозе Бунина и экранизирует рассказ 1926 г. и дневник 1919-го. Чем обусловлен выбор? Ужаснуться, вслед за старшим коллегой Говорухиным, тому, какую Россию мы потеряли? Но почему не показать страну, не только вспоминаемую Иваном Алексеевичем через розовые очки ностальгии, но увиденную им непосредственно.

Повесть «Деревня», рассказы «Хорошая жизнь», «Ночной разговор», «Веселый двор», «Игнат», «Захар Воробьев», «Личарда», «При дороге» и многие другие – не на один фильм хватит. Прадеда героя «Деревни» «затравил борзыми барин Дурново», он называет современные ему времена «пещерными», а сам автор, работая над повестью, восклицал – «Жуть, жуть...». Героиня «Хорошей жизни» вгоняет в гроб мужа, выгоняет сына из дому. Гимназист в деревне на каникулах («Ночной разговор») с ужасом слушает спокойный рассказ мужика об убийстве им односельчанина. Егор («Веселый двор»), похоронив мать, пьяный пляшет на её могиле и затем бросается под поезд. Живущая на барском дворе Любка («Игнат») живет с барчуком, влюбленный в нее Игнат живет с дурочкой-нищенкой, грабит маленькую крестьянскую девочку, женившись на Любке, в армии узнает, что «Любка не отказывала только ленивому», наконец, воротившись из армии, застает жену с купцом, которого они убивают. Богатырь Захар Воробьев в одноименном рассказе на спор выпивает столько водки, что умирает. В рассказе «Личарда» мужик избивает «строгую старушку из дворовых» за то, что та пытается подольстить его дочь для утехи барина. Вдовец Устин («При дороге»), про которого «говорили, что он убил жену из ревности», пытается соблазнить младшую дочь.

Бунин сгущал краски? Что ж, ему было виднее. Во всяком случае виднее, чем современному режиссеру. И коли претендуешь на историзм (а Михалков сделался записным историком по телевизору) и уважаешь великого писателя, не делай вид, что «потерянная Россия» вмещается в короткий романтически-ностальгический рассказ.

Когда наши современники судят о старой России по произведениям русских писателей, написанным в эмиграции, стоит сопоставлять их с тем, что было напечатано ими в России. Скажем, упоительно-благостное «Лето Господне» Ивана Шмелева рисует Москву совсем иной, чем в мрачном «Человеке из ресторана», русская армия в «Юнкерах» Александра Куприна предстает в совершенно ином свете, чем в «Кадетах» и тем более «Поединке», помещики в «Детстве Никиты» Алексея Толстого не имеют общего с монстрами из его цикла «Заволжье». И т.д.

***

Живучая, хоть и опровергнутая дневниками и письмами матери его Александры Леонтьевны версия о незаконнорожденном происхождении Алексея Н. Толстого противоречит его натуре и сочинениям, прежде всего роману о Петре Великом. Посмотрите, как по-хозяйски он входит во все дворцовые пространства романа – словно бы в обжитый дом. Как везде он равнодушно-снисходителен к персонажам!

Конечно, и отчим его, Бостром, которому приписывали отцовство, тоже был дворянин, но весь на демократической закваске, с «идеалами», прожектерскими хозяйственными затеями и скаредностью, без барства и широты, занудливый и добропорядочный.

Нет, надо было все же родиться сыном предводителя дворянства, кутилы и мота графа Николая Александровича Толстого для писательской судьбы Алексея Николаевича. Не только тяга к роскоши и барству, но не только житейский, но и литературный цинизм его барский, с любимой присказкой «Пердю монокль» – наплевать!

Писатель не раз подвергал себя автошаржированию.

Роман «Егор Абозов»: «начинающий писать толстый юноша Иван Поливанский, с детским лицом и причёской, как у кучера...» Это Толстой, входивший в столичный декадентский круг.

Повесть «Необычайные приключения на волжском пароходе»: «Чья-то в круглых очках напыщенная физиономия, готовая на скандал:

– Максим Горький... Я спрашиваю, товарищ, была от него телеграмма по поводу меня?.. Нет? Возмутительно!.. Я известный писатель Хиврин... Каюту мне нужно подальше от машины, я должен серьезно работать.

<...> Хиврин говорил:

– Я еду осматривать заводы, строительство... У меня задуман большой роман, даже есть название – "Темпы"... Три издательства ссорятся из-за этой вещи...

Пасынок профессора Самойловича, выставил с борта на солнце плоский, как из картона, нос, проговорил насморочно:

– В Сталинграде в заводских кооперативах можно без карточек получить сколько угодно паюсной икры...

– А как с сахаром? – спросил Гольдберг.

– По командировочным можно урвать до пуда...

– Тогда, пожалуй, я слезу в Сталинграде, – сказал Хиврин. – Я хотел осмотреть издали наше строительство, чтобы получить более широкое – так сказать, синтетическое – впечатление».

Эта повесть основана на впечатлениях от поездки по Волге на пароходе вместе с Вяч. Шишковым в июле 1930 года. «Здесь отдыхаешь с каждым днем на год. Питаемся мы хорошо: осетрина, судак, иногда стерлядь, икра, балык. На пристанях много яиц, молока, копчёной рыбы, огурцов, ягод. Вчера я слопал кило малины с топленым молоком» (из письма Толстого жене).

Он не боялся и не стыдился высмеивать собственные писательские «принципы» и человеческие слабости. «Из другого окна салона, где за столом завтракали москвичи, высунулся писатель Хиврин и помахал рукой иностранцам:

– Водка, водка... Присаживайтесь к нам, мистеры...

– Ну их к черту! – Гольдберг схватил руку Хиврина. – Честное слово, опасно, товарищи...

– Со мной не бойся... Я должен изучать европейцев: часть моего романа происходит в Европе...» (именно тогда он работал над романом «Эмигранты»). Далее он учит американцев русскому мату, а когда на пароходе происходит антисоветская заварушка, «Хиврин в панике полез на стойку:

– Я же враг, враг... В бога верю!»

Нет, как заметил Бунин, откровенность цинизма Толстого была восхитительна, ну какой еще писатель способен выставлять себя на смех в ряду персонажей?

В основе этого, как я вижу, лежала чисто художническая черта его таланта. Прозу Толстого можно определить популярным сейчас выражением – ничего личного. Он изобразитель, и еще раз, и стопроцентно изобразитель, без рефлексий, без лирической составляющей, и проч. Ему как писателю в общем-то неважно, кого и что изображать, хотя бы и себя, главное, чтобы было занимательно, ярко, весело.

Героя одного из лучших его произведений – «Похождения Невзорова» –объединяет с автором немало черт. Главная – приживаемость к любым условиям, невероятная приспособляемость и жизненная хватка. А вот и любовь к прекрасному:

«Весь этот день Семен Иванович провел на Невском – купил пиджачный костюм, пальто, котелок и желтые башмаки. Приобрел в табачном магазине янтарный мундштук и коробку гаванских сигар – “боливаро”. Купил две перемены шелкового белья, бритву “Жилет” и тросточку. В сумерки привез на извозчике все это домой, разложил на кровати, на стульях и любовался, трогал».

Ср. «...заказал костюм... Костюм такой, что хочется взять стул, сесть против него и плакать счастливыми слезами» (из письма А.Толстого жене).

И то, что конторщик Невзоров присваивает себе графский титул, это безбоязненная циническая аллюзия на собственное прошлое. «Тогда Семен Иванович решился, наконец, на давно уже им обдуманное. Рядом с кафе “Бом” в скоропечатне заказал он себе визитные карточки, небольшого размера, под мрамор: “Симеон Иоаннович граф Невзоров”. В скоропечатне приняли заказ, даже не удивились.

Когда он пришел за ними дня через три, и приказчик сказал: “Ваши карточки готовы, граф”, когда он прочел напечатанное, – охватила дикая радость, сильнее, чем в купе международного вагона.

Из скоропечатни граф Невзоров вышел как по воздуху. На углу, оборотясь с козел, задастый лихач прохрипел: “Ваше сясь, я вас ката...” Трудно было смотреть прохожим в глаза, – еще не привык».

И Алеша Бостром, надо думать, не враз привык к тому, что он теперь «сиятельство»; графство досталось Толстому совсем непросто, после долгих и унизительных хлопот матери. Лишь спустя почти два года после смерти отца (конец 1901) Самарское дворянское депутатское собрание выносит определение о причислении девятнадцатилетнего Алексея к роду графа Толстого.

***

Побывав в 1916 году в Англии, Толстой, не склонный к пророчествам, оставил тем не менее следующие примечательные строки: «Англичане <...> во многом скованы, но они покойны за будущее.

Мы, русские, бесконечно их свободнее. С легким сердцем объявив пережитком все свои обычаи, нарочно забыв историю и географию России, относительно будущего придя приблизительно к такому заключению, что куда-нибудь да придем все-таки, что-нибудь да случится, мы в настоящем освобождаем все свои силы и хотим абсолютной свободы. В этом – наша трагедия: мы любим свободу до анархии, хотим сразу всего в настоящем, возможности наши непомерны, и мы бьемся как бабочка о стекло, только потому, что у нас нет общества, а лишь миллионы людей, в нас не единой воли, того маховика, который так сильно ощущается, когда вылезаешь в Лондоне

на Черинг-Кросс. Нужна была мировая война, чтобы организовать у нас общество, но с каким трудом оно слепилось, и достоверно ли оно, не распадется ли вновь? Мы своевольны и кипучи. Англичане скованы и покойны за будущее. Каждое из этих свойств и достойно, и таит в себе начало гибели. Англичанам грозит окаменелость. Нам – пожар, летучий пепел».

***

«Англичанин улыбнулся и задумался, и потом тихо молвит, что у них будто в Англии всякая картинка из рода в род сохраняется и тем сама явствует, кто от какого родословия происходит.

– Ну, а у нас, – говорю, – верно, другое образование, и с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы все казалось обновленнее, как будто и весь род русский только вчера наседка под крапивой вывела» (Лесков. Запечатленный ангел).

***

« – Я сегодня не нужен вам, Филипп Филиппович? – осведомился он.

– Нет, благодарю, вас, голубчик. Ничего делать сегодня не будем. Во-первых, кролик издох, во-вторых, сегодня в большом "Аида". А я давно не слышал. Люблю... Помните дуэт... Тара... рарим...

– Как это вы успеваете, Филипп Филиппович? – с уважением спросил врач.

– Успевает всюду тот, кто никуда не торопится, – назидательно объяснил хозяин». (М. Булгаков. Собачье сердце).

«– А теперь, друг мой, обратимся мыслями к предметам более приятным. Несколько недель такого тяжелого труда дают нам право на свободный вечер. Я взял ложу в оперу. Вы слышали де Рецке в "Гугенотах"? Так вот, будьте любезны собраться в течение получаса. Тогда мы заедем по дороге к Марцини и не спеша пообедаем там». (А. Конан-Дойл. Собака Баскервилей).

«– Сарасате играет сегодня в Сент-Джеймс-холле, – сказал он. – Что вы думаете об этом, Уотсон? Могут ваши пациенты обойтись без вас в течение нескольких часов?» (А.Конан-Дойл. Союз рыжих).

***

«...трудно будет переходить на российский режим с бессонными ночами, бессмысленными кутежами, от которых теперь по возможности думаю уклониться, но это страшно трудно в литературном мире, так как все там пьяницы» (Письмо Ал.Н. Толстого из Парижа в Самару отчиму, осень 1908).

***

«В Саратове нечего курить. Нет никаких папирос или сигарет, даже "Махорочных". Не то что болгарских, а даже саратовских, приходится, как говорит Витька, "стрелять". Я просить не люблю – этим делом занимается он, и ничего, набирает до десятка за несколько минут (правда, с каждым днём всё труднее – ни у кого ничего нет)». (Запись в моём дневнике 26 августа 1962).

«Сегодня после школы зашёл в "Табачку" – немного народа, смотрю "Filter", у меня как раз 18 коп. только одну взял» (4 сентября 1962).

«Сегодня пошли с В. покурить, ему я дал сигарету с обломанным фильтром (и болгары халтурят). Я «F» не люблю. Очень слабы, и вместе с тем не такой мягкий вкус, как «Derbi». И дорогой, гад!» (5 сентября 1962).

Итак, мне 15 лет, и главная забота – покурить. А отсутствие курева приходилось всегда на осень, когда вставала на ремонт Саратовская табачная фабрика.

Мы не только стреляли, но и собирали окурки. Живо стоит перед глазами металлический ящик в заводском цеху с песком, усеянным окурками. Тогда я научился вертеть самокрутки из добытого из них табака. Странно, но мы не боялись заниматься этим на заводе «Сардизель», где проходили по тогдашней хрущевской затее производственное обучение для сближения школы и жизни.

С тех пор я курил много лет. И после первого (1987) инфаркта, и после второго (2002). Потом как-то незаметно бросил году в 2005.

Правда, не был таким фанатичным курильщиком, как мой приятель покойный Лева Т., с которым в одной комнате невозможно было находиться, а уж спать вовсе: он ночью каждый час просыпался, чтобы покурить.

Но курил я по временам много. Во время работы – ну, как же без табака? У Твардовского есть запись, что все, что им написано, написано с табаком. А Федин – я уже как-то цитировал его письмо Слонимскому – советует бросать курить только в крайнем случае, иначе будет утрачена способность к работе. Вообще я уже достаточно внимания уделял «В русском жанре» курению, сейчас лишь мгновенно предамся былым деталям.

Из лучших воспоминаний о курении – это рыбалка. Сидеть под рассветным солнцем в лодке с удочкой, насаживать червяка, не имея во рту погасшей беломорины – и представить себе не могу.

В пору дефицита сигарет, особенно импортных, ходили мы к безногой спекулянтке по имени Наденька, жившей в частном доме Сенного рынка. Она день и ночь сидела в темных сенях на сундуке, и где-то под культями держала товар. Разговоры были конспиративными. «Пчелка есть? – Пчелка не прилетела, а лошадка прискакала», что означало наличие в продаже болгарских «Дерби» и отсутствие ароматизированной сладкой «Пчёлки». Перечислять сорта болгарских и тем более советских сигарет не буду – сейчас в Сети целые сайты есть ностальгически-табачные, но о своих пристрастиях сообщу. Главным долгие годы оставался «Беломор». Вообще невежественно убежден, что папиросы безвреднее сигарет, хотя бы даже и с фильтром, и что слабый табак опаснее крепкого.

«Тетушка курила табак дешевый и крепкий, – не вредный для здоровья (Ал.Н. Толстой. Неделя в Туреневе).

В зажиточный период переходил на трубку с голландским табаком. Если же вспомнить ощущение табачной сытости, того, что накурился, это в юности – махорка, а в тот же благополучный период главредакторства и гонораров – сигары. Говорят, что куря сигару, не следует затягиваться – ерунда! Неторопливо выкурив, глубоко, во всю грудь, затягиваясь, сигару, чувствуешь себя вполне табачно удовлетворенным на несколько часов.

***

С 1994 года за исключением десятка поездок в Москву и двух в Коломну я лишь однажды выезжал из Саратова. Тем ценнее для меня записи, сделанные во время поездки в местечко Дедеркой под Туапсе.

Дедеркой памятен мне тем, что в 1957 году я научился там плавать и там же стал при волнении заикаться, после того, как мальчишки, убивавшие на местной речке камнями лягушек, в ответ на мой протест закидали меня мёртвыми лягушками, удачно попадая в лицо.

Не знаю, сильно ли изменилась тамошняя действительность с 2009 года, думаю, что не особенно, разве что цены поднялись.

11 августа

Волнующие огоньки в горах на рассвете при подъезде к Туапсе, перемигивающиеся со звездным южным небом.

Туапсе с назойливыми таксистами, быстрый переход на автовокзал и приятная поездка до Дедеркоя в почти пустом «пазике». Водитель пожилой благообразный кавказец, пассажиры все свои, знакомые между собой, едут на работу.

Прошел сверху от шоссе вниз до моря всю Приморскую улицу с новыми двух-трехэтажными гостиницами, иномарками во дворах. И уже в самом конце, у моря, объявление: «Сдается одноместная комната». Пожилая интеллигентная хозяйка, долгие ступеньки в гору, комнатка чуть больше кровати – 300 р.

Хождение по пляжу. Море только отходит от минувшего шторма, у берега вода мутноватая. Вода +28. Речка с быками железнодорожного моста та же.

12 августа

Днем обошел все местные кафе. Везде дорого. Самое разнообразное меню с форелью или осетриной выйдет 3 тыс. за обед. Завтракал и ужинал в соседнем доме – «Столовая». Русский хозяин и повариха Наташа с помощницей-матерью. Порции маловаты, меню скудновато, но готовка честная. У хозяина густое вино, к сожалению подслащенное, как он говорит, из винограда «Молдова» и «коньяк» из чачи. У хозяйки купил очень странного сухого с запахом изабеллы, при этом почти бесцветного и безвкусного вина, по ее словам – с туапсинского винзавода. Жуткие кавказские помидоры. Персики дороже, чем в Саратове. На пляже ел в армянском кафе лепешки типа хачапури, название на «я». Мальчик за стойкой, где все те же сорта пива в 2-3 раза дороже, чем в России, и коктейли как бы самые изысканные, но по 200 р.

Боже, сколько на пляже жирных, особенно молодых баб! И почти все и мужчины и женщины поголовно курят. Даже до буйков доплывают лишь несколько парней, остальные плавают на матрацах или плещутся «по шейку».

В доме Анастасии Романовны 12 человек. Семьи с детьми и без. Со мной рядом средних лет пара. Он важный, словно шофер, возящий «шефа», она хохлушка с густыми усиками. Рассказывала хозяйке о похоронах отца или свекра: «Так хорошо было. 49 машин и 3 автобуса». На обед жарит гигантские куски свинины с луком, который, как и мясо, привезли с собою на машине. С утра и другие бабы – на кухню с огромными пакетами – картошка, лук, куры – жарить, варить на завтрак. Потом на обед, потом на ужин. В кафе не ходят. Дети обкормленные до патологии.

В 7.30 ходил купаться, солнце выходило из-за гор. К вечеру купался вдалеке от пляжа, среди камней, где с десяток нудистов. Там скалы, и в очках голому плавать хорошо. Но – мертвое море, даже медуз нет. Ни одного краба не видел.

А соседи мои из Таганрога. Сегодня она караулила «Мишу», живущего на чердаке с двумя бабами, который торгует на рынке носками и проч. Она желала у него купить теплые носки зятю в подарок. По телефону советовалась с дочерью, что купить. Бред: на черноморском курорте покупать теплые носки. Сказала, что уже купила всем подарки, для чего ездили в Шепси.

Обиталище мое на 4-м уровне. Они здесь громоздят на своих узких, ползущих в гору участках подобие... чего? Тут же крыша, и лесенки, и терраски. На каждом уровне свой обеденный стол, стулья и проч. 12 человек всего. «Миша», придя, тут же кинулся на кухню чистить картошку, жарил и проч. Накрыл на стол и позвал своих блядей, которых я видел лишь однажды, когда они выходили в дворовый туалет, который под моим балконом.

13 авг.

С утра в Туапсе. Но до этого ночь. Тяжелая. Сперва знобило. Я думал, что перегрелся, хотя уже достаточно загорел дома. Потом явно поползла температура. Но утром как-то все ничего. Видимо, ночью случилась акклиматизация. В Туапсе, очень милом городке, чистом и уютном, пил вино, ходил по пляжу. Торговля. Дед торгует пемзой. Прохожая старуха: «Известняк, в воде развалится». Дед: «Сама ты развалишься». Я поэтому купил. 25 р.

15 августа

Вчера было так жарко, что взял у хозяек зонт, огромный, но с обломанной стойкой. Они сестры и не Романовны, как представляются, а Арамовны, потому что армянки. Вообще армяне здесь явно главные. Торговля – лучшие кафе с живым певцом вечером, продавцы сувениров, фруктов, орешков, мальчишки на пляже: «Вароная кукуруза!» – все армяне. Флиртовал вчера с продавщицей прессы и пластмассовой пляжной обуви. Высокая, почти курносая, оказалась армянкой из Ростова. Я: а нос? – Она: я неправильная армянка.

Смерч (это уже днем), похожий на гигантскую елду, свисающую из сизой колеблющейся тучи, тянется, истончаясь к морю, где незадолго до соединения начинает вскипать вода, тянясь к кончику смерча.

Молодая женщина в телесном купальнике с дочкой и матерью посидит с ними недолго и идет на соседний волнолом, где лежат и стоят нудисты, снимает трусы и лифчик. Позавидовал ее свободе.

Разговорился позавчера с хозяином «столовой». Владимир – подполковник милиции в отставке (мундир, висящий на стене за стойкой, и стал для меня предлогом для разговора), подтянутый до загляденья, ходит, словно пританцовывая. Последние годы был в службе безопасности на «Туапсенефть». «Теперь знаю, что всё, что вокруг трубы – криминал». Работает сам, жена Наташа повар (еще она работает диетсестрой в санатории), теща и две помощницы. Стоит за стойкой сам, если не успевает подавальщица (девочка невыразимой прелести и скромности), при 20 годах выглядит на 16), сам же и убирает грязную посуду. Быстро записывает заказ, № стола, отдает на кухню. Работают, как механизм. Помещение без окон, похоже на гараж, две открытых двери настежь, в низу трехэтажного коттеджа, каких здесь много.

Вино, пусть подслащенное, пью, очень густое. Чача чистая или «коньяк» из чачи. А в 1-й день у армянки, торгующей фруктами у пляжа, купил «чачу» – бензин.

На пляже типы – безучастного или активного в сторону пива молодого отца и озлобленной молодой матери, шпыняющей ребенка. Не ходи! Отойди! Подойди! Сядь! Завтра же в Воронеж отправлю!

И – новый тип пожилых родителей, которых можно принять за дедушек-бабушек, то и дело встречается. Впечатление, что на исходе лет встретились два неудачника и завели дитё. Более активны и деятельны отцы, причем в отвратительно ироничном стиле отношения к сыновьям. Они все время подкалывают мальчиков, показывая им их никчемность. Матери в лучшем случае молчат, в худшем льстиво одобряют папу.

Почти все дети плохо здесь едят, но по-разному. Сейчас за обедом благообразная старая бабушка с внуком лет 9-ти. Ему подали куриную лапшу. Подошел отец лет 35-ти. Бабушка (спокойно): «Миша, попробуй, может быть, твой суп остыл?» Миша (выловив из тарелки кусок моркови): «Суп с новым ингредиентом? Не хочу». Папа: «А в морду хочешь?» Сын (играя глазками на меня): «Может быть, это рыбка? Тогда я пришел не на рыбалку». Папа: «А в глаз хочешь?» Показалось, что родители Миши в разводе, и папе с бабушкой позволили взять его на море.

16 августа

В соседи взамен пары из Таганрога вселили тещу, маму, папу, ребенка. Я сразу загрустил, а оказалось, что теща с папой еще и беспрерывно курят. Привезли с собой даже капусту.

По вечерам я играю в дурака с 13-летней Аней из Волгограда и 7-летней Катей из Москвы, внучкой хозяйки.

В выходные приехало много людей, из Ростова, Краснодара. И – почему-то на пляже стало заметно больше приличных семей, хороших лиц, доброго отношения к детям, чем у постоянно здесь отдыхающих, как понимаю, преимущественно москвичей и северян.

Купаюсь с волнореза. Ярко-зеленый нежно-мягкий мох на полуподводном карнизе волнолома напомнил мне цветом газон с мокрым от дождя искусственным покрытием у гостиницы

«Москва», на котором я грохнулся, расставшись с Немзером (ели какие-то пирожки у м. Пл. Революции, и извалялся в грязи так, что швейцар задумался – пускать ли меня).

Несколько раз по пляжу прошел с диктофоном высокий осанистый плешивый господин лет за 50 в сопровождении девочки в красном расшитом золотом наряде – шальвары и проч. «Товарищи! Сегодня вечером в кафе "Бриз" состоится эротическое топлес-шоу. Кроме этого, в программе рок-танцы, эротическая акробатика. Цена билета 150 рублей. Количество мест ограничено, советую заказать столик заранее». Этот «Бриз» прогорает: ни души ни днем, ни вечером. Особенно смешно, что смотреть на полуголых приглашали голых посетителей пляжа.

Под вечер я спускался по дороге к пляжу, и рядом со свистом и каким-то даже грохотом с очень высокого крутого обрыва на заднице съехал мальчишка, подвернулся, той же жопкой упал в щебенку, вскочил и стал швырять камнями в кусты. Подбежавшему мальчику-армянину закричал, что в кустах голова. Тот тоже стал швырять туда камни. Морденка загорелая со светлыми глазками, под левым глазом синяк, левая щека от виска разодрана. Стал кричать проходящим машинам «Папа! Папа!» Мне стало интересно посмотреть на его папу. Но оказалось, что он так кричит всем мужчинам в проезжающих авто.

17 августа

Сейчас утром кормил с мостика рыбок в речке. Детей из лагерей, их здесь два, гнали на пляж строем. Один переросток с лицом потомственного дебила заранее припасенными булыжниками стал швырять в воду, выкрикивая: «Пусть хлеб поедят!» А за большими шли младшие, те просто поочередно плевали вниз, где кружились рыбки.

Спросил у армянки, торгующей фруктами, какие персики местные, а какие турецкие. «Эти местные, а эти из Греции». Я не сразу понял и удивился – откуда Греция? Потом дошло: они и слова-то «Турция», наверное, не произносят.

Все та же радость, что и в детстве – стоя на пляже, задирать голову на проходящие составы и успеть разглядеть по табличкам, откуда поезд.

***

Негры ходят по пляжу, одетые в юбочки, дикарями с копьями, предлагают с ними сфотографироваться. Молодая негритянка с мелко-завитыми косичками заплетает такие же желающим. Объявление: «Африканские косички французские».

***

На пляже, где галька помельче, положил вещи и поплыл к буйку. Навстречу мужик, вытаращив глаза, кричит кому-то на берег: «Ира, Ира! Что ты смотришь, место занимают». Оказалось, что кричал потому, что я положил свои тапки и шорты рядом с надувным матрацем, на котором сидит жена идиота.

И еще – вероятно, хуже уже не встречу – самое гадкое изо всего, что здесь видел. К вечеру пожилые папа, мама, сын лет 13, похожий телом на большую взрослую женщину. Они не подошли близко к воде, сели на куски бетона. Папа снял носки и, показывая сыну изъеденные грибком лапы, что-то объяснял. Затем огромный жирный мальчик плюхнулся на мелководье и «играл», доставая камни и кидая их на берег с криком «Папа! Папа!» Отец же расковыривал ступни, показывая жене (в шляпе с большими полями) отодранные лоскуты. У него безбородая жирненькая морда с редкими черными волосками небритых усов. У нее блин вместо рожи. Той же рукой, что и драл ноги, он жрал из пакета, подставленного женой, сперва орешки, потом чипсы. И она от-

туда жрала. Потом он закричал бессмысленно плюхающемуся всем жирным телом с трясущимися грудями сыну: «Курица ждет!» и натянул даже на вид вонючие носки.

Боже, почему это? Зачем? Рядом сидели хорошие девушки с красивым парнем, почему я глазел на этого урода?

18 август

С утра дождь.

Потом на волноломе дохлый моллюск, облепленный мухами, а из щели между камнями выглядывает крабик. Я раздавил раковинку и не двигался, крабик тут же выполз, но чудо в том, что аккуратно схватывая, словно вилочками, микроскопическими клешнями мясо, он одной из них отгонял при этом мух!

В столовой. Володя мне, глядя на двух кавказцев, один из них, в плавках, поставил волосатую ногу на стул: «Подойти и в морду!» Хотя заходят в купальниках и плавках многие. Он: «Чечены! У себя никогда так не войдет». Я: «А как вы определили, что чечены?» Он: «Как в “Собачьем сердце” – чую».

19 августа

Всю ночь дождь. Под утро сердце, т.к. вместо обычных 100, выпил 200 гр. Но утром купался и после завтрака долго был на пляже, плавал, загорал на волнорезе. Сегодня день рождения Г.Ф. 104 года. Странно все-таки. Как поздно он меня родил.

Соседи. Теща по мобильнику: с какого тока забирать зерно. Она же ребенку про меня: «Там дедушка живет! Он тебя заберет, если не будешь слушаться!» (Это разговор у моей двери, тонкая короткая занавеска и метра два меня от них отделяют, а я лежа слушаю).

Папа ребёнка выглядит если не старше, то и не моложе меня. Фамилия их Икряновы.

Они оккупировали всю общую веранду, вся она в игрушках, тарелках, жратве, матрацах. За три дня на море еще не были. Сейчас кретин-папа с нарушением дикции читает сыну лет полутора Барто: «Как птицы, заливаются трамвайные звонки». Оказывается, и Барто ужасна.

С соседями по веранде не говорю ни слова. Оказывается, это их взвинтило. Я выходил из своей двери, не обращая внимания на ползающего на полу дитенка, и услышал за спиною тихое бабушкино:

«У, фашист!»

Сегодня уезжаю. «Онегина», который затертый лежал во дворике у общего телевизора, перечитал туда-сюда насквозь. До этого читал только свое Евангелие. Других книг не брал сюда.

***

Я хотел бы...

Очутиться в конце 19 века в Москве на Ильинке пасмурным мягким зимним днем в пальто с барашковым воротником и такой же шапке...

Танцевать в год своего рождения в ресторане с рыжей дамой в креп-жоржетовом платье с подкладными плечами под удивительный марш-фокстрот «Летят перелетные птицы»...

Проснуться от холода перед рассветом в палатке, источающей сквозь брезент нежно-зеленый свет...

И многое, многое другое, лишь бы мне было 35 лет.

2015

Сергей МОРОЗОВ

«Я БЫЛ И БУДУ...»

Публикация подготовлена Владимиром Орловым по материалам архива Бориса Дубина

Читателей у Сергея Морозова[1] не было. В период близости к СМОГу были слушатели – Владимир Батшев[2] вспоминает его как феномен: «Один из немногих, кто мог читать после Губанова и его воспринимали!» Однако стихи, написанные до 1966 года, автор из жизни вычеркнул. А для новых выхода к читателю не было: единственная случайная публикация в «Студенческом меридиане» в 1976 году – и всё.

На дистанцирование от зачастую искусственно нагнетаемой метафорики СМОГа и выработку собственного, незаемного поэтического языка ушло время. Параллельно нараставшее (особенно после 1968 года) чувство неудержимого отчуждения от всего происходившего в настоящем заставило его искать опору в прошлом, причем не только в поэзии (где среди главных ориентиров следует, видимо, прежде всего выделить Ходасевича): он много путешествовал, стремясь максимально глубоко изучить быт, историю и архитектуру России. Отсутствие желания пробиваться на страницы советских журналов вкупе с отмечаемой многими внутренней сосредоточенностью, если не закрытостью (тот же Батшев пишет, что «даже улыбаясь, он смотрел как-то настороженно – словно исподлобья»), привели к тому, что аудитория сузилась буквально до нескольких человек, среди которых прежде всего следует назвать Бориса Дубина[3].

Именно Дубин, с которым Сергея Морозова связывала не просто дружба, а подлинная духовная близость, подготовил все значимые посмертные публикации поэта. Однако теперь ушел и он. Примерно за полгода до смерти мы обсуждали возможность подготовки книги С.М., он пересылал мне некоторые материалы из хранящегося у него рукописного и машинописного архива поэта. Книга – по разным причинам – пока не вышла. Тем более ощущается необходимость нового выхода к читателю хотя бы журнальной публикацией – в память уже не только о Сергее Морозове, но и о Борисе Дубине.

---

[1] Сергей Петрович Морозов (30.11.1946, Москва – 31.08.1985, там же). Поэт. Занимался в литературном кружке городского Дома пионеров, в 1964–1966 был близок к литературной группе СМОГ. В 1970 окончил Московский пединститут. Служил в армии, затем – в милиции в Норильске, работал в Союзпечати в Москве, в музее Л. Толстого и др. При жизни практически не публиковался. Покончил с собой. Собственной книги стихов (даже посмертной) не имеет.

[2] Владимир Семенович Батшев (р. 1947) – один из активных участников литературной группы СМОГ, редактор нескольких самиздатских журналов, в которых в т.ч. публиковались стихи Сергея Морозова. Здесь и далее цитаты приводятся по сетевой публикации его книги «СМОГ: поколение с перебитыми ногами».

[3] Борис Владимирович Дубин (1946–2014) – известный российский социолог и переводчик. Подготовил несколько журнальных публикаций Сергея Морозова: в журналах «Смена»(№21, 1989), «Огонёк» (№7, 1992), «Дружба Народов» (№4, 2003), «Знамя»(№5, 2003).

***

Я дам вам подписи и что еще в цене.
Берите всё, по грошикам не стану.
Но одного прошу. Отдайте мне
Ту женщину. Отдайте. Я не спьяну.
Своя же надоела голова,
в ней слишком, слишком всякого и всяких.
Мне ничего не надо. Пусть она
придет и сядет.
Какое дело вам? У вас перо, чернил...
А остальное – это только наше.
Плевать, что был, везде и всюду был.
Я был и буду, но сегодня начат.
Хотите знать, когда же отдавать,
Какое платье шить под этот танец?
Ну, как ее по-вашему назвать?
Я не могу. Потом. Само настанет.
Я душу наизнанку как карман,
и перья – словно лопнувшие почки.
Пустите к ней. Я и цветов нарвал.
Она кричит. Она со мной не хочет.

***

Я руки грел на золотом огне.
Он расселялся в сучьях понемногу
и гордо правил в маленькой стране,
и памяти указывал дорогу.

Кружился теплый невесомый дым.
Стояла осень, осыпая листья...
Все было полно знанием своим –
и потому не принимало истин.

Свет отплывал за дальние стволы,
плутал в коре и, выбираясь с ленью,
стекал по следу лиственной смолы
и обрастал неторопливой тенью.

1968

***

Как он далек от нас, как неотступно светел,
зеленый уголек надутренней звезды,
как он любим легко, как издавна заметен,
как затемно следим за дымкою с воды.

Как выведен туман за холодок ольховый,
за хлопотом волны, за цокотом с куста,
как засырел песок под сором ивняковым,
как влажен желобок крапленого листа.
Как ласково веслу, как лепестку, на лопасть,
на лобную дугу перенимать воды
густое колотье, околокормный клекот
и пальцы напрягать под трепетом звезды.

1968

***

Ветер, нежданно и негадан,
выглянул из-за угла.
В сонную сень снегопада
мерная дрожь пролегла.

Хлопьев хохлатые лохмы
мягко лохматили свет,
выпавший дому под окна
выдоху тихому вслед.

1968

***

Водой залитые перроны.
Вагон, догнавший снегопад.
Бескрайность раскрывают кроны,
процеживая дальний взгляд.

Тепла хлебнувши, медлит воздух
и капли тянет по стеклу,
хозяйничает в старых гнездах,
сопит в решетчатом углу.

Река хмелеет от натуги,
и, в камень взятый, ледоход
мутится, тычется в испуге
и по течению идет.

1968

***

Жизнь, одумавшись, проста
и почти не виновата,
что печаль и красота
перепутались когда-то,

что, от нитки фонарей
отступить не смея в темень,
вечер старится скорей,
чем его проходит время.

Вот в лицо ему пахнёт,
искру Божию задует,
каплю теплую смахнет,
злые губы поцелует.

1968

***

Щелкни клаузулой, запирая
подсыхающую строку.
И, пока от края до края
коренится в ней блажь сырая,
сам себе ее растолкуй.

Вспомни все от начала: кто с ней
слыл в приятельстве, жил в родстве,
с кем равняли ее, несносней
чей совет был, в надежде поздней
кто смотрел сквозь нее на свет.

Вот тогда и заметишь: пухом
синим звезды тебе на грудь
тихо падают; ты, по слухам,
прах давно и единым духом
жив – начало перечеркнуть.

1969

***

Н-ой

Словно тонкой ниткой желтой,
светом дверь обведена

по проему. Пахнет елкой
и морозом от окна.

За крахмальной занавеской
ночь такая залегла,
что прожить ее невестой
ты, конечно, не могла.

И одно понять осталось:
чем утешит чистый лист
завтра утром злую жалость.
Надо вспомнить, раз взялись.

1970

***

Рябит вода на прытком перекате,
в траве тяжелый путается шмель,
и солнце неотчетливой печати
вдоль облака нащупывает щель.

Уклеек ловких ивовые спинки,
на сваях тина, в чаше из песка
поталкивает робкие крупинки
студеное биенье родника.

1970

***

Разве словом что поправишь?
Я, пожалуй, помолчу.
На затяжку мне оставишь,
больше сам не захочу.

Снова жизнь пошла на убыль,
оттого теперь горьки
терпкие чужие губы,
вербы, ветер от реки.

Далеко еще удача,
всё, как есть, перезабыл,
и осталось, чуть не плача, –
что ты делал? где ж ты был?

1972

***

Байкой да придурью не отвертеться.
Правды не вытвердишь – горе нагрянет.
Чем, голубок, на ветру отогреться
кроме надежды: любовь не обманет?

Пасынок века с плотью горячей,
полуболезный, полуопальный,
что нам делить с этой блажью незрячей,
злобой подушной, скукой повальной?

***

Л. Ш.

С чего судьба не задалась?
С того ли, что в наследство
взяла не сопричастья власть,
но лишь обиды детства?

И вот блажит до сей поры,
над смутной строчкой плачет,
кораблик ладит из коры
и трудно зависть прячет.

***

Игра, пустяк, забава –
живую правду гнуть.
Налево иль направо?
Мой свет, куда-нибудь!

Веселье, злополучье?
Бессмертья рядом край.
Что проку? Чуть почутче
печатку подбирай.

Не будет нашей части
в разгадке бытия.
Мы – только оттиск страсти,
надежда, жизнь моя.

1979

***

Золотой узорный сумрак
в занавешенном окне.
Для чего резьбы рисунок
в сердце просится ко мне?

Знаю, буду истолкован,
перемаран, перебит,
перекроен, перекован,
зацелован, позабыт.

Незавидная забота.
Говорят, не повезло.
Самодельная работа,
роковое ремесло.

1984

Георгий НЕДГАР

СМЕРТЬ В КОШЕЛЬКЕ

(рассказы очевидцев)

Публикация Владимира Орлова

Предлагаемая публикация интересна не только тем, что Георгий Недгар[1], известный исключительно как поэт, выступает здесь в роли прозаика – хотя и прозой на грани стиха. Не менее интригует источник, откуда взяты эти тексты: самиздатский сборник «Северный веер, книга первая, 1966 год», – так значится на его обложке.

Обнаружен он в архиве Недгара (по-видимому, им и составлен), который хранится у его вдовы, Марины Виленской. Ни в одном исследовании, посвященном литературному самиздату 60-х годов, такой сборник ранее не упоминался, поэтому имеет смысл описать его чуть подробнее.

Как бы в оправдание названия («Северный веер» – цикл Михаила Кузмина 1925 года), сборник открывается неизданным на тот момент стихотворением Кузмина «Переселенцы» (название, правда, отсутствует, имеется масса других разночтений). В советской печати «Переселенцы» появились только в 1967 году, в статье Вл. Н. Орлова, где он приводит текст этого стихотворения со слов И.А. Лихачёва – так, как оно тому запомнилось. Имелся ли у Недгара альтернативный источник, и кто он – требует отдельного разбора. Это стихотворение – единственная отсылка к Серебряному веку, остальные участники сборника – современники Недгара. Перечислим их в том порядке, как они расположены в содержании, раскрывая при необходимости псевдонимы: А. Баринов, М. Вербин (Михаил Каплан), А. Волохонский, З. Журавлева, В. Ковшин (Владимир Вишняков), С. Красовицкий, Г. Недгар, В. Свешников, В. Хромов, А. Шуг (Аполлон Шухт), А. Эфа (Алиса Гадасина).

Как видим, состав довольно разнородный, но в нем можно легко выделить две группы. Большинство – это участники поэтических чтений на Маяковской площади, справки о которых можно легко получить в книге Людмилы Поликовской «Мы предчувствие, предтеча...» (две фамилии, правда, отсутствуют и там: А. Баринов и В. Свешников). Состав их подборок, думается, был согласован с авторами. Три поэта были кооптированы в состав сборника явно без их ведома: Станислав Красовицкий и Валентин Хромов из т.н. «группы Черткова», а также представитель ленинградской «Верпы» Анри Волохонский. Красовицкий к этому моменту уже прекратил писать стихи, два других участника с удивлением узнали о существовании такого сборника только сейчас.

Сборник содержит не публиковавшиеся по настоящее время стихи Михаила Каплана, Станислава Красовицкого и Валентина Хромова, и представляет в этом смысле большую ценность для исследователей. Была ли издана «книга вторая» – неизвестно, но, судя по тому, что какие-либо ее следы в архиве составителя «книги первой» отсутствуют – вряд ли.

---

[1] Георгий Недгар (Виленский Юрий Михайлович; 25.5.1944, Москва – 4.5.1989, там же). Поэт. Стихи начал писать в 15 лет. Тетради с юношескими стихами уничтожил в знак отказа от «самовыражения». Развивался в творческой изоляции, несмотря на знакомство с рядом поэтов неофициальной культуры. При жизни практически не печатался: несколько публикаций в самиздате и зарубежных изданиях; подборка в журнале «Человек и природа» в 1988 году. Покончил с собой. В 1994 году вышли две книги: «Избранное» (М.: Пятая страна, 1994) и «Из четырёх книг» (СПб., 1994). Большая подборка стихов 1962–1975 гг. опубликована в альманахе «Ариергард» (М.: Воймега, 2004).

Злодей сладелый

Прицепился ко мне злодей сладелый:
– Немчура ты, – говорит, – вычурная, бороду нацепил, складная небось.
– Ан, дурак, – отвечаю, – лыку не вяжешь.

Избранец

Умер один.
Умер другой.
Третий застонал, глазками засмотрелся, а смерть косу свою стряльцами утирает, зуськает, выражается, слова ему, родимому, избирает:
– Любовь, – говорит, – не картошка.

Крым

Затонул полковник. Вытащили, всего синего, на желтый песок сложили. Так и отпевали. Потом – жена его, толстая, вошла по колено в воду:
– Вот, – говорит, – гроб, – говорит, – скиснет весь, пока до городу везти будем.

Случай

Пришел к нам милиционер. Соседка ему открывает, а он спрашивает:
– Бетховен, – говорит, – у вас живет?
– Нет, не живет, – говорит соседка,
– А может, еще у соседей спросите, – говорит милиционер, – может живет?
– Нет, – говорит соседка, – я здесь тридцать лет как живу, а таких здесь нет.
– Ну ладно, – говорит милиционер, – это я, верно, спутал, Бетховен – это, верно, композитор.

Смерть в кошельке

Забралась смерть в кошелек. А я иду на рынок. Куплю, думаю, репочки, морковки. Супчик сварю. Раскрываю кошелек, а оттуда смерть как выскочит, глазищами поводит, жалит. Тут все ряды и разбежались. Стою я ни жив, ни мертв. А смерть ко мне обращается и говорит:
– Вот, все твое, – говорит, – бери.
А я бросил смерть под лавку и бежать. А сердце у меня, как околдованное, – стуком стучит.

Дуги

Лежит Миколка. Страх свой детский подложил под голову, плачет. А внизу воробушки скребутся под окном:
– Пинь-пинь, пинь-пинь.
Так впервые и засквозило солнце, и увидел Николай Степаныч рассвет.

На духу

– На третёй денек-то и скончались папашка. Головку эдак склонили косячком и смотрят. А я смотрю: двери уже заледенели совсем, и ставеньки, огрызлые такие, замкнулись; холодно, оди-

ноко... И рта не могу раскрыть: пузо мое растет, и вся я, будто бы мертвая... Так до утра и проваландалась.

Отравник

– Ешь, – говорит, – вкусная креветка. Вот ножку, – говорит, – высоси. И полезное, – говорит, – и морское кушанье... Сплошной витамин.

А я встал и говорю:

– Сам ешь, – говорю, – морская образина. Даром, что тебя в море-то не потопили. Поодкусывали бы тебе ножки-то. Отравник...

Агитатор

Иду я, снег лепит, фонари гудят, тьма-темь. Захожу я в переулочек, а из подворотни вдруг человечишка такой, и ручки в портфельчике, как в муфточке, греет, шасть ко мне. Ну и все, думаю, и все, пришел, пришел мне мосгаз. А он ласково так на меня смотрит и говорит:

– Курлы, – говорит, – мурлы. Я агитатор.

Так было

Было у нас время такое: исчезать вдруг стали дети маленькие. И всполошилась Москва. А потом на рынке появляться стали котлеты мясные. Голодное время было, Господи спаси нас, грешных. А теперь уж шестьдесят пятый год пошел.

Перед старцем

– Эх, кирпичом бы тебя, – сказал Костяк, – бельма бы навыворотил.

– Уродина, – поддакнул Сенька, – и кишки наружу висят. Зело по Маньке-то убился. Оттудова и злой. Говноед.

До́ма

Н. Г.

Пришел ко мне опять. Сидит, гладит меня, целует.

– Кулебяка ты, – говорит, – вечная, грудка твоя оранжевая, ножки – топотком, топотком...

Ну, думаю, молва одна, что любить может. Зарежет еще. Страшно! Ох, страшно...

Чемодан

Чемодан мне подарили. Сел я в чемодан, гляжу: не чемодан – склеп. Стал я цветы сажать. Выросли цветы, тонкие такие, и стало в чемодане, будто в раю.

А соседи увидели и говорят:

– Дурак ты, дурак! На эдакие дела что ль чемодан тебе подарили, осел ты несоответствующий.

19 июля 1965

Александр ШОЛПО

ВОЙНА

Публикация Елены Барановой

Александр Евгеньевич Шолпо родился 9 апреля 1915 г. в Петрограде. Мать – Евгения Дмитриевна (в девичестве – Малевская) умерла в 47 лет во время блокады Ленинграда. Отец – Евгений Александрович Шолпо (1891–1951) – изобретатель, музыкант и искусствовед. В 1931 г. сконструировал музыкальный инструмент – оптический синтезатор, получивший название «вариофон». Инструмент был уничтожен во время бомбардировки блокадного Ленинграда.

В 1930 г. Александр Шолпо был принят на десятимесячные химические курсы лаборантов-аналитиков при ЦНИГРИ (Центральный научно-исследовательский геолого-разведочный институт, бывший Геолком). В 1934 г. поступил в Ленинградский университет на физический факультет. На 1–2 курсах проходил высшую воинскую подготовку. По состоянию здоровья был выпущен делопроизводителем штаба полка.

В 1935 г. поступил на 1 курс биологического факультета и год учился на двух факультетах. В 1937 г. Александр Шолпо женился на Галине Гавриловой, в 1938 г. переехал в Саратов, перевелся на 4 курс биологического факультета Саратовского университета. В 1940 г. поступил в аспирантуру к профессору М.М. Маричу, но не закончил ее, т.к. через год ушел на фронт.

Вернулся в Саратовский медицинский институт в 1946 г. на кафедру к члену-корреспонденту АМН СССР профессору Н.Г. Колосову. В 1950 г. защитил кандидатскую диссертацию по нейрогистологии.

С 1952 г. – доцент, в 1956–1958 гг. – и.о. заведующего кафедрой общей биологии СМИ. Работал преподавателем в Балашовском педагогическом институте (1960–1964), Саратовском институте советской торговли (1967–1977), лектором в Саратовском планетарии (до 1990 г.).

Умер 4 февраля 2000 г.

Воспоминания записаны автором в 1997 г. шариковой ручкой в трех школьных тетрадях.

***

Первое знакомство с войной состоялось в возрасте менее двух лет – Февральская и Октябрьская (12 марта и 7 ноября) революции 1917 года (я родился 9 апреля 1915 года). Когда в Петрограде раздавалась ружейная или пулеметная стрельба, я говорил «барабан». Гражданская война обошла Петроград стороной, хотя отдельные выстрелы и бывали.

В конце 20-х годов я ходил на стрельбище (Съездовская, б. Кадетская линия Васильевского Острова), где стреляли влет по дискам («тарелкам»), выстрелянным катапультой. При попадании хотя бы одной дробины «тарелка» разваливалась в воздухе и на землю падали осколки.

Примерно в то же время я жил одно лето в военном лагере под Москвой у дяди Арсения. Арсений Дмитриевич Малевский, бывший офицер царской армии, перешел на сторону революции, отличился на стороне красных в боях под Царицыным, затем был инспектором инженерных войск РККА, носил 4 ромба (как Ворошилов и Буденный), при реорганизации был аттестован как комбриг (1 ромб), командовал 1-й (и единственной) механизированной бригадой, летние лагеря которой располагались в Подмосковье. Из моего пребывания в лагере запомнились 3 эпизода.

1-й. Когда ездили в Москву на вокзал встречать жену дяди Арсения в 5 часов утра, по московским пустым улицам развивали скорость свыше 120 км в час.

2-й. Я получил паек дяди Арсения, в котором, в частности, было много мяса и стручок горького красного перца. До этого случая я успешно готовил пищу (пока жена дяди Арсения была на курорте). В этот же раз я растерялся, так как впервые в жизни столкнулся с горьким красным перцем в стручке, и положил в большую кастрюлю весь кусок мяса и целый стручок перца. Мясо и бульон оказались необратимо испорченными, и их пришлось выбросить (мне было не более 15 лет).

3-й. Моя кровать располагалась в доме под окном, стояла параллельно стене. Раз, вернувшись ночью, дядя Арсений сильно и очень долго стучал, в том числе и в окно, под которым я спал (а в раннем детстве я страдал бессонницей), разбил стекло, взломал раму и перелез через меня, но и это меня не разбудило.

В 1933 году я поступил на физический факультет Ленинградского университета и проходил высшую вневойсковую подготовку по специальности «командир взвода зенитной артиллерии». Летом 1934 и 1935 годов в рамках этой подготовки была лагерная практика. Командиром был старшекурсник Бернарделли, который к нам относился очень сердечно, о нем сохранились самые светлые воспоминания. Моим соседом по строю был Никита Толстой («Детство Никиты»). Знаменитость его отца никак не сказывалась ни на его поведении, ни на нашем отношении к нему. Он был иноходцем, т.е. руки выбрасывались вперед с той же стороны, с которой нога делала шаг. Это приводило к тому, что его руки при каждом шаге ударялись о руки его соседей, одним из которых был я. В 1935 году военная учеба закончилась, всех выпустили командирами взвода зенитной артиллерии, меня же медкомиссия забраковала, и я был выпущен делопроизводителем штаба полка (те же 2 кубика на петлицах).

25.10.41 мобилизован, направлен на станцию Инза Ульяновской обл. в 117 ЗСП (запасный стрелковый полк), где назначен врачом батальона. Для исполнения обязанностей врача я совершенно не был экипирован, не было даже фонендоскопа или хотя бы стетоскопа. Это затрудняло выслушивание больных, особенно при моей чрезвычайной брезгливости: я прикладывал к коже обследуемого кусок марли, а уже к марле прикладывал свое ухо, что выглядело очень странно.

Однажды ко мне обратился больной с воспалением верхней губы. Я помнил, что это может оказаться смертельным, и срочно направил его в госпиталь. Я помнил также, что «Notae inflammationis sunt: rubor et tumor cum colore et dolore»[1]. Но не учел, что со временем термин «tumor» для опухоли заменился термином «neoplasma», а для воспаления (inflammatio) заменился на «отек», «припухлость» и др. То, что я в направлении написал «опухоль верхней губы», резануло зрение и слух врачей госпиталя и снизило мой «рейтинг», выражаясь современным языком. Больной умер в госпитале, ничьей (в том числе и моей) вины в этом не было, но у меня на всю жизнь остался неприятный осадок.

Лечить больше всего мне приходилось чесотку, я делал это весьма успешно «по Демьяновичу» (польза от моего посещения занятий с Галей в Мединституте), давал сначала больным раствор гипосульфита для натирания под моим наблюдением, а затем раствор соляной кислоты. Одежда в это время дезинфицировалась («прожаривалась»).

Рецепты я умел выписывать, делал это безошибочно, и никаких нареканий со стороны аптеки не было.

В декабре 1941 года в наш батальон прислали настоящего врача, и меня перевели в курсанты, вместе со всеми стали переподготавливать на должность командира стрелкового взвода.

Снабжался запасной полк скверно, мне, например, не хватило не только сапог, но даже ботинок (с обмотками), и выдали лапти. После того, как я в лаптях явился к высшему начальству, ботинки с обмотками прислали в полк специально для меня.

Однажды, в январе или феврале 1942 года, в груди у меня заклокотало, рот наполнился жидкостью, я эту жидкость сплюнул на снег и увидел, что это кровь. От командования я это скрыл, но подал рапорт (пришлось подавать их несколько, целую серию) с просьбой отправить меня на фронт. Хотелось успеть принести хоть какую-то пользу. Наконец, в марте 1942 года, просьба

[1] *Признаки воспаления: краснота и опухоль с жаром и болью (лат.). Здесь и далее прим. публ.*

была удовлетворена, и я был назначен на должность переводчика штаба 107 СП (стрелкового полка) 55 СД (стрелковой дивизии) СЗФ (Северо-Западного фронта). По дороге, проезжая через Москву, я купил немецко-русский словарь. Мы держали «горло» Демянского (районный центр Новгородской области) мешка.

Немецкие документы и письма печатались и писались готическим шрифтом. Хорошо, что в школе нас учили и готическому шрифту, иначе я ничего не мог бы понять.

По рекомендации переводчика штаба дивизии Явеца я 1 мая 1942 года подал заявление о приеме в партию. Отказали как еще не проявившему себя в боях. В августе 1942 года вторично подал заявление о приеме в партию, был принят кандидатом как оправдавший себя в боях (моим лозунгом было «смелость жизнь бережет»). Ноябрь 1942 года – принят в члены партии и избран секретарем первичной парторганизации штаба полка. В то время в партию из карьеристских соображений вступали только высшие чины, а такие, как я, вступали для того, чтобы быть обязанными (а не только иметь право) выполнять команду «коммунисты – вперед».

Командиром дивизии был ГСС[2] (за Халкин-Гол) полковник Заиюльев, командиром полка – Смекалкин, начальником штаба – Швайко, ПНШ (помощник начальника штаба) по разведке (мой непосредственный начальник) – младший лейтенант Локтионов, ПНШ по спец-связи – Иващенко (был вскоре убит). Локтионов (по свидетельству полкового парикмахера) имел самую жесткую бороду в полку, моя была на втором месте. После смерти Иващенко я был назначен, в январе 1943 года, уже на ЦФ (Центральном фронте) ПНШ-6 (по спец-связи), оставаясь по совместительству переводчиком. Когда выбывал ПНШ-1 (оперативный), по разведке (2-й), по тылу (снабжению) – я временно, до прибытия замены, исполнял их должность. ПНШ по связи я работать не мог, т.к. нужна специальная техническая подготовка. На ПНШ-6 (по спец-связи, т.е. по шифровальному делу) заявок не подавали, т.к. я был полностью на своем месте. От должности зависел «аттестат», т.е. сумма денежного «довольствия» семье. Всего 6 раз я временно исполнял должности выбывших товарищей. Обстановка физически и морально была настолько тяжелой, что один аспирант – пессимист (я – тоже аспирант) совершенно зачах, покрылся экземой, худел, бледнел, слабел и, в конце концов, – куда-то пропал. Меня спас мой неистребимый оптимизм.

В боевой обстановке каждому выдавалось по 100 мл водки – «для храбрости», а главное – как противошоковое средство. Мой ординарец казах Оспанов был непьющим, так что мне доставалось по 200 мл. Все выпивали свою дозу перед выходом на задание из следующих соображений: во-первых, «для храбрости»; во-вторых, «если убьют, моя водка для меня пропадет – жалко». Любая, сколь угодно малая, доза алкоголя замедляет реакции (кроме тех случаев, когда реакция уже замедлена торможением, например – страхом). У меня страх был очень недолго вначале, когда была надежда остаться живым. Когда эта надежда исчезла, заменилась полной уверенностью в неизбежном смертельном исходе (что для стрелкового полка имело основания), исчез и страх. Он появился снова в конце войны, когда появилась надежда остаться живым. Прием водки «до» часто приводит к печальным последствиям. Мне врезался в память один, особенно яркий случай. Идем на задание всемером; летит мина и разрывается около нашей группы, все семеро падают, но встаю я один, так как шесть товарищей упали на мгновение позже (следствие замедления реакции в результате выпитой «до» водки), я же оставил на «после», и моя реакция оказалась достаточно быстрой.

Соображение «если меня убьют, кому достанется?» действовало и в случае с ДОП (дополнительный офицерский паек – масло, печенье и др.). Обычно ДОП за неделю съедали сразу. Я предложил и убедил ближайших товарищей складывать наши ДОП вместе. Тогда, в случае выбытия кого-либо, оставшиеся съедали его ДОП «за упокой», если тот убит, или «за здравие», если тот выбыл но ранению.

Похожее произошло с часами. У меня были часы мирового класса «мозеровские черные». Начхим Мифтахов просил меня отдать часы ему: «когда тебя убьют, я возьму их себе, но они

[2] *Герой Советского Союза.*

могут быть повреждены». Покупать их он не хотел. Сам он рассчитывал остаться живым, так как отказывался от выполнения опасных заданий: «нельзя оставлять полк без химзащиты». Его притязания навели меня на мысль: я нашел покупателя, продал часы за 2 тысячи рублей, деньги выслал домой (почтальоном у нас был Перепечко, может быть, я что-нибудь еще о нем вспомню), а себе взял третьесортные трофейные цилиндрического хода («цилиндры»), которые прослужили мне до конца войны и даже несколько дольше.

На ЦФ мы воевали до июня 1943 года, когда нас перевели на 1-й БФ (1-й Белорусский фронт) в район Курской дуги и поставили в оборону 8-й линией.

О моих перемещениях Галя знала, т.к. еще в Саратове мы договорились о шифре. Шифр был настолько прост, что не требовал никакого усилия для расшифровки, но вместе с тем, благодаря своей простоте, не вызывал никаких подозрений у цензуры, все мои письма (а я их нумеровал) доходили. Не дошло мое письмо, в котором я высказал мысль, что «Второй фронт» будет открыт лишь тогда, когда он понадобится союзникам, что и в действительности произошло. По поводу этого письма меня вызвали в ОКР «Смерш» (отдел контрразведки «смерть шпионам»), работники ОКР «Смерш» Борзов и Гуськов согласились со мной по существу, предупредили, чтобы я таких вещей, подрывающих моральный дух тыла, больше не писал.

5 июля 1943 года немцы перешли в наступление, к 11 июля прорвали семь линий обороны и обессиленные уперлись в нашу дивизию, изрядно потрепав ее, наступать мы уже не могли, но соединения 9-й линии, полные сил, 12 июля перешли в наступление через нашу голову. Наша 55 СД получила пополнение и тоже участвовала в наступлении. Во время наступления, в августе, я был ранен осколками мины ротного миномета (маленького, бьющего на 100 метров) – касательное ранение бедра и слепое – плеча. Эти осколки были маленькие, большим осколком был вырван кусок сапога около щиколотки. От госпитализации я отказался, уговорил врача Надю Оцеп вынуть осколок, что она и сделала, превысив свои полномочия. Поэтому операция (а, следовательно, и сам факт ранения) нигде не была документирована, что вызвало осложнения при оформлении инвалидности и получения ордена в 80-е годы. Надя Оцеп, сама того не зная, спасла мне жизнь, так как в ту подводу, на которой я должен был эвакуироваться, было прямое попадание снаряда, и все раненые, которые ехали на этой подводе, погибли.

Завершилась Курская битва 23 августа 1943 года. За нее я в ноябре 1943 года был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени с формулировкой «За организацию планомерной работы штаба»[3]. Конечно, планомерность в моем характере, командир полка имел всегда вовремя карту с тщательно нанесенной на ней обстановкой. Лишь один раз был весьма серьезный огрех. При быстром продвижении приходится склеивать несколько листов карты. Однажды клея не было и мне посоветовали склеить хлебом, но я не спросил как. Склеил, как оказалось, неверно. Командир полка верхом на лошади стал разворачивать карту, и вдруг она разлезлась по «швам»,

---

[3] Приказ подразделения №: 16/н от: 31.10.1943.

Участник Отечественной войны со дня формирования полка с 15-го апреля 1942 года на Северо-Западном фронте и с 15 июля 1943 года на Центральном фронте.

За период боевых действий полка товарищ Шолпо показал себя мужественным и отважным командиром по выполнению боевых заданий командования. Будучи помощником начальника штаба полка по штабной шифровальной службе и находясь непосредственно на командном пункте полка, он всегда своевременно выполнял все боевые приказы командования по штабной шифровальной службе, чем способствовал командованию полка и подразделений руководить боями, своевременно получать боевые донесения о ходе боев и своевременно принимать необходимые меры для успешного нанесения противнику удара. В трудных условиях и сложной боевой обстановке товарищ Шолпо лично сам доставлял боевые приказы в подразделения, несмотря на опасность для жизни и этим самым давал возможность быстро и успешно их выполнять.

Достоин правительственной награды – ордена «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2-Й СТЕПЕНИ».

Командир 107 стрелкового полка 55 стрелковой дивизии подполковник Смекалкин

18 октября 1943 г.

Цит. по http://www.podvignaroda.mil.ru/

т.е. по местам склейки. Если бы командир полка в сердцах застрелил меня, то я не мог бы иметь претензий. Но у меня был такой бледный, несчастный и виноватый вид, что он даже замечания мне не сделал.

В 55 СД я пробыл до апреля 1944 года. В апреле я был переведен на должность старшего лаборанта в Патологоанатомическую лабораторию (ПАЛ) 1 БФ. Начальником был Василий Михайлович Бутюгин, врачом-прозектором Кедрова, старшим лаборантом я, лаборантом Юрченко, лаборантками Гескина и ...(?), медсестрой-хозяйкой Аня (так она подписывала документы). Вскрытия производили Кедрова и Бутюгин, протоколы писали я и Юрченко, обработка материалов и изготовление препаратов, включая гистологические, были обязанностью лаборанток. Вскоре Бутюгин понял, что я разбираюсь в прозектуре, и стал поручать мне самостоятельные вскрытия. Патологической анатомией я заинтересовался тогда, когда посещал занятия в Мединституте. Изучил не только вузовский учебник Абрикосова, но и более сложный учебник Давыдовского. Абрикосов и Давыдовский расходились по ряду вопросов, и я сознательно стоял на позициях Давыдовского.

Из моей прозекторской деятельности запомнились три эпизода. Первый. На фронт приехал зам. министра авиационной промышленности. На двухколесном мотоцикле на большой скорости он не вписался в крутой поворот дороги, вылетел на обочину и разбился насмерть. Вскрытие было поручено мне. Было установлено, что смерть наступила моментально от сотрясения мозга, что в момент аварии (и смерти) зам. министра был трезв. Кстати, все мои протоколы подписывал Бутюгин, я не имел на это права. Второй. Во время боя надо было оценить работу медслужбы, своевременно ли оказывается помощь, можно ли было спасти часть убитых. Работать под обстрелом было очень неприятно, сильный мороз, многие трупы еще теплые, в них я отогревал руки. Тревожила мысль, что если меня убьют, то будет такая картина: лежит развороченный труп, а над ним склонился другой труп с окровавленными руками и с окровавленным ножом в правой руке. Работы было очень много, чтобы мне не отвлекаться, мне приносили котелок с кашей, я брал ложку окровавленными руками и ел прямо над растерзанным трупом. Моя работа показала отличную и самоотверженную работу нашей медицины, которая работала под обстрелом и своевременно оказывала помощь. Среди множества трупов не было случая, чтобы человек погиб от не оказанной своевременно помощи. Третий. После прохода по дороге наших танков дорога оказалась усеянной раздавленными нашими солдатами и офицерами. Враждебная пропаганда пустила слух, что танки давили живых людей. Массовое вскрытие показало, что танки давили не живых людей, а трупы.

Работал я в ПАЛ до марта 1945 года, был также парторгом. В марте меня перевели старшим лаборантом СПК (станция переливания крови) 1 БФ. Так как во фронтовых условиях не было возможности проводить тщательное обследование доноров, СПК не готовила консервированную кровь (ее получали из тыла), а занималась производством кровезамещающих и противошоковых жидкостей. Для этого не требовался врач, и начальником СПК был химик. Может быть, это явилось причиной неприятного случая – в ампуле с кровезамещающей жидкостью был обнаружен маленький паучок.

В СПК я работал до мая 1945 года. В мае я был переведен на должность начальника лабораторного отделения лазарета ГСОВГ (группа советских оккупационных войск в Германии). Однажды меня вызывает начальник лазарета и дает задание: «Врач ... (фамилию забыл) запил, заперся в своей квартире, никого не пускает, угрожает оружием. Надо его спасать, у тебя с ним дружеские отношения, попробуй». После моего звонка раздался пьяный окрик: «Кого черт принес?» Я назвался. – «Что надо?» – «Не найдется ли у тебя выпить?» – ответил я. Дверь распахнулась, и я был приглашен к столу, на котором стоял примерно 1 литр водки (разбавленного спирта), но не было практически закуски. Я прикинул, что этот литр может отправить его на тот свет. Выпив несколько «штрафных» (по моим расчетам около 800 мл), я поблагодарил его за угощенье, сказал, что иду спать и ему советую. Мы дружески расстались. Я доложил начальнику о выполнении задания и больше ничего не помню.

Проработал я начальником лабораторного отделения лазарета до января 1946 года. Демобилизовывать меня не хотели, поэтому отправили в Саратов за семьей, и я привез Галю и пятилетнюю Олю, кажется, в Берлин (в Германии я служил в городах Росток, Берлин, Шверин, Потсдам). По дороге была задержка в Бресте, пока я оформлял документы, Галя познакомилась с врачом Иваном Ивановичем Тарадиным, который до этого отправил в Саратов беременную жену врача Марину Константиновну Щеглову (Рину, подругу Гали). В Берлине у нас была хорошая квартира (нас удивляло, что немцы на одной перине спят, а другой покрываются), но Новый 1946 год мы почему-то встречали в бараке – большая комната была разделена занавесками. Нашими соседями но «ячейке» были Олины друзья дядя Миша и тетя Катя.

В январе 1946 года меня вызвало высокое начальство и предложило остаться в кадрах армии (постоянный рост званий, должностей и зарплаты, прекрасное снабжение). Материально это было очень заманчиво. Разговор происходил на втором этаже маленького двухэтажного дома, Галя с Олей сидели на скамейке у подъезда. Я пошел советоваться с Галей и вернулся с требованием о демобилизации. Приказ был подписан 11 января 1946 года, и мы благополучно вернулись в Саратов, с февраля приступили к работе.

Из «трофеев» я привез велосипед и две немецкие офицерские шинели (шерстяные и с шерстяной подкладкой), которые пошли в дело как материал. Были отложены две пишущих машинки, но их украли, пока я ездил в Саратов за семьей.

Несколько фактов, не привязывающихся ко времени, потому выделены отдельно.

Первый. Однажды у меня был единственный (и сильнейший) гипертонический криз. Окружающие, да и я отчасти, увидев мою бледность, холодный пот, рвоту и пульс 40, готовились к моему концу. Я нашел силы попросить горячий (вплоть до ожога) компресс на лоб, и примерно через час опасность миновала. Вспомнив страхи, я рассмеялся.

Второй. Мне пришлось удалить зуб с несколькими кривыми корнями. Анестезии не было. Молодая зубной врач была в таком состоянии, близком к обмороку, что мне приходилось ее успокаивать. Когда зуб был удален, я, не надевая шинели и шапки, в мороз вышел и лег на снег. Постепенно пришел в себя, вернулся и увидел, что она жива. Я улыбнулся и возобновил свои утешения. Ушел, когда опасность миновала.

Третий. Я самовольно уехал с фронта в Москву и Ленинград, считал, что война фактически заканчивается и я нужней науке, чем армии. Хотел попасть к Л.А.Орбели[4], но не узнал его, когда он проходил мимо меня. Неузнавание лиц это мой недостаток. Стоит новому человеку, даже начальнику, отойти от меня и обойти вокруг палатки, как я уже его не узнаю. Как-то в Саратове на улице я встретил идущих мне навстречу Галю и Марию Дмитриевну и, столкнувшись с ними нос к носу, – не узнал. Когда я прошел десяток-другой метров, я оглянулся и тогда узнал их. Мария Дмитриевна жутко обиделась, Галя же сочла это нормальным, не вызывающим ни удивления, ни огорчения, ни обиды. Это – моя особенность, и этим все сказано. То, что я не узнал Орбели, может быть, оказалось к лучшему. Если бы я стал его сотрудником, то попал бы в тяжелое положение в период гонений на Л.А.Орбели. Меня раздирало бы столкновение уважения как к Орбели, так и к его гонителям. Когда я, не солоно хлебавши, вернулся на фронт, то получил сверхмягкое наказание – выговор «за самовольную поездку в Москву и Ленинград в интересах личного благоустройства».

Четвертый. Однажды (скорее всего, в особенно суровую зиму 1941–1942 годов) нас повели в баню. Там было очень жарко, чем большинство моющихся было довольно, я с трудом кое-как помылся, бросил на снег шинель, схватил одежду и полотенце и голый выскочил на мороз (под 40° с сильным ветром и колючим падающим снегом), и стал на воздухе вытираться и одеваться.

---

[4] Леон Абгарович Орбели (1882–1958) – физиолог, академик (с 1935) и вице-президент (1942–1946) Академии наук СССР. Генерал-полковник медицинской службы. В 1936–1950 был директором Физиологического института имени И.П. Павлова АН СССР и Института эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятельности имени И.П. Павлова АМН СССР.

Пятый. Как-то раз произошла задержка с дезинсекцией обмундирования, и по серой шинели сплошным слоем копошились серые вши. К счастью, обошлось без сыпного тифа. Вскоре одежду «прожарили», и все вошло в норму.

Шестой. Однажды немцы неожиданно прорвались к нашему штабу. Чтобы не возникло паники, я подчеркнуто спокойно стал собирать штабные документы и сложил их в ящик. Когда увидел, что все готовы, схватил ящик и быстро побежал с ним. Бежать пришлось около пяти километров. Все кончилось благополучно.

Седьмой. Однажды, когда меня вызвали в штаб дивизии, мой 107 полк попал в окружение. Меня перевели переводчиком 228 полка нашей же 55-й дивизии. Из многих сотен человек из окружения вышло всего 16. «Полк» отправили в тыл на укомплектование. По возвращении 107 полка меня вернули в него из 228-го. Это было везение.

Восьмой. Полковой инженер жил в одной землянке со мной. Он когда-то пережил сильный обстрел или бомбежку, у него остался панический страх, и он при сильных обстрелах или бомбежках залезал под стол. Его все жалели, никто над ним не смеялся. Как-то меня вызвал командир полка. В это время в нашу землянку было прямое попадание, и полковой инженер погиб.

Девятый. Я и мой ординарец жили вдвоем в маленьком домике в лесу. Ординарец был мной отправлен с документами и к ночи не вернулся. Ночью в этот лес прибыла танковая часть. На стук в дверь я ответил, что домик занят штабным подразделением, и я пускать кого-либо и даже открывать дверь не имею права. Они усомнились, что за штабное подразделение без охраны, сказали, что раздавят домик со мной танком, и для придания своим словам веса стали стрелять в дверь, пробили несколько дырок, но в меня не попали. Я продолжил переговоры (через закрытую, но простреленную дверь) и в конце концов убедил их, и они прекратили атаку.

Десятый. Мы ехали на грузовой машине стоя в кузове ночью зимой. Дорогу пересекал провод, вероятно, протянутый связистами. Из-за темноты его не было видно. Этот провод сорвал шапку с моей головы. Пришлось машину остановить и мне бежать за шапкой. Если провод был сантиметров на 10 ниже, он зацепил бы меня за лицо или за горло и выбросил бы меня из машины со смертельной травмой – разрывом спинного мозга в шейном отделе.

Одиннадцатый. У меня образовался на затылочной части шеи карбункул. Мне его не видно и трудно ощупать, но товарищи говорили, что в его полость может войти кулак (вероятно, преувеличение). Лекарств не было, и я применил очень горячий солевой раствор в виде примочек. Он хорошо вытягивал гной, и удалось этот злой карбункул вылечить, долго оставался шрам.

Двенадцатый. Некоторое время я по совместительству работал дознавателем. В мои обязанности входило поверхностно обследовать всех легкораненых и решать, отпускать их или передавать следователю по подозрению в «самострелe», т.е. умышленном нанесении ранения.

Тринадцатый. При всей моей брезгливости и стойкости по отношению к жажде, бывали случаи, когда я пил из следа лошадиного копыта и даже из воронки, в воде которой лежал разлагающийся труп.

Четырнадцатый. Когда я, работая прозектором, вскрывал труп погибшего от газовой гангрены, я порезал указательный палец левой руки. Мне предлагали ампутацию пальца, пригрозили значительно более обширной ампутацией. Я от ампутации отказался, теоретически считая, что если я обеспечу усиленный доступ кислорода к ране, то анаэробные бактерии развиваться не смогут. Обычно для этой цели применяют множественные обширные разрезы. На пальце это неудобно. Я применил горячие ванны, кожные раздражители (йод), отказ от алкоголя и др. Начавшийся было специфический отек быстро пошел на спад и все обошлось.

И в заключение. 22 июня 1941 года, узнав о начале войны, мы (я и Гавриловы) сказали: Гитлер подписал себе смертный приговор. Эта уверенность в Победе никогда не покидала нас.

Начал я войну техником-интендантом 2-го ранга (соответствует лейтенанту), окончил двумя ступенями выше – капитаном административной службы. 21 января 1971 года – снят с военного учета по возрасту.

13.3.85 был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, но вручен орден был мне лишь 1.9.87, более двух лет я искал подтверждения фронтовому ранению по всем архивам, и нашел его в... наградном листе.

В юбилейные годы я, как и все участники войны, 23 февраля и 9 мая получал медали. Дата подписания акта о капитуляции 8 мая, те страны, которые отмечают этот день, отмечают его именно 8 мая – все, кроме нас.

С 7.2.91 – инвалид 2-й группы по общему заболеванию.

С 13.5.91 – инвалид 2-й группы по ранению на фронте.

С 20.5.91 – инвалид ВОВ 2-й группы.

20 марта 1997 года

Дополнение

На фронте со мной был немецко-русский словарь 1942 года, подписанный к печати 10.10.42. Он был куплен мной в Москве в вокзальном киоске, но как я в это время попал в Москву – не помню.

Готовность по времени у нас и у немцев.

У немцев.

Если старшее командование передало: «Начало атаки в 5.00», то эта команда проходит через все инстанции и в неизменном виде доходит до солдат. Солдаты вступают в бой бодрыми и сильными, им дали выспаться.

У нас.

У нас как в «испорченном телефоне». Каждый следующий командир прибавляет от себя «на неисполнительность» 15-30 минут, до солдат доходит «12 часов» и к 5.00 солдаты становятся изможденными, задерганными и злыми.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Выписка из военного билета капитана административной службы Шолпо Александра Евгеньевича

III. Прохождение службы

С какого времени (м-ц, год)	По какое время (м-ц, год)	Должность	Войсковая часть, соединение, армия, фронт, округ	Чей приказ, № и дата
25.10.1941	03.1942	В резерве	117 запасн. стрелков. полк ст. Инза Ульянов. обл. ПРИВО	
03.1942	01.1943	Переводчик	107 стр. полк 55 стр. дивиз. Сев. Западн. фронта	

01.1943	06.1943	Пом. нач-ка штаба	228 стр. полк 55 стр. дивиз. Центрального фронта	
06.1943	04.1944	Пом. нач-ка штаба	107 стр. полк 55 стр. див. 61 армии, 1-го Белорусского фронта	
04.1944	05.1945	Ст. лаборант	Армейская патолого-анатомич. лаборатория №117, 65 арм. 1-го Белорусского фронта	65 арм. № 0293 от 31.07.44
05.1945	01.1946	Начальник лабораторн. отделен. лазаретов	208 лагерь, 5 ударной армии, группы Совет. оккупац. войск в Герм.	

Гербовая печать
Волжского райвоенкомата
Саратовской области

Волжский Райвоенком
г. Саратова,
майор /КИЧУЛКИН/

КОПИЯ

Центральный архив
Министерства обороны СССР
14 ноября 1986 г.
№ 2/139757
142100, г.Подольск, Моск. обл.

410002 г.Саратов-2
ул. Некрасова, 19, кв.39
ШОЛПО А.Е.

Сообщаем, что в наградном листе к приказу по 29 стрелковому корпусу № 16/н от 31.10.1943 г. по которому Вы награждены орденом Отечественной войны 2 степени, записано:

«Шолпо Александр Евгеньевич, старший лейтенант административной службы, помощник начальника штаба по штабной шифровальной службе 107 стрелкового полка 55 стрелковой дивизии, 1915 г. рождения, русский, чл. ВКП/б/, на фронтах Отечественной войны участвует с 15 апреля 1942 г., имеет одно легкое ранение на Центральном фронте в августе 1943 г., в Красной Армии с октября 1941 г., призван Саратовским РВК. ...»

Основание: оп. 686044, д. 3019, л. 803.

Выписка дана с полным соблюдением текста наградного листа.

НАЧАЛЬНИК АРХИВОХРАНИЛИЩА /ТРОШКИН/

Гербовая печать II Центрального архива Министерства обороны СССР.

Исп. Шевченко

Иван СОКОЛОВ

ЯРКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Александра Цибуля. Путешествие на край крови. – М.: Русский Гулливер; Центр современной литературы, 2014. – 86 с.

Дебютная книга Александры Цибули, *безусловно*, яркое достижение отечественной поэзии последних лет. Большинство стихотворений «Путешествия на край крови» написаны в 2014 году, но в книгу вошло и некоторое количество предшествующих текстов, начиная от самых ранних стихотворений, написанных ещё в 2010 году («Не сияю, Господи, зияю...») – это позволяет проследить тот неторный путь, которым прошёл поэт – от ранней мечтательности в голосе до теперешнего упоения порочностью.

Следует сразу оговориться, что поэтическая генеалогия, которую выстраивает себе субъект письма Цибули (Гёльдерлин–Паунд–Ульвен и Целан–Айги–Рильке, см. стихотворение «три ночи прошло через моё сердце...»), не вполне точна, однако сразу высвечивает довольно важный момент: у этого автора прямой диалог с русскоязычной традицией обрывается на Айги. Более близкими влияниями в «родной речи» следует обозначить – в порядке интенсивности – метафизическое у Анны Глазовой (а за ней, тенью, социальная метафизика Михаила Гронаса), приватное у Василия Филиппова (чей голос начинает всё больше резонировать в литературном пространстве), экстатическое у Василия Ломакина, – возможно, некий след интонации Григория Дашевского, хотя самый нерв его поэзии Цибуле скорее безразличен. Геннадий Айги (в тени которого написаны самые ранние тексты Цибули – см., например, текст, открывающийся строчкой «о в какой мы глубокой медовой...») здесь отчётливая граница: к опыту предшествующей русскоязычной поэзии рецензируемый автор напрямую не обращается и в частном разговоре признаётся, что «рифмованную поэзию вообще читать не может». Действительно, глубокий фон этих текстов образует звучание голосов западных поэтов, преимущественно англосаксов и немцев (от французов есть разве что редкие обертоны Бодлера образца «Une charogne») – и здесь нить можно вести сколь угодно далеко, от средневековой скатологии и мистики до, например, Эмили Дикинсон (см. стихотворение «как осе живётся внутри осы...»), понятой, впрочем, как поэт модерна. Если перед Гёльдерлином и Рильке автор скорее просто склоняется в почтении, то Паунд и Целан здесь имена неслучайные: Паунд, с его уроками интертекстуального монтажа (см. «Три яблока...»), Целан, который цитируется напрямую в тексте «Лампа: лицо любимого надо всем...» и чья тень сильнее чем кто-либо другой определяет чувственность текстов Цибули. Лукаво не названным остаётся Георг Тракль, чей «чёрный ангел» (ein Frühverstorbener) незримо парит над этими стихами, осеняя их крыльями «истленья». Тракль имеет определяющее значение для новейших текстов Цибули. Не будучи глубоко укоренены в отечественной традиции, возможно, единственное родное и естественное для нашего уха, что обнаруживают её стихи, – это их ритмы, торжественные, ритуальные, с часто появляющимися дактилями, которые тут же пропадают, сменяясь нерегулярным сегментом, как правило, вводящим интонацию рефлексии, тормозя экстаз. Тракль, пожалуй, единственный из релевантных иноязычных авторов, кто нанизывает гулкое, тяжеловесное переживание на ритмические цепочки, близкие этим. Здесь впору возвращаться к зародившимся ещё лет триста назад разговорам о привитии заморской розы на дичок русской словесности. Ритмы, впрочем, имеют и более близкое родство, но опять в новейшей поэзии – это Ольга Седакова, взять, к примеру, следующее стихотворение Цибули:

> Обида кличет вину.
> Вина беспамятна, она не знает себя
> по имени.
> Ей сиротство светло, ведь вина
> по природе номад.

Обида, напротив, оседла. И всегда
оборачивается.
Но прощанье – двойное убийство
сообщниц-сестёр.

Ритмическая картина здесь копирует ритмы «Китайского путешествия», с особенно характерным для той композиции финалом – полноударный анапест резко сбивается двустопным амфибрахием с каталексисом; при этом, хотя даже на уровне синтаксиса текст амальгамирует типическое для Седаковой риторическое построение («ведь», «напротив», «но»), но вся лексика («вина», «обида») и сам принцип мельчайших, парадоксальных различений здесь полностью заимствованы у Глазовой. Наверное, этим и объясняется некая удовлетворяющая сделанность, finesse этого текста – другие стихотворные пьесы, не обнаруживающие столь однозначного стилевого претекста, кажутся менее выпуклыми.

«Иноязычная», нарочито модернистская поэтика мгновенно завоёвывает Цибуле широкое признание, что вообще очень интересным образом характеризует запросы сегодняшнего читателя поэзии. «Широта» признания выражается даже не столько в таком сомнительном факторе, как количество лайков (сближающие Цибулю – в рамках данного поколения – разве что с Галиной Рымбу), сколько в целом спектре институций, легитимирующих этого автора. Colta.ru, «Новое литературное обозрение», «Воздух», «Волга», премия Аркадия Драгомощенко, премия Русского Гулливера – в этом списке не хватает только напрашивающегося альманаха [Транслит] – возможно, из-за правых взглядов автора (правых в смысле Паунда, а не путинистов). Александра Цибуля, удивительным образом, поэт консенсуса, что определяется достаточно специфичным складом её поэтики: перед нами лица необщее выраженье, яркая поэтическая индивидуальность – но при этом индивидуальность не радикальная, т.е. яркая именно в такой степени, чтобы читатель мог с ней самоидентифицироваться. От анализа её текстов очень легко перейти к разговору о «сегодняшней ситуации», что и происходит в критических высказываниях, посвящённых Цибуле; в этом смысле «Путешествие на край крови» – важный эстетический документ десятых годов, фиксирующий какую-то глубокую историческую истину. В этом, крайне определённом смысле можно было бы сказать: в некоем воображаемом измерении эти стихи мог бы написать любой поэт нашего поколения.

Андрей ПЕРМЯКОВ

«...Я – ЗРЯ? НЕ ЗРЯ? – ПОНАДЕЮСЬ НА ЧИТАТЕЛЬСКУЮ ИНТУИЦИЮ»

Дмитрий Веденяпин. Стакан хохочет, сигарета рыдает. – М.: Воймега, 2015. – 76 с.

Ждать книгу любимого автора, точно зная, что книга эта вот-вот выйдет, конечно же, очень приятно. Особенно когда у автора давно и весьма активно учишься. Ну, или подворовываешь – мы же понимаем: с точки зрения поэтического ремесла это одно и то же.

Иногда, как, например, в случае вот с этой книгой, к доброму чувству ожидания примешивается некоторая тревога. С одной стороны, за годы, прошедшие от выхода предыдущих сборников – «Между небом и шкафом» (2009), получившего премию «Московский счёт» и ничего не получившего, но, пожалуй, более интересного «Что значит луч» (2010), – Дмитрий Веденяпин публичными чтениями своих стихов баловал слушателей нечасто. Однако почти любое его выступление было хотя бы локальным событием: очень уж иначе звучали его свежие тексты. Нет-нет, техника оставалась безупречной, интонация абсолютно узнаваемой, но вот на уровне тонкой структуры менялось нечто важное. Вот и хотелось разобраться – что именно. С другой стороны, время от времени появлялись странноватые подборки, например, про сестёр сисю, писю и попу. Ясно, что автору это было надо, но зачем? Тоже хотелось понять.

Забегая вперёд, скажу, что сестрички в этой книге есть, как есть и более, пожалуй, забористые стихи об участниках поэтической секции с фамилиями Мудозвонов, Мудильников, Мудякин, Мудовиченко и Мудаков. Тексты эти погоды не делают, к счастью. Скорее – выполняют роль предохранительных клапанов в книге, где

плотность поэзии создаёт иногда очень высокое давление. Каким именно образом создаёт? Ну, вот об этом и хочется поговорить.

Начало сборника вызывает удивление очень неожиданного свойства. Вы спросите: «А разве удивление бывает ожидаемым»? Да вполне! Повторю: на слух тексты Веденяпина за минувшие пять лет стали другими, а тут книга начинается настолько прежним образом, что некоторые стихи кажутся буквально парафразами или уточнениями стихов предыдущих. Вот *Промелькнула бабочка из прошлой жизни*. Только не из прошлой. И не промелькнула. Они, бабочки, по-прежнему творят мир и свет в стихах Веденяпина. В буквальном смысле: перемешивая собственные тона до нужного колера:

...Над клумбой у грибка
С песочницей кружат два мотылька:
Небесно-голубой и бледно-жёлтый.

И получается зелёный день,...

Свет этот творит и заливает мир, как и было раньше в стихах Веденяпина. Да и сам мир во многом остался прежним. *Прекрасные московские евреи* отбыли за океан или за море, но не стали от этого менее интересными объектами любви. Довольно, впрочем, иронической. Собственно, и здесь-то, на родине, всё не сильно испортилось, кажется:

Март, апрель,
Май, рояль... – Будь любезен!.. – Не буду!..
Всё-таки Рихтер есть Рихтер – в Москве ль,
В Переделкино, всюду.

Словом, мир устоялся, мир неизменен, мир защищён. Хотя бы словом и ритмом. О чём-то подобном относительно стихов Веденяпина давно писал в «Коммерсанте» Григорий Дашевский. Более того, если сей мир всё-таки чем-то не мил, а милы лишь его детали, существует универсальный, давно опробованный метод:

Надо спрятаться в стихи,
Где, как в зеркале, видны
Мхи, стрекозы, валуны.

Зеркало – ещё один важный компонент поэтики Веденяпина. А может быть, и ключевой. Зеркало это слишком живо и слишком многомерно, чтоб отражать только мир явленный. Глубина его фокуса крайне велика. Видны в том зеркале предметы по преимуществу вечные, но порой в нём отражаются преходящие, однако важные факты, имеющие, вопреки собственной актуальности и временности, весьма пролонгированное значение.

Ну, во-первых, СССР кончился. Совсем. На уровне имён, артистов, героев, теледикторов, генсеков. Почти закончился он давно, но различие между «почти» и «совсем» – колоссально. Теперь персонажи той страны оказались в одном мире с людьми куда более давних эпох, что порою ведёт к странным сближениям:

...
И как в песне Зыкиной, в смысле долго
Под балконом (ох, держись за перила!)
Тявкал грузовик, текла «волга»
И «победа» фыркала и пылила.
Николай Бердяев любил свободу,
Пушкин тоже, хотя иначе,
А Подгорный так говорил: «Задачи
Поставлены, цели определены –
за работу, товарищи».
Вот и мы говорим: задачи, цели...
Брежнев с факелом, воздух свободы...

Он, этот самый СССР, не был страной бабы Нюры (ещё один, не менее важный, чем луч или зеркало, объект стихов Дмитрия Веденяпина), он был нашей страной. Любили мы его или нет, но он был частью нас, а мы – его. Теперь, когда такая махина ушла окончательно, полностью и навсегда, собственную временность осознаёшь яснее. Стало быть, острее сознаёшь свою причастность вечности. Когда Веденяпин опубликовал в «Новом мире» краткую подборку из цикла «Памяти СССР», это казалось эпизодом, моментом. Но в новом сборнике тема стала одной из сквозных. Причём звучит эта тема отнюдь не ностальгически. Аналитически, скорее.

Внешние перемены как таковые – маловажный факт для философской лирики (а если уж жанровые определения необходимы, то поэзия Веденяпина проходит большей частью

именно по этой категории), однако кое-какое влияние таких перемен окажется неизбежным. Например, больше некуда и незачем спешить. Помните давнее, но уже в этом веке написанное стихотворение про озарение Саид-Бабы? Там лирическому герою, вышедшему из притчи Идрис Шаха, важно было вовремя найти дверь, и он сделал это едва не в последний момент. Теперь многое стало иначе и неподвижней, отчего на прошлое можно смотреть с неизменного расстояния. Здесь опять бабочки в помощь, они теперь живут не одно лето, а не менее половины человеческого века и

свободно мигрируют
по всей Голарктике.
Однако моя бабочка
оказалась домоседкой.
Тем летом я видел её
ещё несколько раз –
(...)
Вчера, сорок семь лет спустя,
в лесу, на пронизанной солнцем просеке
неподалёку от эстонской деревни Кясму,
за тысячу двести километров
от подмосковной Александровки
я опять встретил свою бабочку.
Конечно, она уже не та:
поседела и летает не так стремительно,
но ошибиться я не мог –

Бабочка в качестве образа вечности и неизменности это ход, конечно, парадоксальный, но парадоксом не выглядящий – в силу своей органичности и в данном тексте, и в контексте книги. А контекст этот очень интересен. В отличие от своих предыдущих сборников, в этот Дмитрий Веденяпин включил лишь стихи, написанные за последние пять лет, расположив их к тому же в хронологическом порядке. И, согласитесь, минувшие пять лет были не самым тихим временем?

Здесь есть нюанс: бывают удивительные случаи, когда сугубо лирическая книга предрекает будущее, хотя бы и ближнее, точнее самых искушённых аналитиков. Так произошло, например, со сборником Александра Белякова «Углекислые сны». Выпущенная в 2010-м, книга эта дивно предсказала подступающую затхлость и духоту. А вот стихи, написанные одновременно с некоторыми отнюдь не лирическими событиями, могут ли они избежать сиюминутности? То есть, конечно, могут: в том случае, когда автор принципиально игнорирует некие фрагменты действительности. Это не случай Веденяпина. Его взгляд на прошлое ли, в перспективу ли всегда из настоящего.

Вот и удалось ему малопредставимое: написать книгу о не очень хорошем и политизированном времени, избежав этой самой политизированности. Кажется, прямая отсылка к актуальным событиям лишь одна. В стихотворении о путешествующих скандинавах. Начало апологетическое:

Вот они,
загорелые, сухопарые, улыбчивые,
распространяя эманации чистоты
(моральной и физической)
и духовной подтянутости,
выходят из стеклянных дверей
опрятного сельского магазина.
Закрепив пакеты с покупками
на багажниках
своих статных горных велосипедов...

Помните, именно таких безупречных пенсионеров любила изображать наша пресса эпохи раннего капитализма, рассказывая об единственно правильной форме государственного устройства? Ну, вот. Поэтому финал оказался немножко предсказуем:

...
Вот они,
живое воплощение и оправдание
европейской культуры,
уже в седле,
вот трогаются
и, набрав скорость,
исчезают за поворотом.
Остаются сосны,
пустое шоссе
в миражных солнечных лужах,
светло-голубое небо.
Я не спорю –
ислам тут
ни при чём.

Когда-то Ингмар Бергман снимал фантастически красивые фильмы о кризисе евро-

пейской культуры. Реакция на тот кризис оказалась мирной: появились хиппи. Затем хиппи сделались взрослыми, но кризис остался. Ответом стал «Калигула» с Малькольмом Макдауэллом и совсем уже не мирные панки. Теперь бывшие хиппи и панки рядышком заседают в Европарламенте, а никуда не девшийся цивилизационный кризис в своих драмах показывает Ларс фон Триер. Каким будет следующий ответ, не знаю, но вот Андерс Беринг Брейвик уже случился и Варг Викернес до него тоже. А ислам действительно ни при чём, да.

Но европейские дела – частный случай, конечно. Хотя и важный для такого безусловно европейского поэта, как Дмитрий Веденяпин. Но ещё важнее другое. В минувшие пять лет проигравшими ощутили себя слишком многие. Да почти все, если честно. Есть такое понятие «игра с нулевой суммой». Например, орлянка: один выиграл, другой проиграл. Есть игра с положительной суммой, когда возможен взаимовыгодный итог. А минувшие годы были игрой с суммой отрицательной. Ну, вряд ли кто-нибудь скажет всерьёз, что он планировал именно такой промежуточный финал развития? Не в политике, конечно, дело, а в том, как, например, рухнули многолетние дружбы. И главное – никто никому ничего не доказал. Теперь-то уж и не докажет. Бывают поражения явные, как, например, у последовательных и серьёзных борцов за справедливость:

...
Я смотрю на его андеграундный модный тулуп,
Диссидентскую бороду, облачко пара...
Вот тебе и советская власть, вот тебе и «хруп-хруп»,
Вот тебе и сансара!

Криптоцитата из Башлачёва совсем не призвана тут утешить проигравшего, скорей наоборот. Бывают поражения более скрытые, но и более тотальные при этом: сразу и на уровне культуры, и на уровне времени:

***
Старушка за восемьдесят –
землистые щёки,
«гробовой» платочек, очки
с какими-то неправдоподобно
толстыми стёклами –
едет в метро.
В руках глянцевый журнал.
Вся с головою в чтение уйдя,
она штудирует
«Звёздные секреты стройности
от Виктории Боня».
Ещё лет десять назад
я бы недоумевал.
Сейчас я её понимаю.

Есть, правда, почти универсальный спасительный момент. Вполне конкретный исторический миг, прошедший в реальном мире сто лет назад. Потенциал Серебряного века всё ещё не исчерпан:

Когда мне говорят «начало века»,
Я думаю про тот, конечно, век,
Где Блок на фоне университета
Идёт сквозь мягкий довоенный снег.

И вот именно там, в том времени идёт тонкая настройка новых стихов Веденяпина. Про сдвиг от мистической философии, ожидающей озарения к большему скепсису, мы выше уже говорили, но внутри этого скептического мировоззрения есть великое множество градаций. Так вот: я б определил тон этой книги как перемещение от скепсиса в духе Георгия Иванова к Василию Розанову:

Орфей спускается в ад.
Собственно,
история этого путешествия
и есть архетипический сюжет
самых непридуманных русских стихов...

Стал ли скепсис глубже? Вряд ли. Это не тотальное безверие и тем более не нигилизм. Спокойное такое понимание и приятие неизбежного. Стала ли глубже философия? Не знаю. Стихи Веденяпина уже давно находятся в тех слоях бытия, куда многим путь заказан и где обычные понятия, в том числе и «глубже-мельче», утрачивают привычный смысл. Я б сказал, что сильнее выраженной сделалась разочарованность от знания. Тут не только соломоническая печаль от многих знаний, но

скорее ощущение бесполезности этих самых знаний, избыточности их. Мешают они, знания, чему-то важному, скрытому, например, в специфике звучания сосен:

Я хотел бы не понять,
Но случайно взял и понял.
Понял и пошёл гулять.
На небесно-синем фоне
Лес шумел со всех сторон.
Сосны, подавляя стон,
Ограничивались скрипом,
Зеленели, золотясь,
Вышелушивая связь
Между знанием и всхлипом.

Так чему ж они всё-таки мешают, знания эти? Да вот чему: собственному мышлению. Об этом текст, представляющийся мне ключевым в книге. Он вплоть до финальной, пофирменному, по-веденяпински переработанной цитаты цельный весьма. Поэтому рискну привести это не самое короткое стихотворение целиком. Очень уж оно диагностическое такое, сдержанное. Но подобная сдержанность многих яростей стоит:

Послушные дети

Чем одарённее человек,
тем монументальнее чушь,
которую он порет.
Заворожённые *мощью*,
подавленные *суггестией*,
сбитые с ног ударной волной
непреходящей ценности
и неисчерпаемой глубины,
мы (человечество)
из века в век,
из тысячелетия в тысячелетие
повторяем
как бы высеченные в камне
Глупости Великих Людей.
Собственно,
в постижении,
а точнее сказать,
запоминании
этих глупостей
по большей части и состоит
наше гуманитарное образование.
Надо отдать нам должное:
мы оказались добросовестными
учениками
и на редкость послушными детьми,
никогда не нарушающими
материнского запрета
из популярной советской песенки.
Помните?
За окошком свету мало,
Белый снег опять валит,
И опять кому-то мама
Думку думать не велит.

А вот где пролегает граница между уютным неграмотным идиотизмом и перебором знаний, мешающим размышлять, про то автор нам не говорит. Ну, так вот и подумаем, может? Если не совсем пока разучились и мамку рискнём ослушаться.

Дмитрий АРТИС

УЛЫБКА ГУИНПЛЕНА

Александр Корамыслов. Песни мудехара. – Санкт-Петербург: Свое издательство, 2014. – 60 с.

Количество привычных вещей, населяющих пространство жизни, определяет степень комфорта существования. Куда как удобнее просыпаться каждое утро в одной и той же кровати, ходить по одному и тому же коридору до ванной комнаты или кухни, пить один и тот же кофе из одной и той же чашки, потом ехать на работу обычной дорогой, общаться с людьми, которых знаешь как облупленных, к вечеру снова возвращаться в один и тот же дом и ложиться спать, опять же, в одну и ту же кровать. Конечно, первая реакция на вышесказанное будет негативной. Читатель поспорит, мол, обыденность, рутина, быт и всё, что близкородственно к этим понятиям, утомляет, мешает развиваться личности – душе необходим полёт в неизведанное, а мысли – постоянная «смена картинки» – предмета познания. Это не так.

Штирлиц идет по коридору – раз,
Штирлиц идет по коридору – два...

Попробуйте лишить себя привычных вещей: жить в другом доме, ходить на другую работу, общаться с незнакомыми людьми. Поменяйте жену / мужа, выгоните собаку, заведите кошку. Новая жизнь на какое-то мгновение создаст иллюзию праздника. Но сколько драгоценного человеческого времени вам потребуется на то, чтобы привыкнуть к новым вещам? Жизнь не просто останавливается. Вас отбрасывает назад на несколько лет. Вы будто снова оказываетесь первый раз (пусть и в другом, но всё же) в первом классе. Дальше – хуже. Скоро вы поймёте, что махнули, как говорится, не глядя, – шило на мыло. Как отпала душевная необходимость в первом предмете – шиле, так и не стало никакой надобности во втором – мыле. А может случиться и такое, что, обретя мыло, вам вдруг остро понадобится шило. Тогда вы непременно приметесь коротать часы досуга, оплакивая безвозвратно утерянное. Не надо отказываться от того, что имеете, ради чего-то эфемерно другого. Лучше добавьте к хорошо знакомому что-то новое. Пусть будет больше привычного. Ещё больше. Ещё. Познание самого себя, равно как и окружающего мира, через увеличение количества хорошо известного. Чем больше точек опоры, тем твёрже шаг.

Штирлиц идет по коридору – восемь,
Штирлиц идет по коридору – девять,
грянулся бы Штирлиц орлом оземь,
обратился бы облаком, полетел к деве...

Пусть еще не пора – но можете
не сомневаться –
он все-таки выйдет, с молитвой
под козырьком, наружу.
Штирлиц идет по коридору – семнадцать
горячих мгновений неся сквозь
цифровую стужу...

Процесс внутреннего обогащения осуществляется не за счёт полного отказа от сложившихся в современной русской поэзии традиций, но за счёт приращения к ним вновь появившихся несвычных смыслов. Подчёркнутая необязательность формы не конфликтует с привычной – устоявшейся. Она не выступает противовесом классической, не отрицает её, но отстаивает право на равенство при совместном существовании. Почти как существование разных рас (и цивилизаций, кстати) при равных правах в одном, едином пространстве. Привычные читательскому глазу «возвышенные» кирпичики четверостиший вполне гармонично соседствуют с прозаическими клочками фраз, которые похожи на выдранные из газетной передовицы унылые строчки. Можно было бы усмотреть в поэтике Александра Корамыслова элементы эклектики, если бы бессистемность в выборе авторских средств была напыщенно явной. Но продуманные, почти ступенчатые, аккуратные взлёты и падения мешают подобной оценке. Слишком упрощают. Автор находится в процессе упорядочивания хаоса. Он хорошо понимает предназначение каждой вещи, поэтому знает, где они должны лежать и где они лежат сейчас и, главное, почему произошло так, что вещи оказались не на своих местах.

апостол Петр приходит в ЦЗН
с молочным пакетом документов
и ключами от *определенного*
места жительства,
где деньги никогда не лежали

Александр Корамыслов живёт в городе Воткинск. Участник литературного объединения «Сибирский тракт». Имеет ряд публикаций как в региональных, так и в центральных изданиях. «Песни мудехара» – его первая книга стихотворений.

Ты узок вширь и мелок вглубину –
как Вотка, у которой жил я в детстве –
любимый город, *воткнутый* в страну –
флажочком в карту самых
разных действий...

Сергей Круглов, написавший к «Песням...» предисловие, относит автора к «добродетельным постмодернистам», которые, сродни архивариусам, занимаются тем, что приклеивают бирочки с названиями ко всему, что попадает им в руки. Соглашусь отчасти. Безоговороч-

но с эпитетом «добродетельный», ибо злого умысла в намерениях автора нет. Однако усомнюсь в приверженности Корамыслова к самому постмодернизму. Ведь человек, взявший на себя обязательства дать имена всему сущему, обогатить его новыми возможными значениями или хотя бы попытаться вернуть исконные, уже по факту своего действия не может быть постмодернистом. Здесь как раз очевидный конфликт с внешним миром. Автор испытывает душевную боль аутиста, который не выносит беспорядка. Всё должно быть чётко на своих (привычных) местах. Подписано, пронумеровано, недвижимо без острой надобности. Явное несоответствие внутреннего мира с внешним. Скорее всего, автор живёт в окружении людей, которые дальше постмодернизма – носа своего – не видят. Они давят авторитетом, усиливают значение постмодернизма, делая его единственно значимым в условиях современности. Но, несмотря на это, автор сопротивляется. Даже такая вещь, как ирония, являющаяся чуть ли не основой данного направления, у Корамыслова кажется на грани истерии. Фактически улыбка Гуинплена, дескать, хотели посмеяться, так смейтесь, смейтесь как я. Только глаза полны слёз. Возьмите хотя бы название книги: веет чем-то трагическим от словосочетания «песни мудехара». Потому, наверное, общая интонация стихотворений Александра Корамыслова в одинаковой мере и крик, и шёпот. Получается такой эффект: при чтении книги в уравновешенном состоянии – она кажется спокойной, как прикладбищенский ветерок. Берёте в руки в «заведённом» состоянии – и она тут же имитирует дребезжащий звук будильника, который разбудил вас в тот момент, когда сон только-только начался.

некто растерянный
не знает, как вбить гвоздь в стену
а ему говорят-кричат:
у тебя рук, что ли, нет?

некто возбужденный
не может найти женщину
а ему шепчут-шепчут:
у тебя рук, что ли, нет?

Что удивительно и мало кому сейчас удаётся, автор идёт дальше ненавязчивой игры с формой. Говоря обо всём понемногу, не зацикливаясь на отдельных вещах, он увеличивает пространство представленного в «Песнях мудехара» мира, тем самым давая возможность читателю оценить масштаб работы, которую необходимо сделать для упорядочивания хаоса. Фольклор, исторические события, приметы современности, персонажи книг, фильмов, анекдотов, детсадовские шутки, библейские мотивы, слова из учебника по экономике, канцелярщина, высокий слог, жаргонизмы... Кони, люди, залпы тысячи орудий – всё смешалось в доме Облонских – в книге стихотворений Корамыслова. И вдруг из всего этого хаоса вырастает «сказка о белом бычке» – рассказ об эволюции сознания сигареты: от ощущения себя частью табачных плантаций – метафора земного рая, до бычка, оказавшегося в пепельнице – метафора адского котла, в который попадает он с лёгкой руки женщины, потушившей его. Смешно? Конечно же, смешно. Но при этом очень уж страшно, особенно мужчине-читателю.

Так вот и стал Салем-с-Ментолом
белым бычком.
Лежит он теперь среди собственного
пепла –
и вспоминает былые времена.

Здесь нужно отметить, что «замах» автора важнее (значительнее) проделанной им самим работы. Что-то в меру своих сил он уже исправил – вернул, как говорится, на место, но основная работа ещё впереди.

Я тоже среди них.
Я тоже – среди вас,
судорожно занимающихся
последним безжалостным делом.

И если читатель рискнёт поверить в необходимость этой работы, то ему придётся вместе с автором изрядно потрудиться, и не факт, что они смогут сделать хоть малую толику того, что было намечено. Но попробовать надо. Хотя бы начать.

Александр КОТЮСОВ

ИДЕТ БЕДА

Роман Сенчин. Зона затопления. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. – 381 с.

Книга Романа Сенчина «Зона затопления» сродни слоновьей дозе депрессанта. Да-да, именно депрессанта, без привычной уху приставки «анти». Уже с первых страниц романа понимаешь – никакого американского хэппиэнда здесь не будет, это Россия, ситуация, в которой оказались герои – безвыходна, нужно смириться и жить дальше. Жить с тем, что предлагают. Впрочем, у каждого из появившихся на страницах произведения персонажей существуют и другие возможности. Например, не соглашаться и бороться. Таких людей в романе немного. Один, два, три... Единицы. Хотя и они в итоге готовы покориться. Потерянные нервы, здоровье. Сломанные ребра, челюсть. И все равно итог один. Тот же, что и у всех смирившихся без борьбы – система ломает. Правда, существует еще один вариант. Умереть! Страшно звучит. Смерть как протест. Мы – против! Не хотим жить такой жизнью. На кладбище не придет участковый, не скажет, что это вы тут собираетесь, а? Не посмотрит строго – Сибирь отделить планируете? Сепаратисты! Кто-кто? Сепаратисты! Раскольники! Такие люди в романе тоже есть. Те, кто не захотел жить. Или не смог. Умерли, потому что устали бороться. Впрочем, как оказалось, и после смерти им нет покоя.

Формально «Зона затопления» – роман о том, как в 1974 году на реке Ангара власть решила построить Богучанскую ГЭС. Начали бурно, вложили какие-то миллиарды (или миллионы еще в старых деньгах – да не суть) и остановились. То ли закончились финансы, то ли энтузиазм комсомольских порывов, то ли просто одряхлела власть. Этому за семьдесят, этому под восемьдесят, еле-еле машут с Мавзолея дряблой рукой. А может, и всё вместе сыграло свою роль. Стройка остановилась. На тридцать лет, считай. Заморозили, законсервировали. А потом пришли молодые, резкие, умеющие считать деньги, лучше, чем жизни, лучше, чем беды людские, разрушенные семьи, покалеченные судьбы. Пришли те, которым в стране принадлежит все. И решили достроить Богучанскую ГЭС. И достроили. А пока строили – несли горе, рушили мир, построенный не ими, топили деревни, переселяли тысячи человек из затопляемых сел в города, сжигали дома непокорных, уничтожали жизни и судьбы. Кто не хотел уезжать – заставляли. Кого не могли заставить – заставляли все равно, просто иными, далеко не законными способами. Думали затопить просто часть суши. И заработать денег. Много денег. И еще украсть. Тоже много. А затопили страну.

«Зона затопления» – книга о том, как умирает Россия. Вижу-вижу, как много тех, кто не согласится с этой фразой. Редактор толстого литературного журнала покачает головой (ну как мы такое можем опубликовать) и красным маркером вычеркнет слова из теста. Да нет, я о другой России. Не о той, где человек винтик, да что винтик, соринка в глазу развивающейся цивилизации, пылинка, засасываемая в огромный пылесос прогресса. Эта Россия не умирает. Живет. Развивается. Я о настоящей России. Стране, где думают о людях, и только потом о деньгах, где любят природу, чтят традиции, верят в Бога, в конце концов. Зачем нам эта страна, словно говорит невидимый в романе герой. Впрочем, это не так. Он видим. Проходит золотой нитью. Имя у этого героя – власть. Он, будто прибрежный маяк, мерцает сквозь все страницы книги, проявляясь порой и обретая плоть. Плоть всегда разная. Имена тоже. Суть одна. Кто-то узнаваем. Кто-то формально безлик. Мелких сажают. Воруют. Воруют. Тут миллион. Тут миллиард. Это только о тех, которых мы знаем. А сколько еще денег осело в карманах неизвестных. О самых главных молчим. Даже страшно.

«Зона затопления» – роман о стране, в которой в эту самую зону затопления входит всё. Вся Россия. Вся ее огромная территория, все леса, пастбища, поля, города, деревни. Люди. Жизни. Души. Даже могилы предков. Могилы – это память. Нет могил – нет памяти. Люди с памятью создают для государства проблемы. Они не нужны стране. В идеале таких людей вообще не должно быть. Тогда для государства все становится хорошо. Манкуртами управлять

легче. Такое общество мечтает построить каждый руководитель. Но это сюрреализм. Мы-то живем в реализме. Пока живем. Впрочем, народ борется. Борется, как может. Не хочет так жить. Хотя не все конечно. Многие довольны.

Сенчин не боится сравнивать авторов проекта Богучанской ГЭС с фашистами. Не про войну же речь. И все же. Звучит страшно. Но как уж есть. «Она (журналистка Ольга, пишущая о затоплении) вспомнила эту улицу позапрошлым летом... Смотрела в школьные годы фильм «Иди и смотри», о том, как фашисты жгут деревню. Не просто смотрела, а их, пионеров, водили на сеансы несколько раз для того, чтобы они потом просили зрителей подписать требование “Это не должно повториться!”». И вот, оказалось, два десятка с лишним лет спустя увидела нечто подобное в реальности. «Огонь, плач, крики, метание людей, лошадей, кур. Мужики с канистрами...» Не раз и не два вспыхивает это сравнение в романе. Вот уже в обреченную, но еще живую деревню приплывают писатели. Среди них читается и Валентин Распутин. Это его «Прощание с Матерой» открыло тему уничтожения сибирского села много лет назад. «Оккупация! – плачуще выкрикнул третий гость с седой острой бородкой. – Пришел враг! Будто при оккупационном режиме...» Ну какие же здесь оккупанты, хочется возразить писателю. Все свои. Это же решение российского правительства. Да и опять же – все делается для человека и во имя его. Впрочем, кто в это верит. Сенчин снова про селян, которых не сегодня-завтра переселять – «люди... казались изможденными, чудом уцелевшими под игом врага. Да, будто не две тысячи одиннадцатый год и не Сибирь, а сорок третий, какая-нибудь Смоленщина». А враг-то здешний, не из-за границы пришел, свой, местный, родной. Хоть и на фашиста похожий. Заключенные из соседней зоны-колонии. У них подряд на уничтожение выселяемых деревень. Колония на хозрасчете. Но они просто исполнители. За ними стоят другие люди. Серьезнее и важнее. И в конце романа, чтобы не было сомнений, снова про них, про врагов. Дед с внуком на кладбище. Сюда перенесли тех, кого могли, с деревенских затопленных погостов на городское. Перенесли без уважения, свалили кости в черные пакеты, закопали. Что там в этих пакетах. Завязано, и бирка с фамилией. А может, внутри земля. Или чужие кости. Не докажешь. «Ровные ряды однообразных крестов. Игнатию Андреевичу напомнили они, эти ряды, фотокарточки захоронений погибших в России немцев во время войны. Такой же бездушный порядок». Вот и пойми, где фашисты, а где наши. Как все изменилось за семьдесят лет.

Переселяют жителей многочисленных сел и деревень. Двенадцать тысяч человек. Страшные цифры. Впрочем, какие же страшные. Во время войны и перед ней в неделю столько выселяли. Литовцы, крымские татары, ингуши, поволжские немцы, ленинградские финны. Так то в те годы. А сейчас. Мирное вроде время. А та же суть. Был огород, рыбалка, грибы, ягоды. Дома, построенные предками на века. Вот, например, описание одного жилища: «Изба старая, но надежная, на века. Говорят, ее срубил прадед Ирины Викторовны с сыновьями больше ста лет назад. Огромные бревна до сих пор вызывают уважение, и когда представляешь, как их тянули сюда из тайги без всяких тракторов, как ошкуривали, пилили ручными пилами, как закатывали друг на друга, — удивляешься тем людям, богатырям, великанам каким-то...» А теперь? Теперь квартира в райцентре. Вместо огорода – лоджия, вместо сеней – лестничная клетка. А тот дом сжечь. «Буду жить нормально. Хоть на унитазе посижу», – говорит кто-то. То ли в шутку, то ли всерьез. Кому-то кажется сперва, что и лучше так. Город же, цивилизация. Только все до первых морозов. Дом – не дом. Скорлупа от яйца. «Подполья нет... на сваях стоит... пол в одну доску... доски ссохлись, винтом пошли... плахи сырыми ложили». Кто строил, тот и украл часть денег. Это в России уже за правило. Да и ладно, квартиры чинятся умелыми работящими руками. А вот боль, тоску – ее не починишь никак. А страну как починить? Что у этих переселенцев впереди? Здесь их зовут утопленниками. Какая-то жизнь. Какая? Как вода в реке, зажатой электростанциями. «Злая, избитая турбинами, очищенная от всего живого». И город, в который заставили переехать сибиряков – «искусственный город, возникший из-за ГЭС, – на высоком неудоб-

ном месте, вдалеке от реки, от тайги». И жизнь. Вся жизнь у них теперь впереди искусственная.

И через строку в романе в сердечный разрыв крик – «богатый хрен вздумал китайцам электричество продавать, нашел недостроенную станцию и взялся... А нас, как мусор, в угол сметает... Мы еще и благодарить должны, что нас в квартиры эти селят». Кому этот крик? Власти?! А знает ли Путин о всем происходящем, вопрошают герои романа. Знает ли, что уничтожаются деревни, ломаются жизни. Знает, объясняет нам Сенчин в самом начале книги, в ее первой главе.

Кстати, о первой главе. Вообще, надо признаться, роман «Зона затопления» начинается фальшиво. Телефонный разговор двоих. Обсуждают строительство Богучанской ГЭС. Точнее, не строительство. Достройку. Электростанция «практически готова. Процентов на шестьдесят. Бросили в начале девяностых. Плотина почти закончена, машинные залы...В общем, довести до ума ничего не стоит». Толя и Володя. Собеседники. В каждой фразе повторяются имена. В разговоре обычном так не бывает. Автор словно хочет привлечь внимание читателя. Толя и Володя. Читатель, восклицает Сенчин, ты понимаешь, о ком я говорю. Да понимаю, понимаю, так и хочется ответить писателю. Толя и Володя. Знакомые имена. У одного РАО (это который Толя). У другого – все. «А кому будет принадлежать ГЭС в итоге? – А кому у нас все принадлежит, Володь? Все будет правильно. И Михал Ивыныча не забудем». Читаешь строки и отпадает необходимость гадать – что за Толя, что за Володя. Что за Михал Иванович. Без объяснений ясно. Впрочем, первая глава одна из немногих частей романа с фальшью. А может, и вообще одна-единственная. Не исключено, что Сенчин ее выписал именно так специально. Чтобы показать всем взявшим роман в руки – искусственная она, эта жизнь – жизнь тех, кто у власти. Настоящая в других главах. Там, где ловят рыбу, возделывают огород, хоронят родных, строят избы. Вот только эта фальшивая жизнь в романе побеждает настоящую. Хотя почему в романе. Она и в реальности побеждает. Выйдите на улицу, посмотрите вокруг. Много вы увидите настоящего? Фальши больше. Чем дальше в двадцать первый век, тем больше. Потому что все лучшее осталось в зоне затопления.

Еще одним, пусть и незначительным, но все же недочетом книги является стремление автора сделать каждую из глав романа максимально самостоятельной. По большом счету, все его части – отдельные произведения с более или менее повторяющимися героями и общей сюжетной линией. Подобный подход заставляет автора регулярно из главы в главу напоминать читателю содержание предыдущей «серии». Делалось это, видимо, потому, что Сенчин публиковал ряд отрывков из своей книги в различных журналах еще до выхода произведения целиком и обязан был объяснять взявшему журнал читателю сюжет, знакомить с ранее выведенными на сцену героями. Похоже, что при издании книги разрозненные ранее фрагменты были склеены им не слишком аккуратно и наложились друг на друга краями. Перечислять накладки и наслоения нет никакого смысла. Они видны только критически настроенному взгляду и в целом не портят роман, однако говорят о не слишком профессиональной работе редактора, который, видимо, решил, что работая над текстом финалиста премий «Большая книга», «Русский Букер» и «Национальный бестселлер» можно и похалтурить.

Отличительной чертой «Зоны затопления» можно назвать отсутствие в книге главного героя. Сенчин словно специально стачивает индивидуальность каждого персонажа. Нет, герои не аморфны, не унифицированы и не калиброваны. Но они всё же умышленно не ярки. Почти убежден, что сделано это автором осознанно, чтобы показать, сколь незначителен человек, сибиряк, живущий в далекой, глухой деревне, сколь слаб он перед возникшими обстоятельствами, сколь ничтожен его шаг в поступи, которую чеканит страна. Наталья Сергеевна Привалихина, Юрий и Татьяна Масляковы, Ирина Викторовна со своей курицей Чернушкой, журналистка Ольга, Алексей Брюханов, Игнат Андреевич и десятки других, появляющихся в книге имен и фамилий вторичны в жизни, которую им навязывает власть. У каждого из них своя позиция, свое мнение, свое «я», но как это все быстро проходит, ломается, нивелируется под гнетом обстоятельств.

Кто они для власть имущих? «Маргиналы и пенсы», их «осталось тысяч пять». Разве это люди. Разве это цифры. Не человек главный герой романа «Зона затопления». Главный герой – горе. Главный герой – беда. Беда многолика. Она описана автором мастерски. Видна каждая черточка, морщинка на лице, жесткий циничный взгляд.

«Зона затопления» – роман красивейшего русского языка. Не современного новояза десятых, с его айфоно-смс-ным жаргоном, где не фотографируются, а «фоткаются», не радуются жизни, а «лайкаются», не встречаются, а «чекинятся», не живут, а... Вроде еще не появилось слово-заменитель жизни, но все впереди, невозможно остановить прогресс, вот только прогресс ли это.

Даже не вникая в политический подтекст книги, стоит прочитать «Зону затопления» обязательно. Просто чтобы знать, как говорили наши деды, как говорят сегодня люди в уходящей от нас России. Фразу – «Он поглядывал на братьев, крупных, женатых мужиков, на их жен, корпусных, рожалых» – можно перечитывать по нескольку раз. Для ленивых, изнеженных москвичей, питерцев, жителей других крупных городов в конце книги словарь сибирского диалекта, густо рассыпанного по страницам. «Гоить» – создавать уют, «жабнуть» – быстро выпить, «куржак» – густой иней. И еще с полсотни мало знакомых городскому жителю слов. Уходящий язык. Теряем его вместе с людьми.

Книга Романа Сенчина о стране, в которой затапливается все человеческое. Не о плотине речь, не о ГЭС. Не о поселках и не домах. Речь не о погостах, лугах, пастбищах, лесах. Речь о человеческих чувствах, простых, привычных – дружбе, любви, взаимовыручке. Все это не нужно власти, все это суета, никому не нужная мелочь, сор. «Людей выселяли из их квартир за долги перед ЖКХ в общежития, обманывали при покупке и продаже жилья, увольняли с работы по прихоти начальства; родители не могли устроить детей в сады; проваливались тротуары, взрывался газ, горели дома, обваливались стены, лопались и лопались трубы». Про такую страну пишет Сенчин. «Зону затопления» его нужно читать одновременно с романом Сергея Шаргунова «1993». Становятся ясными корни нелюбви российского народа к правящей элите. Впрочем, на результат это не влияет. В России ничего не меняется. Выбирают того, кого нужно.

«Зона затопления» – роман о смерти. Автор все больше и больше склоняется к этому страшному выходу из ситуации, в которой оказались его герои. Со смерти начинается книга. С одинокой смерти, естественной, без насилия. Была старуха Привалихина, жила одна, дочь в городе, приезжала изредка. Жила Привалихина и померла. Устала жить, сказали бы в народе. Смертью книга и заканчивается. Только уже не конкретный человек умирает. Кто мог, уже умерли. Кладбище вон. На нем переселенцы лежат. Вывезли в целлофановых пакетах костями с деревенских погостов на новое место за городом. Место топкое, перевезли не всех. Идет вода. Заполняется водохранилище. Топит страну. Гектар за гектаром. Лежат умершие в могилах. Не спокойно как-то. И живым не спокойно и мертвым. То ли прорывает плотину, то ли просто спускают воду. Кто его разберет. Идет вода в сторону кладбища, топит могилы. Но не умершие в могилах тонут. Живые. Мы с тобой, читатель, тонем, словно говорит Сенчин. Только вот переселять нас уже некуда. Велика Россия. А некуда. Потому что вся наша страна – зона затопления. От Калининграда до Владивостока. От Мурманска до Ялты. Идет вода. Топит страну. Да не вода это. Беда идет.

Иван КОЗЛОВ

ВОЖДИ, ХУДОЖНИКИ И ВЛАДЕЛЬЦЫ ОТЕЛЕЙ – КОМУ НА ЭКРАНЕ ЖИТЬ ХОРОШО?

«Уильям Тернер» (режиссер Майк Ли)

«Мистер Тернер», если быть точным, – наши решили переименовать фильм, хотя идея приватности, заявленная в оригинальном названии, сменилась энциклопедической этикеткой. Ну, пусть хоть так, ведь Тернер, конечно, интереснее, чем 99% экспозиции Третьяковки, да и важнее для истории мировой живописи.

А приватности в фильме хватает с лихвой: художник, его папенька и экономка – фрики, каких поискать даже в Лондоне XIX века; профессиональные байки про судьбы полотен и выставочные интриги меркнут перед подробным раскладом на тему «когда б вы знали, из какого сора»; время от времени на экран врывается несчастная семья живописца с фурией-женой и где-то там, за пределами творчества, мрущими от хворостей безликими дочерьми. В общем, добро пожаловать в «мир прекрасного», как любили именовать большевики живописный дискурс.

Пленэры хороши как повод их запечатлеть, коллеги алчны и не столь уверены в своих силах, критики и сильные мира сего – да, это всегда важно, и личную жизнь можно как-то даже устроить на склоне дней, любить нежней и суеверней, тем паче что хозяйке пансиона интересен человек-Тернер, а то, что он еще и выдающийся живописец, – так это всего лишь бонус. Брутальный Тимоти Сполл в главной роли будет кряхтеть и фыркать, заменяя этим высокие слова, – и его ладная вписанность в быт лишь оттеняет самое жуткое для окружающих, что есть у его персонажа – верность своему предназначению любой ценой.

«Зимняя спячка» (режиссер Нури Бильге Джейлан)

Новый фильм классика, замечательного турецкого режиссера Нури Бильге Джейлана в прошлом году стал лауреатом Каннского международного кинофестиваля («Золотая пальмовая ветвь»). Этот кинофорум всегда благоволил к мастеру, начиная с середины 1990-х, едва ли не каждый его фильм удостаивался наград – Гран-при, ФИПРЕССИ, за лучшую режиссуру.

Турецкие кинематографисты до Джейлана могли похвастаться лишь одной «Золотой пальмовой ветвью», которую получил в 1982 году известный фильм «Дорога» Йылмаза Гюнея и Шерифа Гёрена. Но у «Дороги» был крутой по тем временам бэкграунд остросоциального кино, запрещенного к показу на родине. Тем более что снимал его Гюней заочно, сидя в турецкой тюрьме, – Гёрен работал по его указаниям, – потом бежал, получил статус политэмигранта, остался картиной недоволен и переснял фильм заново. «Дорога» прогремела на весь мир, но второго залпа не последовало, позже турки брали свои призы, будучи уже европейскими режиссерами. Так что появление в кинематографе Джейлана – маленькое чудо, сродни бытию в мировой литературе другого прекрасного турка – Орхана Памука.

«Зимняя спячка» – масштабное по времени (3 часа 16 минут; режиссерская версия насчитывала 4 с половиной часа) и камерное по сюжету киноповествование – отличается роскошным

даже для Джейлана визуальным рядом, напоминающим красоту кадров Тарковского и идеальную тщательность их композиции, уже за гранью совершенства, – у позднего Бергмана.

Это довольно «русское» кино – сценаристы вдохновлялись Чеховым и Толстым, горящие в камине деньги не могут не напомнить известную сцену из «Идиота», в кадре мелькнет даже иллюстрация Ильи Глазунова к «Неточке Незвановой».

Да и получасовые диалоги – это тоже очень по-русски. Заснеженный отель, где происходит действие фильма – это либо детектив, либо ужастик, либо «про жизнь». Пока Голливуд не очаровал Джейлана, он снимает «про жизнь» (хотя криминальная интрига присутствовала и в «Трех обезьянах», и в «Однажды в Анатолии»).

Помещения отеля, вырубленные прямо в скалах, – полумузей-полутюрьма для его обитателей. Непонимание между мужем и женой, братом и сестрой, отношения тяжелой зависимости для «маленьких людей» с их гордостью и злобой – все это, оказывается, вовсе не фабула, а лишь виньетка. И неважно, куда могли бы привести сюжетные линии, – ни одна не получает сколько-нибудь внятного завершения, – главное, что последние слова героя, обращенные к его молодой и несчастной жене, все же произнесены. И пусть даже не вслух.

«Исход: Цари и боги» (режиссер Ридли Скотт)

Жанр пеплума переживает второе рождение. Сам Скотт уже прильнул к некогда живоносному источнику в «Гладиаторе», а прошлый год еще и выдался урожайным на библейскую тематику. И если «Ной» Даррена Аронофски еще как-то балансирует на грани экранизации соответствующих глав Книги Бытия и фэнтези, то «Исход» с головой бросается в пеплумные лабиринты с первых же кадров.

Конечно, это Ридли Скотт «Гладиатора» и «Царства небесного», нежели «Советника» или «Бегущего по лезвию». Тем интереснее наблюдать – это даже сродни спортивному интересу в подобных случаях, – как маэстро, не сходя с истоптанной вдоль и поперек мэйнстримовской колеи, да еще и с заранее известным сюжетом, демонстрирует головокружительный профессионализм. Казалось бы – шаг влево, шаг вправо... Но что делает наш режиссер? «Да, я и это могу».

Жесткий жанр – сродни, прости господи, иконописи. Все заранее известно, неожиданность может быть только очень личного свойства, связанного с почерком мастера. И Скотт умеет и то, и это, демонстрируя все качества «старого коня», который умудряется вести нас по давно известному курсу как первооткрыватель новых земель.

Бюджет фильма, о котором даже думать не хочется, перекрыт, статус подтвержден. Теперь Скотту дадут деньги, и он снимет что-нибудь авторское и независимое. Ждем – с почти равным любопытством.

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Алексей Александров
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Олег Рогов

Подписано в печать 15 июня 2015 г.
Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/volga/

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.